

КУРЦИО МАЛАПАРТЕ

# БАЛ В КРЕМЛЕ

# КУРЦИО МАЛАПАРТЕ

# БАЛ В КРЕМЛЕ

Москва, 1929 год

Советская  
аристократия  
глазами  
итальянского  
писателя

Первое издание  
на русском  
таинственного  
романа



**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ



Курцио Малапарте (1898–1957) — итальянский писатель, автор романов "Капут" и "Шкура", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", "Проклятые тосканцы". Анархист и авантюрист по натуре, Малапарте часто менял убеждения — в молодости поддерживал Муссолини, в конце жизни увлекся маоизмом, вступил в коммунистическую партию. Его девизом было: "Главное, чтобы об этом говорили", а псевдоним Малапарте ("плохая судьба") он взял в противовес Бонапарте ("хорошая судьба").

Роман "Бал в Кремле" написан Малапарте под впечатлением от посещения Москвы летом 1929 года, от его встреч с советской элитой и людьми искусства. Это грандиозное полотно, где реальные факты легко соседствуют с придуманными, воображаемыми. Герои этой фантазмагии: политики и дипломаты — Луначарский, Флоринский, Карахан, их жены и подруги — балерина Марина Семенова, актриса Луначарская-Розенель, знаменитые *beauties* Бубнова и Егорова, а также Маяковский, Булгаков, юная девушка Марика Чимишкиан и сам Курцио Малапарте — экзотический иностранец, свидетель безумного и трагического карнавала — Москвы конца двадцатых годов XX века.

Книга иллюстрирована редкими фотографиями, снабжена вступительными статьями и научными комментариями Михаила Одесского, Натальи Громовой, Стефано Гардзонио.











**БАЛЪ КРЕМЛЕ**

CURZIO MALAPARTE

**IL BALLO  
AL KREMLINO**

КУРЦИО МАЛАПАРТЕ

# БАЛ В КРЕМЛЕ

*Перевод с итальянского Анны Ямпольской*



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЕЛЕНА АСТ  
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.131.1-31  
ББК 84(4Ита)-44  
М18

Перевод с итальянского Анна Ямпольская

Вступительная статья, комментарии, научное редактирование  
Михаил Одесский

Вступительная статья, комментарии Наталья Громова

Вступительные статьи Стефано Гардзонио

Художник Андрей Бондаренко

В книге использованы фотографии из архива ГМИРЛИ им. В.И. Даля,  
РГAKФД, РНБ, РИА Новости, а также фотографии Москвы — Branson DeCou

Издательство благодарит *Fondazione Biblioteca di via Senato*  
за предоставленные портреты Курцио Малапарте

#### Малапарте, Курцио.

М18 Бал в Кремле : [незаконченный роман] / Курцио Малапарте ; пер. с итал. А.В. Ямпольской ; науч. ред. М.П. Одесского ; вступ. ст. М.П. Одесского, Н.А. Громовой, С. Гардзонио ; коммент. М.П. Одесского, Н.А. Громовой. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 347, [5] с. : ил.

ISBN 978-5-17-116782-0

Курцио Малапарте (1898–1957) — итальянский писатель, автор романов “Капут” и “Шкура”, “Бал в Кремле”, книг “Техника государственного переворота”, “Проклятые тосканцы”. Анархист и авантюрист по натуре, писатель взял псевдоним Малапарте (“плохая судьба”) в противовес фамилии Бонапарте (“хорошая судьба”), а девизом его было: “Главное, чтобы об этом говорили”.

Роман “Бал в Кремле” написан Малапарте под впечатлением от посещения Москвы летом 1929 года, от его встреч с советской элитой и людьми искусства. Это грандиозное полотно, где реальные факты легко соседствуют с придуманными, воображаемыми. Герои этой фантазмагии: политики и дипломаты — Луначарский, Флоринский, Карahan, их жены и подруги — балерина Марина Семенова, актриса Луначарская-Розенель, знаменитые “beauties” Бубнова и Егорова, а также Маяковский, Булгаков, юная девушка Марика Чимишкян и сам Курцио Малапарте — экзотический иностранец, свидетель безумного и трагического карнавала — Москвы конца двадцатых годов XX века.

УДК 821.131.1-31  
ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-17-116782-0

- © Eredi Curzio Malaparte, Italy
- © Ямпольская А.В., перевод, 2019
- © Одесский М.П., вступительная статья, комментарии, 2019
- © Громова Н.А., вступительная статья, комментарии, 2019
- © Гардзонио С., вступительные статьи, 2019
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2019
- © ООО “Издательство АСТ”, 2019

# Содержание

**СТЕФАНО ГАРДЗОНИО**

Курцио Малапарте: жизнеописание как легенда

**7**

**СТЕФАНО ГАРДЗОНИО**

«Бал в Кремле»: к истории текста и контекста

**23**

**МИХАИЛ ОДЕССКИЙ**

Советский роман Малапарте

**29**

**НАТАЛЬЯ ГРОВОВА**

История Марики Ч.

**59**

**КУРЦИО МАЛАПАРТЕ**

**БАЛ В КРЕМЛЕ**

**71**

**Москва Малапарте — 1929**

Примечания НАТАЛЬИ ГРОВОЙ, МИХАИЛА ОДЕССКОГО

**293**

Именной указатель

**339**





СТЕФАНО ГАРДЗОНИО

Курцио Малапарте:

жизнеописание как легенда

Если зимней порой подняться по крутой и каменистой тропинке к горе *Le Coste* и с трудом пролезть через колючие чернеющие кустарники по скользким и грязным поворотам к горному выступу *Spazzavento*<sup>1</sup>, вас, скорее всего, встретит холодный порыв северного ветра. С вершины горы виден город Прато. Здесь провел свою юность будущий писатель Курцио Малапарте, здесь шла партизанская война с немцами, здесь он похоронен, и гробницу его местные люди называют мавзолеем. “Свой склеп хотел бы иметь вон там, на вершине *Spazzavento*, чтоб иногда поднимать голову и плевать в холодный ров северного склона” — так писал Малапарте в знаменитой книге “*Maledetti toscani*” [“Проклятые тосканцы”].

Курт-Эрих Зуккерт (Курцио Малапарте он станет в середине 1920-х годов) родился 9 июня 1898 года в семье немецкого подданного Эрвина Зуккерта и уроженки Мила-

1 Выступ *Spazzavento* (это название можно передать как “Ветромёт”) находится на горе Ле Косте на севере от г. Прато.

на Эльвиры Перелли. Отец будущего писателя, специалист по крашению тканей, приехал в Прато, город, известный и своими текстильными предприятиями (“сюда поступают на переработку все тряпки мира”), и независимой историей (здесь “заканчивается вся история Италии и Европы...”) из далекой Саксонии, из города Циттау. Мать писателя, красивая и жизнерадостная молодая женщина, в юные годы позировала для любимца флорентийских салонов русского художника Паоло Трубецкого; поговаривали даже, что именно он был отцом Курта или одного из его братьев (о русском по крови происхождении Малапарте писал его друг литератор Вигорелли, а журналист Бруно Фаллачи, дядя флорентийской писательницы Орианы Фаллачи, уверял, что он — сын известного адвоката из Прато).

Детство было непростым. Бизнес отца отнюдь не процветал, тем не менее молодой Курт учился в элитном пансионе Чиконьини, славным именами таких выпускников, как популярный либреттист Раньери Кальцабиджи, Габриэле д’Аннунцио, драматург Сэм Бенелли... Но из-за финансовых трудностей родителям пришлось оставить центр города и переехать в пригород Койано, а потом они и вовсе стали перемещаться по Италии в поисках новых контрактов. Так юный Курт был вынужден подолгу жить в семье няни, Евгении Бальди, чей муж, Мильциаде, стал для него вторым отцом. Вот тогда знакомство с подлинно народной средой во многом и определило характер и поведение молодого немчика.

Курту не была чужда немецкая культура в ее романтическом воплощении, но вольная и мятежная Тоскана, традиции крестьянского мира оказали глубокое воздействие на его “варварскую” натуру. Этот мир позднее нашел отражение и в его литературном творчестве, и в кино — в 1950 году он снял фильм “Запрещенный Христос” и сам выбрал для него музыку.

Но это много позднее. А пока шел роковой 1914 год, разгар Первой мировой войны, и шестнадцатилетний Зуккерт, вступив в бригаду гарибальдийцев, отправляется сражаться против немцев во Францию в составе Иностранного легиона. Весьма рискованный жест — ведь он как сын немца был подданным Германской империи и, попав в плен, мог быть приговорён к расстрелу за измену. После первого боевого крещения Курт Зуккерт попал на итальянский фронт в альпийские войска. Он отважно воевал, был контужен и стал свидетелем трагической битвы и отступления при Капоретто<sup>2</sup>, о котором, среди прочих, напишет Э. Хемингуэй в романе “Прощай, оружие!”. Последние месяцы войны Малапарте провел в боях снова на французском фронте и участвовал в знаменитых сражениях на Марне и в лесу Блиньи<sup>3</sup>. Там он был тяжело ранен в грудь; возможно, это и спровоцирует смертельную болезнь много лет спустя.

Молодой уроженец Прато показал себя доблестным бойцом — об этом свидетельствуют французские и итальянские награды, — и, как нередко бывает, опыт, полученный на фронтах Первой мировой, проявил его творческие наклонности и пробудил политическую активность. Первое произведение Малапарте — тогда еще Курта Зуккерта — “*Viva Caporetto*” [“Да здравствует Капоретто!”], написанное не без влияния романа А. Барбюса “Огонь”, писатель издал за свой счет в 1921 году, а потом оно было переиздано под названием “Восстание проклятых святых” в Риме в 1922-м, но вскоре изъято по причине шокирующего содержания и с обвинением в антипатриотизме.

После газовых атак и окопов во Франции и в Италии Курт окунулся в красный хаос революций. Ему удалось получить назначение при итальянском представительстве

2 Битва при Капоретто (октябрь–декабрь 1917 г.) — широкомасштабное наступление австро-германских войск и трагическое отступление итальянской армии недалеко от города Капоретто.

3 Имеется в виду второе Марнское сражение в июле–августе 1918 г.

в только что получившей независимость Польше. В Варшаве он провел целый год, с 25 сентября 1919 по 20 сентября 1920 году, как раз во время наступления Красной армии. Там в полной мере проявились и его бурный характер, и переменчивость натуры. Романтический бунтарь, проклятый тосканец, бросающий вызов смерти доблестный воин, он полюбил сладкую пустоту дипломатической жизни, балы и приемы. Среди лиц “большого света” общается с апостольским нунцием Акилле Ратти<sup>4</sup>, будущим папой Пием XI, — оба увлекаются фехтованием. Но одновременно следит за политическими событиями и даже якобы в них участвует: он утверждал, что был свидетелем битвы за Варшаву, когда Ю. Пилсудскому удалось остановить на Висле Красную армию под командованием Тухачевского.

Так ли это было на самом деле? Вряд ли... Многие, знавшие Малапарте (тогда еще Курта Зуккерта), упоминали его авантюрный характер, нарциссическое желание привлечь к себе внимание любым способом, постоянно подтверждать свою репутацию скандалиста. Его знаменитый девиз: “Главное, чтобы об этом говорили”.

Эти черты определили многое. В том числе и политический выбор. Не без колебаний Зуккерт-Малапарте предпочел фашизм большевизму, объявил себя патриотом и вскоре стал видным деятелем фашистского профсоюза во Флоренции. Правда, в Походе на Рим<sup>5</sup> в октябре 1922 года не участвовал, как утверждал позднее в трактате “Техника государственного переворота”. В 1923 году стал членом масонской ложи в Риме, а в 1924-м основал профашистский журнал “*La Conquista dello stato*” [“Завоевание государства”] (1924–1928; название, по утверждению Малапарте, предложил сам Муссолини).

4 Амброджио Дамиано Акилле Ратти (1857–1939) — Папа Римский Пий XI с 6 февраля 1922 по 10 февраля 1939 г.

5 Поход на Рим — марш фашистской партии Италии во главе с Бенито Муссолини в октябре 1922 г.

Включившись в политическую жизнь, Малапарте оказался причастен к делу об убийстве антифашиста Джакомо Маттеотти в 1924 году. Во время судебного разбирательства (судебный процесс шел в городе Кьети в 1926-м) Малапарте своим ложным свидетельством облегчил положение убийцы, члена “фашистской ЧК” Америко Думини, который в результате отделался совсем незначительным тюремным сроком.

В 1925 году Курт Зуккерт стал Малапарте — псевдоним впервые использован в книге *“Italia barbara”* [“Варварская Италия”], где имена Малапарте и Зуккерт соседствуют. Писатель утверждал, что стал искать псевдоним по совету Муссолини. Конечно, решение найти себе новую фамилию связано с фашистской кампанией антикосмополитизма. Молодой Курт прикидывал различные варианты своей “итальянизации”: *Curzio Sucherti*, *Curzio Suchertio*, думал, не принять ли фамилию приемного отца Бальди или обыграть имя родного города: *Curzio Pratoforte*. Псевдоним Малапарте, возможно, взял, основываясь на статье литератора-иезуита, который в середине XIX века утверждал, что исконная итальянская фамилия Наполеона была Малапарте (по типу Малатеста, Маласпина и т.д.). Таким образом, писатель хотел патристически напомнить об итальянском происхождении великого полководца и шутливо добавлял, что если Бонапарте (буквально — “хорошая судьба”) кончил плохо, то Малапарте (“плохая судьба”) кончит хорошо...

В самой истории создания псевдонима Малапарте, в мифе о том, что его подсказал Муссолини, в сравнении-противопоставлении с образом Наполеона — отражается вся сложная и противоречивая личность писателя. Храбрый воин и позёр-денди, изменчивый в политике и в жизни, то убежденный патриот и неистовый фашист, то поклонник Ленина и пролетарской революции, а на самом деле скорее всего анархист-индивидуалист с постоянным желанием первенствовать. Словом, любитель парадокса и скандалист.

Параллельно политической деятельности Малапарте продолжал писать, сотрудничать в печатных органах самой разной политической ориентации. Еще в 1920 году, в Риме, будучи студентом университета, он основал авангардистское движение “Океанизм” (правда, оно не имело заметного резонанса); в последующие годы сотрудничает в журналах таких известных деятелей антифашизма, как Пьеро Гобетти и Джованни Амендола. Он постоянный посетитель литературного кафе “Араньо”, где часто бывают Пиранделло, Де Кирико, Кальдарелли, Брагалья и другие деятели культуры. Изданные в эти годы книги “Свадьба евнухов” (1922) и “Живая Европа” (1923) не представляют особого литературного интереса и свидетельствуют лишь о развитии его националистических воззрений.

В 1925-м Малапарте подпишет профашистский “Манифест Джентиле”<sup>6</sup>. В книге “Варварская Италия” он среди прочего парадоксально указывает на Контрреформацию как на положительную черту, определившую ориентиры итальянской истории в противопоставлении с главными линиями развития западной культуры. По этому поводу идеолог марксизма, коммунист А. Грамши напишет, что Малапарте — безмерно тщеславный сноб-хамелеон. Писатель присоединяется к литературной группе писателей-патриотов “*Strapaese*”, которые воспевали красоту примитивной деревенской жизни<sup>7</sup>, сотрудничает с Мино Маккари в жур-

6 Манифест в поддержку фашизма был подготовлен в 1925 г. знаменитым философом Джованни Джентиле и был подписан многими представителями итальянской культуры того времени. Против него, в том же году, по предложению Джованни Амендолы, Бенедетто Кроче написал “Манифест антифашистских интеллектуалов”.

7 Литературная группа “*Strapaese*” [страна селян, супердеревня] поддерживала фашистскую идеологию и культивировала литературу, основанную на национальных принципах. “*Strapaese*” являлась одной из двух основных линий развития фашистской литературы 1920-х гг. Наряду с ней стала развиваться линия “*Stracittà*” [супергород], или “*Novecento*” [XX век], которая, наоборот, была ориентирована на городскую и международную культуру.

нале "Il Selvaggio" ["Дикаръ"] и с Лео Лонганези в журнале "L'Italiano" ["Итальянец"]. Но и тут "хамелеон" Малапарте не смог удержаться: в 1928 году он сближается с группой "Stracittà", сотрудничает с Массимо Бонтемпелли в международном журнале на французском языке "900. Cahiers d'Italie et d'Europe" ["Девятисотые годы. Записки из Италии и Европы"]. Согласно концепции Малапарте, этот журнал должен был демонстрировать международной читательской аудитории высокий уровень культурного развития фашистской Италии. Однако на страницах "900" стали появляться тексты писателей, далеких от литературных идеалов фашизма, таких как Дж. Джойс, Вирджиния Вульф, Блез Сандрар, Макс Жакоб и Илья Эренбург. Такой поворот совершенно не устроил бывших друзей — патриотов из "Strapaese", а независимость и непредсказуемость Малапарте начали вызывать подозрение и настороженность у фашистских идеологов. Скоро "900" закрылся, и писатель сочинил для журнала следующую эпитафию: "Мой отец Малапарте, / не в силах переварить / мою маму Бонтемпелли, / срывая злобу, съел сынка".

Однако Малапарте не падает духом. Скоро он становится редактором журнала "La Voce", где между прочим печатает перевод повести Т. Манна "Смерть в Венеции" (итальянский перевод озаглавлен "Un sogno" ["Сон"], так как считалось политически нецелесообразным соотносить образ Венеции с идеей смерти), потом заместителем редактора журнала "La Fiera Letteraria" ["Литературная ярмарка"]. Но ему нужно одобрение Муссолини, он жаждет особого положения при новом режиме.

Из таких умонастроений — Малапарте тогда жил в Париже — родился проект книги о Муссолини, которая, как планировал писатель, должна была позволить занять ему совсем другую ступень в политической иерархии. Результатом стал неоконченный памфлет "Дон Камалео", в котором он старался показать искусство политической эквилибри-



стики дуче. После Второй мировой войны, когда Малапарте постарался преувеличить свои антифашистские заслуги, он указывал на сложную судьбу этой книги (произведение выйдет уже в переработанном виде в 1946 году с подзаголовком “Роман одного хамелеона”). В действительности же писатель очень заботился о благосклонном внимании Муссолини. А что же дуче? Он, похоже, ценил этого “неординарного” фашиста. Во всяком случае, Малапарте вскоре был назначен редактором неаполитанской газеты “*Il Mattino*”, а в начале 1929-го — туринской “*La Stampa*”. Издание принадлежало предпринимателю Джованни Аньелли, основателю знаменитого завода “Фиат”. Назначение, похоже, было поддержано Муссолини в рамках “фашизации” печати всей страны: например, влиятельную миланскую газету “*Corriere della Sera*” получил Альдо Борелли, верный друг Малапарте, который станет главной связью между ним и дуче. Сотрудниками газеты стали писатели Коррадо Альваро, Альберто Моравиа и Элио Витторини.

Борьба внутри “аристократии” фашистской Италии, рутинная работа в редакции, постоянные поиски компромиссов с местными чиновниками, не говоря уже о сложных отношениях с семьей предпринимателей-промышленников Аньелли (они станут ужасными, когда в 1935 году Малапарте задумает жениться на Вирджинии Бурбон-дель-Монте, вдове Эдоардо Аньелли), снова пробудили страсть Малапарте к путешествиям. Так и получилась поездка в Советский Союз в мае 1929-го.

Русская революция давно интриговала Малапарте (со времен дипслужбы в Польше). Если в начале двадцатых годов он выбрал фашистскую национальную революцию, то теперь он сосредоточился на общих закономерностях революций, на компромиссах и реставрации, а в качестве материала привлекает не только хрестоматийную французскую революцию, но гораздо более близкие и живые. Отсюда —

изучение механизмов революционного захвата власти, которым он посвятил трактат “Техника государственного переворота” и книги о Ленине “*Intelligenza di Lenin*” [“Осмысление Ленина”], 1930, и “*Le bonhomme Lénine*” [“Дедушка Ленин”], 1934, а также ряд статей в газете “*La Stampa*”, в журнале “*L’Italia Letteraria*”, рассказ “*Donna rossa*” [“Красная женщина”] в сборнике рассказов “*Sodoma e Gomorra*”, 1931. Отсюда — интерес к новой “красной” аристократии, о которой он напишет в неоконченном романе “Бал в Кремле”.

Трактат “Техника государственного переворота” сыграл важную роль в жизни и в карьере писателя. Книга вышла в 1931 году в Париже на французском языке, когда Малапарте уже перестал быть редактором “*La Stampa*”. Малапарте сначала надеялся, что на волне успеха книги за рубежом дуче назначит его *ambassador-at-large* [дипломат высшего ранга]. Книга действительно подарила Малапарте международную славу. Ее хвалили и порицали, но отношений с Муссолини она не укрепила. Трактат, может быть, понравился дуче, но он считал его политически неудобным и запретил печатать в Италии. Несколько лет спустя из-за нелестного портрета “начинающего” фюрера книгу запретили в Германии. Против книги выступил и Лев Троцкий, особенно из-за описания его отношений с Лениным (уже после Второй мировой войны Малапарте попытается воспользоваться этим, чтобы заручиться одобрением итальянских коммунистов, которые восхищались Сталиным, и даже в 1956 году напечатает апологетическую статью “Визит к Сталину”).

А тут еще история со знаменитым летчиком и деятелем фашизма Итало Бальбо. В 1931 году Малапарте вместе с Энрико Фалькви подписал агиографическую брошюру о Бальбо после его сенсационного перелета из Италии в Бразилию. До известной степени сотрудничество Ленина и Троцкого во взятии ими власти он уподобил совместным действиям Муссолини и Бальбо (стратегия Муссолини как

бы поддерживается техникой Бальбо). Несмотря на эти лестные слова, Бальбо даже не упомянул Малапарте в своих мемуарах о победе фашизма “Дневник 1922 года” (книга вышла в 1932-м). Кроме того, Малапарте не был приглашен на официальный прием в итальянском посольстве по случаю визита знаменитости в Париж. Обиженный писатель, учитывая очевидное соперничество Бальбо и Муссолини (в 1934-м Муссолини назначил летчика генерал-губернатором Ливии, отдаляя его от центра власти), отрицательно высказался о Бальбо в письмах журналисту и другу Итало Бальбо — Нелло Квиличчи, намекая на исчезновение революционного духа у бывшего героя, издеваясь над его полнотой и рекомендуя уйти с политической сцены. Переписка усилиями полиции попала в руки дуче, Муссолини долго не принимал никакого решения, тогда сам Бальбо обратился с жалобой в Трибунал для защиты государства.

Малапарте тогда находился во Франции и надеялся, что Муссолини поддержит его, поэтому спокойно вернулся в Италию, в Рим. Но 7 октября 1933 года его арестовали и поместили в тюрьму “*Regina Coeli*”. Затем он был отправлен в ссылку на остров Липари, где повидался с матерью, а также с тайной возлюбленной, до сих пор известной только под именем Фламиния, и с любимой собакой Фебо. Правда, Малапарте на Липари оставался недолго. В октябре 1934-го его перемещают на Тирренское побережье, в Форте деи Марми, где после окончательного освобождения в июне 1935-го он даже купил себе “Виллу Гильдебранд” (дом был построен немецким скульптором А. Гильдебрандом и украшен знаменитым живописцем А. Бёклином).

Трудно понять, каким образом Малапарте удалось так быстро вернуть себе положение и репутацию. Возможно, это объясняется сближением с Галеаццо Чиано, мужем Эдды, дочери Муссолини, и министром народной культуры. В 1937 году с позволения самого дуче Малапарте основывает новый литературный журнал “*Prospettive*” (“Перспекти-

вы”; в разные годы там публиковались Э. Монтале, У. Саба, А. Моравиа, Р. Баккелли, Дж. де Кирико), и ему разрешают печатать статьи и корреспонденции и в других газетах (главным образом в “*Corriere della Sera*” его друга Борелли). В 1939 году он отправляется военным корреспондентом в Эфиопию и там начинает писать книгу “Африка не черна”, но не заканчивает ее. По возвращении занят литературой (напишет книгу рассказов “*Donna come me*” [“Женщина как я”], 1940) и одновременно строительством виллы на Капри, которая благодаря новаторской концепции станет настоящим памятником писателю и его мировоззрению. К этому периоду относятся самые интересные номера журнала “*Prospettive*”. Мировая война уже началась, и позиция фашистской Италии была ясно выражена, но Малапарте представляет публике писателей, далеких от военно-патриотического шума: Ф.Г. Лорка, Р.-М. Рильке, П. Элюар, У. Йейтс, Т. Элиот... даже Дж. Джойс! Он по-прежнему тесно сотрудничает с Альберто Моравиа.

Однако 10 июня 1940 года Муссолини объявил войну Великобритании и Франции. Малапарте — человек действия, не в его характере отсиживаться в редакциях журналов и газет, и он отправляется военным корреспондентом на французский фронт, потом в Албанию и Грецию. После оккупации Греции и Югославии продвигается с немецкими войсками дальше в Румынию и вместе с корреспондентом “*Il giornale d'Italia*” Лино Пеллегрини добирается до Украины, откуда целый месяц посылает статьи для “*Corriere della Sera*”.

Что затем случилось, не ясно до сих пор. После войны Малапарте заявлял, что немцы арестовали его из-за позитивных суждений о Советской армии и отозвали с фронта, но, кажется, он просто вернулся в Италию и, как писал брату, не собирался обратно на Восточный фронт, пока немцы не решатся завоевать Москву (он рассчитывал описать взятие Москвы — Малапарте следом за Бонапарте!). Потом он

снова отправился на Восточный фронт, через Финляндию, чтобы стать очевидцем взятия Ленинграда... Частые визиты в Берлин, корреспонденции из Польши, независимые высказывания о ходе военных действий и политике ухудшают его отношения с немецкими властями. Очевидно, как опытный хамелеон, Малапарте уже понял, откуда дует ветер, и в его публикациях все яснее выражается уважение к Советской России. Это — книга-репортаж “Волга рождается в Европе” (1943), театральный набросок под названием “Блокада Ленинграда”, демонстрирующий восхищение его героическими защитниками.

Вернувшись в Италию, Малапарте становится свидетелем кардинальных изменений. Падение Муссолини, немецкая оккупация, создание северной фашистской республики в Сало, победоносное наступление союзников на юге Италии, партизанская война... 9 августа 1943 года Малапарте официально уволен со службы военным корреспондентом. Теперь он — на Капри и старается войти в контакт с англичанами. Его арестовывают американцы и перевозят в Неаполь. После допросов у полковника Генри Камминга, которому он потом посвятит роман “Шкура”, Малапарте начал сотрудничать с союзниками и поступил на службу при американском штабе в Ливорно. В это время он заканчивает “Капут”, первый роман трилогии (за ним последуют “Шкура” и незаконченный “Бал в Кремле”)<sup>8</sup>.

Одновременно писатель ищет сближения с итальянской компартией. Первая встреча с Пальмиро Тольятти состоялась в день Пасхи 1944-го Малапарте написал для него своего рода автобиографию, где, среди прочего, подчеркивал рабочее происхождение. Он начинает печататься на страницах газеты “Unità” под тосканским псевдонимом Джанни Строщи. К этому времени относится его возмож-

8 На русском языке романы “Шкура” и “Капут” были опубликованы в 2015 г. в издательстве “Ad Marginem” в переводе Г. Федорова.

ное участие в деле Джованни Джентиле — философа и теоретика фашизма, которого партизаны расстреляли во Флоренции. Правда, Малапарте скоро задерживают уже как бывшего фашиста и организатора карательных фашистских отрядов во Флоренции и Прато в 1920-х, а также как человека, разбогатевшего благодаря фашистскому режиму. Процесс шел долго, и Малапарте оправдали лишь в 1947 году не без помощи Тольятти и вопреки протестам многочисленных представителей антифашистской общественности.

Отношение к нему в послевоенной Италии подтолкнуло писателя к тому, чтобы обращаться преимущественно к зарубежному читателю и переселиться в Париж. Во Франции вышел в переводе роман “Шкура”. В те же годы Малапарте возвращается к воспоминаниям о поездке в СССР 1929-го и начинает писать роман о красной аристократии “Бал в Кремле”. Но и в Париже отношения с литературной общественностью складываются непросто: известно его публичное столкновение с антифашистом А. Камю, а с другой стороны, он посылает деньги обвиняемому в сотрудничестве с фашистами Л. Селину, который находится в заключении в Дании.

...В 1950 году умерла мать Малапарте. К этому периоду относится его неоконченный роман “*Mamma marcia*” [“Гнилая мама”], где он повествует о встрече с умирающей матерью, а также фрагмент “Мусс”, где Малапарте описывает труп дуче на публичной демонстрации тела Муссолини на миланской площади Пьяццале Лорето 29 апреля 1945 года. Уже посмертно выйдет другой текст о Муссолини — “*Il grande imbecille*” [“Большой дурак”, 1964].

Умелый манипулятор, Малапарте стремится сконструировать новую версию своей биографии, чтобы скрыть темные стороны фашистского прошлого. Особенно резки его высказывания о Муссолини. Он опять печатает довоенную книгу-памфлет “Дон Камалео”. Его симпатии перемести-

лись на левый фланг (хотя он держит в поле зрения и либеральную Республиканскую партию).

Уважение к сильной власти и стремление доказать собственную политическую дальновидность толкают его к последним поездкам в Россию и в Китай (октябрь 1956 — март 1957). В СССР Малапарте был приглашен Борисом Полевым, секретарем Союза писателей и автором “Повести о настоящем человеке”, по случаю Недели итальянского кино, а в Китай — на празднования, посвященные писателю Лу Синю. Репортажи появились на страницах консервативного журнала “Тетра”. Одновременно Малапарте посылает статьи в коммунистический журнал “*Vie Nuove*”. Их поначалу печатали, но потом, после протестов сотрудников журнала (“фашистский писатель не должен издаваться в коммунистическом журнале”), снова перестали. По содержанию статьи двух журналов сильно отличались. К примеру, для “*Vie Nuove*” Малапарте ничего не писал о венгерском восстании 1956 года.

Книга корреспонденций “Я в России и в Китае” вышла посмертно в 1958 году. От Китая Мао Цзэдуна Малапарте пришел в восторг. В вечном странничестве он, казалось, нашел свою гавань и даже завещал свою виллу на Капри Китайской Народной Республике (наследники потом оспорили это решение и выиграли дело). Именно в Китае стали заметны признаки его смертельной болезни. Но Курцио Малапарте перестал бы быть собой, если бы даже здесь не устроил очередной спектакль. К прикованному к постели писателю приходили коммунисты, представители других партий, а также католической церкви. Кажется, он получил от Тольятти партбилет, но одновременно принял крещение и причастился у посланных папой Пием XII иезуитов. Среди посетителей его был известный советский писатель Виктор Некрасов, который потом писал в книге “Первое знакомство”:

“Как раз, когда я был в Италии, в одной из римских больниц умирал Курцио Малапарте — крупный итальян-



ский писатель, публицист, журналист. Путь Малапарте непрост и, может быть, даже не совсем понятен. <...> Его знал и почитал Муссолини. Во время войны Малапарте <...> был корреспондентом фашистской газеты на русском фронте. Впрочем, статьи его не пришлись по вкусу Муссолини, и Малапарте вынужден был покинуть Россию. Но, так или иначе, обвинить его в особой симпатии к ней и к строю ее довольно трудно. Не знаю, что послужило толчком или поводом, но в последние годы в писателе произошел какой-то перелом. Будучи уже стариком, к тому же очень больным, он поехал в Китай. <...> По дороге в Китай и на обратном пути, совсем уже больным, он на несколько дней задержался в Москве.

Сейчас он лежал в одной из лучших римских больниц. Он умирал. Мне сказали, что визит к нему может его обрадовать, и, хотя все это не совсем мне было понятно, мы отправились к нему в больницу.

Он лежал в отдельной просторной, светлой палате, почти недвижимый, бледный, худой, подтянув к самому подбородку одеяло. Сестра, впустившая нас, сказала, что для нас сделано исключение, и просила дольше пяти минут у больного не сидеть, он очень слаб. Да, он был слаб, очень слаб. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось говорить. И он говорил. Говорил с жаром, горячностью, с трудом переводя дыхание, часто прерываясь.

— Ведь вы не читали меня. Наверное даже не читали... А может быть, это даже и хорошо, что не читали... Тогда послушайте... Вы человек молодой и писатель молодой, а я старый, очень старый. Я многое видел. И многих видел. Разных людей, очень разных. Всех национальностей, всех рангов, всех положений... Сейчас я был в Китае. Я не буду о нем рассказывать. Я напишу книгу. Обязательно напишу! Я видел Мао Цзэдуна. Я хочу добиться того, чтобы народный Китай был признан. — Тут он мучительно улыбнулся. — Я знаю, что вы думаете: он умирает, ему жить всего неделю,

а он хочет писать книги... А вот хочу. И напишу. И не умру... И не одну, а две. О Китае и о вас... Я был в Союзе дважды — во время войны и вот сейчас, всего несколько дней. И я хочу — я не имею права о вас не написать. Вы понимаете, не имею права... Потому что у вас, ну как бы об этом сказать, у вас другие люди. И у вас, и в Китае. Не такие, как мы. Таких я еще не видал. Теперь я их увидел. Я их еще не знаю, я их только видел, но не узнать их нельзя... Поэтому я и не имею права умирать... Ведь правда не имею?

Глаза его блеснули, он покрывался испариной, он задыхался, но говорил, говорил, говорил. Мне даже стало страшно при виде этой энергии, этой страсти, этой жажды жизни, которой через несколько недель суждено было оборваться..."

Умер Курцио Малапарте в Риме 19 июля 1957 года. Похоронили его в родном Прато, на вершине горы *Spazzavento*. За год до смерти Малапарте напечатал книгу, которая звучит как настоящая исповедь, если не завещание: "Проклятые тосканцы".

Это было попыткой возвратиться к своему детству, к родной поэзии и мудрости Прато. Именно эта книга много объясняет, не только и не столько в тосканцах, сколько в Kurt, Curt, Curzio Suckert, Sucherti, Malaparte.

#### ЛИТЕРАТУРА:

VEGLIANI F. *Malaparte. Aria d'Italia* Daria Guarnati. Milano-Venezia, 1957.

G.B. GUERRI. *L'Arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte*. Bompiani, Milano, 1980.

M. SERRA. *Malaparte. Vite e Leggende*. Marsilio Editori, Venezia, 2012.

СТЕФАНО ГАРДЗОНИО

## «Бал в Кремле»:

### к истории текста и контекста

**В** 1946 году Курцио Малапарте опубликовал в парижском издательстве “Éditions Denoël” роман “Капут”. Переговоры писатель вел с директором издательства Ги Този. Ему же он в 1947-м обещал передать и следующую книгу цикла о войне — роман “Шкура” (известно, что Малапарте сначала хотел дать название “Чума”, но к этому времени уже вышел роман А. Камю). Одновременно Малапарте получил предложение от Рене Баржавеля напечатать “Шкуру” в журнале “Paris. Les Arts et les Lettres” [“Париж. Искусство и литература”].

И вдруг 7 мая 1947 года писатель предложил Този и Баржавелю новый проект: прежде чем опубликовать “Шкуру”, издать роман о “высшей марксистской московской аристократии”. Причем он понимал, что придется отказаться от своей постоянной переводчицы на французский Жюльетты Бертран — ведь она придерживалась коммунистических убеждений.

Малапарте не сразу определился с выбором названия для будущего романа. Баржавелю он предлагает шокирую-

щее “Бог — убийца” — аллюзия на философский диалог рассказчика с А.В. Луначарским о самоубийстве Владимира Маяковского. Второй вариант — “По направлению к Сталину” — намекал на парадоксальное сходство художественного подхода со знаменитой эпопеей Марселя Пруста “В поисках утраченного времени”. В третьем — “Московская принцесса” — угадываются имена красавиц “Красной Москвы”: Семенова, Луначарская, Бубнова... Но не исключена и ироническая издевка над Д.Т. Флоринским, “самым известным московским гомосексуалистом”. Наконец, чуть позже (в письме к швейцарскому агенту Лену Сирману о переводах на немецкий язык) возникает название “Бал в Кремле”.

До весны 1949-го новостей о “московском романе” больше нет. В письме в издательство “*Flammarion*” от 7 мая Малапарте информирует, что он подписал контракт с издательством “*Gallimard*”, у которого был контрольный пакет “*Éditions Denoël*”. На фоне интереса к новому роману Малапарте выходит французский перевод его старой книги “*Intelligenza di Lenin*” [“Осмысление Ленина”] под названием “*L’Oeuf rouge*” [“Желток яйца”]: имеется в виду изучение советской действительности в ее эмбриональном состоянии, что должно заинтересовать французского читателя послевоенных лет.

Однако вскоре следы “московского романа” теряются. У Малапарте — другие планы (в частности, в области театра и кино). В 1950 году возникает идея новой — итоговой — книги “*Mamma marcia*” [“Гнилая мама”], и “*Gallimard*” даже предлагает перевести на нее старый контракт на русский роман.

Может создаться впечатление, что Малапарте решил отказать от своего московского проекта. Но, как бывало уже не раз, в 1954 году происходит неожиданный поворот: на страницах болонской газеты “*Il Resto del Carlino*” появляются три очерка (второй и третий с подзаголовком “Из мо-

сковских воспоминаний 1929 года"). В 1956-м Малапарте готовится к поездке в СССР и Китай и пишет в издательство "Éditions Denoël", что готов "актуализировать" роман "Бал в Кремле". Находясь уже в пути, Малапарте посылает русские корреспонденции в журнал "Vie Nuove". Там выйдут четыре новых очерка, где новая послесталинская Москва сравнивается с городом, который писатель посещал при Сталине в 1929-м. В этой перспективе роман "Бал в Кремле" мог бы оказаться своевременным вкладом в политические дискуссии периода десталинизации. Однако роман при жизни писателя так и не вышел.

В 1971 году друг писателя, литератор Энрико Фалькви издал сохранившийся неоконченный текст романа вместе с другими неизданными и незавершенными работами писателя. Недавно, после долгой и самоотверженной работы Эдды, сестры Малапарте, над архивом брата, было заново проведено тщательное изучение всех рукописей, касающихся московской книги Малапарте. Были привлечены исторические и биографические источники, ведь "Бал в Кремле" — так же, как и "Шкура" и "Капут" — можно отнести к жанру "современного исторического романа", сочетающего документальную хронику с художественным вымыслом. В итоге текстолог Раффаэла Родонди приготовила объемное издание "Бала в Кремле", и книга вышла в миланском издательстве "Adelphi" в 2012 году. Вместе с реконструированным текстом читателю были представлены два приложения: первое включало фрагменты и наброски романа, второе — другие тексты Малапарте русской темы, увидевшие свет в разные годы.

Тут самое время коротко рассказать об интересе Малапарте к России. Если не учитывать фантастических сплетен о том, что его отцом был русский скульптор Паоло (Павел Петрович) Трубецкой, и о якобы врожденном стремлении ко всему русскому, то первый контакт Малапарте с Россией и русским языком относится к 1915 году, когда Курт Зуккерт

добровольцем воевал на французском фронте. Там он познакомился с “сыном Максима Горького”. Малапарте называет его Алексеем. Скорее всего, имеется в виду усыновленный А.М. Горьким Зиновий Алексеевич Пешков (1884–1966), который сражался в рядах Иностранного легиона во время Первой мировой войны. Именно от него Малапарте получил, по его собственному утверждению, первые навыки русского языка и мог познакомиться с русским миром.

В своей первой книге “Да здравствует Капоретто!” Малапарте проводил параллель между событиями Красного Октября и битвой и трагическим отступлением под Капоретто в конце 1917-го. Намек на советского “человека-массу” мы видим в манифесте литературной группы “Океанизм” 1921 года, и в том же году он печатает в журнале “*La Ronda*” рецензию на итальянский перевод мемуаров Максима Горького о Л.Н. Толстом (“*Ricordi su Leone Tolstoj*”). Будучи редактором журнала “900”, Малапарте издал рассказ И. Эренбурга, что, по некоторым данным, привело к закрытию журнала фашистскими властями. О возможных контактах писателя с русскими эмигрантами или визитерами Италии известно мало. Его друг, главный редактор популярной газеты “*Corriere della Sera*” Альдо Борелли, помогавший Малапарте в контактах с Б. Муссолини, был женат на русской балерине Евгении Борисенко (псевд. Я Руская — *Jia Ruskaja*). В 1928-м Малапарте написал пьесу “*La Coscienza dei morti*” [“Совість усопших”, текст, к сожалению, утрачен] для русской актрисы Татьяны Павловой. Из романа американца Перси Уиннера “Дарио”<sup>1</sup> — главный герой которого, Дарио Двудликий (*Dievolti*), и есть Малапарте — мы узнаем, что этот приспособленец Дарио (в 1939–1941 гг. он будет работать на США) в 1926 году общался с представителем ТАСС, журналистом и дипломатом К.А. Уманским (действительно сотрудником агентства в 1922–1931 гг.). Именно

1 Winner P. Dario 1925–1945: A Fictitious Reminiscence. New York, 1947.

Уманский пропагандировал за границей “Роковые яйца” М. Булгакова и мог — как, кстати, и друг Булгакова, представитель “Фиата” в СССР, итальянский инженер Т. Пиччин, — связать Малапарте с автором “Мастера и Маргариты” (так не без основания предполагает К.М. Джакоббе<sup>2</sup>). Уже после поездки в СССР Малапарте соучаствовал в организации приезда режиссера Александра Таирова в Турин.

Есть предположение, что, когда Малапарте был заключенным римской тюрьмы “*Regina Coeli*” в 1933 году, он познакомился с эстонским шпионом А.В. Куртной, который работал и на Советский Союз, и на Третий рейх (настоящее имя — Александр Курсон, 1914–1983)<sup>3</sup>.

В первый раз Малапарте посетил СССР (Москва и Ленинград) в мае 1929 года. Эта поездка дала ему много материала как журналисту. Десять статей появились на страницах туринской газеты “*La Stampa*”, где он был редактором; часть из них перепечатывались в неаполитанской газете “*Il Mattino*”. Вышел также обзор советской литературы в журнале “*La Fiera Letteraria*”. Статьи из газеты “*La Stampa*” собраны в книгу “Осмысление Ленина”, которая вышла в Милане в 1930 году. Тогда же Малапарте написал предисловие к книге “Лицо большевизма” австрийско-американского писателя, специалиста в области русской литературы Р. Фюллёп-Миллера. В нем он поднимает вопрос о России и Европе, который станет центральным во всех его работах, в частности, в посвященной Ленину книге “Дедушка Ленин” (вышла в Париже на французском языке в 1932 году). Об общем кризисе Европы он писал в книге “*L’Europa vivente*” [“Живая Европа”], 1923, в своих шедеврах “Капут” (1944) и “Шкура” (1949). И, наконец, в последнем, опубликованном уже посмертно, романе “Гнилая мама” (1959).

2 *Giacobbe C. M. Kurt Erich Suckert e la Russia. Nuove prospettive di studi malapartiani. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, Milano, a.a. 2016/2017.*

3 См.: Голованов С. Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции. Омск, 2005.

Вторым посещением СССР может считаться пребывание в качестве военного корреспондента на немецком Восточном фронте Второй мировой войны: статьи Малапарте для газеты "*Corriere della Sera*" лягут в основу книги-репортажа "Волга рождается в Европе" (1943). С замыслом исторической хроники, осуществленным в "Бале в Кремле", тесно связан рассказ "*Donna rossa*" ["Красная женщина"], напечатанный в 1930 году в газете "*La Stampa*" и потом в сборнике рассказов "*Sodoma e Gomorra*" (1931). И, разумеется, в ряду "русской темы" стоит знаменитый трактат "Техника государственного переворота" (1931). В нем Малапарте сочлел свои впечатления от дипломатической работы в Польше в 1919–1920 гг., опыт увлечения фашистской идеологией и, наконец, сведения об Октябрьской революции и борьбе руководства коммунистической партии с оппозицией. Еще он написал об СССР несколько статей для журнала "*Prospettive*" в 1939, 1942 и 1952 гг.

Наконец, уже посмертно вышла книга "Я в России и в Китае" (1958), куда включены статьи-корреспонденции о третьей и последней поездке писателя в Россию. Как уже упоминалось, статьи предварительно выходили в журнале "*Vie Nuove*". В 1956 году несколько статей появилось и на страницах журнала "*Tempo*". Среди них — о встрече со Сталиным в 1929-м, где советский вождь показан с явной симпатией (высказывалось мнение, что отрывок о встрече со Сталиным Малапарте не включил в цикл статей 1929 года, чтобы не раздражать Муссолини).

Незаконченный роман "Бал в Кремле" вышел в 2009 году на украинском языке (в журнале "*Всесвіт*"), на французском в 2013 году, на английском — в 2018-м. И вот — первое издание на русском языке.



МИХАИЛ ОДЕССКИЙ

Советский

роман Малапарте

**К**урцио Малапарте в середине XX столетия выступил как писатель, который в романах “Капут” (1944) и “Шкура” (1949) ставит диагноз Европе, выходящей и вышедшей из кошмара Второй мировой войны. Еще на той стадии, когда роман “Шкура” не был завершен и назывался “Чума”, в его составе начал кристаллизоваться роман о советской Москве. Интересно, что символические рассуждения о “шкуре” присутствуют и в “Бале в Кремле”: “Мораль, философия, наука, религия — все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру (*pelle*). Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. Флаги раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи — человеческой шкуры”. Впоследствии планы писателя изменились, советский роман, в итоге озаглавленный “Бал в Кремле”, так и не был закончен.

Таким образом, хотя Малапарте — редактор популярной туринской газеты «*Stampa*», интересующийся Советским Со-

юзом, революцией и коммунизмом — посещал Москву в мае-июне 1929 года, роман, писавшийся на основе московских впечатлений, функционирует в контексте (используя формулу другого европейского мыслителя) “Заката Европы” после Второй мировой. Если в 1929 году действительные впечатления Малапарте были ориентированы на поиски позитивных перспектив, подразумеваемых советским опытом, то автор послевоенного романа рассматривает тот же материал в “закатном” ракурсе и даже прибегает к политическому дискурсу, который напоминает об идущей холодной войне: “Если завтрашняя Европа — это завтрашняя Россия, правда и то, что сегодняшняя Европа — это сегодняшняя Россия, упадок Европы — следствие упадка коммунистической России, прежде всего разложения марксистской знати в СССР. Но тема эта опасная. Автор глубоко убежден, что, если нынешняя марксистская знать завоюет Европу, он сам и все его читатели встанут к стенке. Не потому, что они преступники или враги народа и свободы (автор не забыл, что при тирании Муссолини и Гитлера он долго томился в фашистских тюрьмах, но он не стал превращать страдания за свободу в профессию, хотя сегодня эта профессия востребована и приносит неплохой доход), а потому, что автор романа и его читатели — свободные люди. Если марксистская знать завоюет Европу, она уничтожит не только противников коммунизма, врагов пролетариата, но и всех свободных людей. Мысль о том, что все свободные люди в Европе и в целом мире будут уничтожены жестокой, алчной и аморальной марксистской знатью, заслуживает серьезного обдумывания. Свободным людям осталось смеяться недолго”.

Родство с “Капутом” и “Шкурой” требует четкого осознания того, что жанр, к которому принадлежит “Бал в Кремле”, отнюдь не документальный травелог (как у других знаменитых визитеров СССР вроде Вальтера Бенямина или Андре Жида), а роман. Это и декларирует Малапарте в пер-

вом же предложении: “В этом романе, представляющем собой верный портрет марксистской знати в СССР...” В “Бале в Кремле” под своими именами фигурируют сам автор, политические деятели, писатели В.В. Маяковский и М.А. Булгаков, но это — исторический роман. То есть автор сохраняет за собой право на вымысел, иногда — трудно обнаруживаемый, иногда — прямо демонстративный.

Как и положено, в романе есть любовная линия — щемящее увлечение советской девушкой Мариной Ч., хотя — ведь роман-то нового типа! — Марина Ч. оказалась вполне реальным человеком: Мариной Артемьевной Чимишкиан, подругой Булгакова и Маяковского, с которой Малапарте в 1929 году встречался и которой увлекся<sup>1</sup>.

Даже речь персонажей — не столько журналистская записка, сколько дань романной традиции, причем, возможно, российской. Рассказчик-Малапарте, Марина Ч. и другие его собеседники свободно перемежают “свой” итальянский язык (передаваемый в переводе, разумеется, русским) с французским. Это непредставимо в действительности, зато повторяет прием русско-французского двуязычия в “Войне и мире” Л.Н. Толстого, высоко чтимого Малапарте.

Правила романа сразу задаются, когда автор рассказывает о беседе с наркомом просвещения А.В. Луначарским. Малапарте, по собственным словам, спросил его, “есть ли в России Марсель Пруст. «Да, — ответил Луначарский, — каждый советский писатель — пролетарский Пруст». Услышав подобный ответ, автор вежливо улыбнулся и не стал говорить, что пролетарский Пруст — это нонсенс, что Пруст — продукт определенной европейской, западной, французской традиции <...> Автор говорит об этом, чтобы защититься от обвинений, которые ему непременно предъ-

1 См., напр.: Яновская Л. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2002. С. 157–164; также новейший архивный материал в диссертации: *Giacobbe C.M. Kurt Erich Suckert e la Russia: Nuove prospettive di studi malapartiani: Tesi di dottorato. Università degli studi di Milano*, 2018.

явят, — обвинений в том, что он пишет не о пролетариате, а о советском высшем обществе <...>”. Функция эпизода в романе — представить тему и тип художественной изобразительности, но ведь, казалось бы, имена Малапарте и Луначарского трансформируют текст в мемуарное свидетельство. Так ли это по сути? С одной стороны, встреча, бесспорно, не вымысел: газета “Вечерняя Москва” 31 мая 1929 года поместила о ней заметку. С другой, если верить газете, — беседа шла о системе народного образования в СССР. Могла речь зайти также о Прусте? Теоретически, конечно, могла, но вот корректно ли апеллировать к “Балу в Кремле” как документу, надежно иллюстрирующему советскую рецепцию творчества Марселя Пруста?

Впрочем, подобные сомнения и вопросы — по крайней мере для российского читателя, интересующегося отечественной историей и культурой, — только увеличивают привлекательность “советского” романа итальянского писателя.

## ДИАЛОГ С ТРОЦКИМ

Роман называется “Бал в Кремле”, но ведь бал-то происходит напротив Кремля, через Москву-реку, в здании британского посольства на Софийской набережной. И это отнюдь не ошибка, потому что Кремль в романе Малапарте не древний архитектурный комплекс в центре Москвы, а символическое обозначение главного героя: “...не отдельный человек, не мужчина или женщина, а социальная группа: коммунистическая аристократия, занявшая место существовавшей при старом режиме русской аристократии”.

Для парадоксального описания “коммунистической аристократии” автору понадобились два неожиданных образа: Пруст и Стендаль. Пруст подразумевал аналитический взгляд — без гнева и пристрастия — на вырождающуюся европейскую элиту “прекрасной эпохи”, а Стендаль — аналогии с Великой французской революцией, когда после

переворота 9 термидора (по революционному календарю, по традиционному — 27 июля 1794 года) якобинскую диктатуру Робеспьера заменила власть коррумпированных прожигателей жизни. Победители-“термидорианцы”, бывшие соратники Робеспьера, установили новое революционное правительство — Директорию, фактически возглавленную Полем Баррасом, которая 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799-го), в свою очередь, была свергнута революционным же генералом Наполеоном Бонапартом. Малапарте пишет: “Возможно, Стендаль сумел бы написать портрет разложившегося, прогнившего советского общества — которое поначалу возглавило пролетарскую революцию и создало коммунизм, а потом, как общество, рожденное термидором, стало наслаждаться властью. Он мгновенно почувствовал бы себя глубоко чуждым: не как якобинец, а уже как бонапартист”.

Отсюда, продолжая аналогию, уподобление “коммунистической аристократии” — “революционной знати, которая появилась в годы Французской революции и которая во времена Директории толпилась у кресла Барраса”, а “Сталин ведь был Бонапартом после восемнадцатого брюмера, хозяином, диктатором, коммунистическая знать была против него, как парвеню Директории был против Бонапарта”.

Возможно, отсюда же такая анахронистическая деталь, как упорное именование советских полководцев “маршалами”: чин был введен позднее — в 1935 году, но зато получается эффектная параллель с маршалами Наполеона. К примеру, “головокружительная карьера от нижнего чина царской армии до маршала красной кавалерии” С.М. Буденного названа карьерой “от *sousoff* до Мюрата”: храбрый кавалерист Иоахим Мюрат (1767–1815) во времена революции и Наполеона тоже поднялся от суб-лейтенанта в 1792 году (*sousoff* — буквально суб-офицер) до маршала Франции в 1804 году.

Сближения с Французской революцией у Малапарте — не просто художественный прием, но одновременно реализация амбициозной историософской концепции<sup>2</sup>. Вообще такого рода сопоставления никак нельзя признать оригинальными. Напротив, это устойчивый символический код, еще в XIX в. востребованный не только и не столько учеными, сколько публицистами, политиками, в частности, профессиональными революционерами. И для тех, кто будущую революцию приближал, и для тех, кто ей противился, такие понятия, как “революция”, “террор”, “якобинцы”, “красные” и “белые”, “левые” и “правые”, “коммуна”, “бонапартизм” и т.п., функционировали в качестве актуальных идеологем, в случае прихода к власти автоматически трансформировавшихся в институции новой государственности. В этой системе свое место занимал и “термидор”.

При помощи аллюзии на “термидорианскую” реакцию политику В.И. Ленина почти сразу начали оценивать его оппоненты: меньшевик Ю.О. Мартов употреблял термин в негативном смысле, именуя “термидором” большевистскую диктатуру как искажение социалистической программы, а кадет Н.В. Устрялов — в позитивном смысле, приветствуя НЭП как возвращение к национальной государственности и частной собственности. Сами большевики эти терминологические игры понимали, реагировали на них, но в официальных документах не употребляли.

Ситуация изменилась в середине 1920-х: сторонники Л.Д. Троцкого — представители так называемой левой оппозиции — обвинили в “термидорианстве” (точнее, в “термидорианской” тенденции) И.В. Сталина и руководство партии, намекая на отказ от идеалов Октябрьской революции, “перерождение” и апологию нэпманов. Для защитников же генеральной линии само использование слова “тер-

2 См. подробнее: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика власти: Тираноборчество. Революция. Террор. М., 2012. С. 17–168.

мидор” выявляло предательскую сущность троцкизма и переход на позицию меньшевиков и кадетов. В качестве эмблематических здесь можно указать два факта, обнаруживающих агрессивное столкновение интерпретаций: на троцкистской демонстрации, приуроченной к 10-летию Октября, несли плакаты “Долой термидор!”, а в нормативном учебнике для студентов партийных школ 1928-го, где первая глава была посвящена социалистической революции и ее перспективам, уже следующая, вторая, была озаглавлена “О термидоре и перерождении Советского государства”<sup>3</sup>.

После изгнания из СССР Троцкий, освободившись от цензуры и самоцензуры, продолжил разработку концепции советского “термидора” и превратил ее в своего рода бренд. Согласно Троцкому, истинная суть “термидора” заключается в бюрократизации революционного государства, что хотя и позволяет сохранять некоторые завоевания революции (организатор захвата власти в октябре 1917-го не мыслил себя отдельно от мифа социалистической революции), но обуславливает раскол коммунистической элиты, отрыв партийного руководства от революционного класса, ликвидацию “старой гвардии” и перерождение оставшихся. Отмечая все новые и новые моменты сходства французского и советского “термидора”, Троцкий, в частности, указывал: “Период борьбы с троцкизмом был вместе с тем временем расцвета всякого рода секретных и полусекретных салонов и вообще своего рода светской жизни”<sup>4</sup>.

Концепция Малапарте — противоположная: термидор — определение не тех, с кем троцкизм спорит, а троцкизма: “Про себя я смеялся, думая об изгнании Троцкого. А с чего мне было плакать? Чего еще мог ожидать Троцкий в случае поражения? Для меня отвратительно было не то,

3 См. этапы и нюансы борьбы за идеологему “термидор”: Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора / пер. с фр. М., 1993.

4 Троцкий Л.Д. Сталин: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 217.

что он убил тысячи буржуа, контрреволюционеров, царских офицеров, а то, что он убивал их, движимый дурными чувствами. С хорошими чувствами хорошую революцию не сделать. Я винил его в том, что он возглавил политическую группировку, которая, как это ни странно, отождествляла себя с советским правящим классом в 1929–1930 гг. За полемикой Троцкого стояли педерасты, шлюхи, разбогатевшие мещанки, низшие офицерские чины — все, кто нажился на Октябрьской революции. В этом состояла вина Троцкого: он возглавил не пролетарскую фракцию, а самую разложившуюся фракцию революционных эксплуататоров пролетариата”.

Отождествив кремлевскую элиту 1929-го с “термидором”, а “термидор” — с троцкизмом, Малапарте придал своему послевоенному роману статус очередной реплики в многолетнем диалоге с Троцким. За двадцать лет до того — по собранным в СССР в 1929 году материалам — Малапарте на французском опубликовал трактат “Техника государственного переворота” (1931; на итальянском издан в 1948-м, после падения Муссолини), один из политологических шедевров века. В романе “Бал в Кремле” он вспомнил о книгах “Техника государственного переворота” и “Дедушка Ленин”, за которые его потом в Италии “на несколько месяцев посадят в римскую тюрьму “Реджина Чели” (*Regina Coeli*) и отправят на пять лет в ссылку на остров Липари”. “Сумей я это предвидеть, — замечает, впрочем, Малапарте, — я бы все равно их написал”.

По мнению автора эпатажного трактата, концепция народного восстания, освященная революционной традицией XVIII–XX вв., устарела. На его взгляд, актуальным реалиям отвечает другая концепция — “государственного переворота”, который производит компактная штурмовая группа боевиков, нацеленная на захват не правительственных учреждений, а городских коммуникаций. С этой точки зрения Наполеон, Юзеф Пилсудский или Гитлер (на мо-



мент написания трактата) — неудачники-дилетанты. И даже — Ленин. Первооткрывателем же и мастером новой рациональной техники объявляется Троцкий: “Если Ленин — стратег большевистской революции, то Троцкий — тактик государственного переворота в октябре 1917 года”<sup>5</sup>.

Трактат — политологический, однако его автор — не ученый, а писатель. Потому Троцкий в трактате не только историческая фигура, но художественный образ. Оказывается, Троцкий — “с его высокомерием, твердостью, отвагой и ловкостью”<sup>6</sup> — внушает опасения Ленину. И не напрасно: “Государственный переворот — это Троцкий. Но государство — это сейчас Ленин. Вождь, диктатор, победитель — это он, Ленин. <...> Троцкий молча следует за ним с загадочной улыбкой на губах, которая смягчится лишь со смертью Ленина”<sup>7</sup>. Это — Троцкий-победитель в 1917-м; столь же привлекателен Троцкий, терпящий поражение в 1927 году: “При первом же столкновении колонна его сторонников отступает и рассеивается. Троцкий глядит вокруг. Где его верные сподвижники, вожди его фракции, полководцы маленького безоружного войска, брошенного им на захват власти? Единственным, кто не дрогнул в этой схватке, был сам Троцкий, великий мятежник, Катилина коммунистической революции”<sup>8</sup>.

В трактате достойный соперник Троцкого — лишь Сталин. Он — тот, кто изучил изобретенную Троцким “технологию” и теперь способен остановить “великого мятежника”: “Сталин — единственный государственный деятель Европы, который сумел извлечь урок из октябрьских событий 1917 года. Если коммунисты всех европейских стран должны учиться у Троцкого искусству захвата власти, то либеральные и демократические правительства должны учить-

5 Малапарте К. Техника государственного переворота / пер. с итал. Н. Кулиш. М., 1998. С. 92.

6 Там же. С. 127.

7 Там же. С. 130.

8 Там же. С. 161.

ся у Сталина искусству защищать государство от повстанческой тактики коммунистов, то есть от тактики Троцкого”<sup>9</sup>. Соответственно, борьба “левой оппозиции” со сталинским партийным руководством в изображении Малапарте отнюдь не тождественна абстрактным дискуссиям и сводится к деловой борьбе за власть: “История борьбы Сталина с Троцким — это история попытки Троцкого захватить власть и защиты государства Сталиным вместе со старой большевистской гвардией: это история неудавшегося государственного переворота. <...> Дело в том, что на карту поставлена власть. <...> На самом же деле Троцкий думает о захвате государственной власти, а Сталин — о том, как государство защитить”<sup>10</sup>.

Создает Малапарте и “своего” художественного Сталина: “Сталину совершенно несвойственны такие качества русских, как апатия, ленивое непротивление добру и злу, туманный, бунтарский и вредоносный альтруизм, наивная и жестокая доброта. Сталин не русский, он грузин: его хитрость соткана из терпения, воли и здравого смысла; он упрямец и оптимист”<sup>11</sup>.

У Малапарте привлекательность Троцкого не в том, что он — теоретик-марксист и революционер, а в том, что он — человек воли и действия, неукротимый и одновременно хладнокровный организатор государственного переворота. Против Троцкого, согласно роману “Бал в Кремле”, также чрезмерный интеллектуализм: “Я выбрал своим героем Ка-рахана, а не Троцкого, Каменева или Бухарина по одной причине: он был более красив и менее интеллектуален”. Равным образом, Сталин — человек не слова, а воли, практик, вставший на защиту государства.

Малапарте за “Технику государственного переворота” в Италии подвергался репрессиям, в гитлеровской Герма-

9 Малапарте К. Техника государственного переворота. С. 131.

10 Там же. С. 132–133.

11 Там же.

нии книгу публично сжигали, но и Троцкий, который вроде мог быть польщен концепцией автора, от нее отмежевался. Для теоретика перманентной революции, вызванной объективными историческими обстоятельствами, концепция итальянского писателя — реакционна и неадекватна: «Итальянский писатель <...> посетил в 1929 году советскую Москву, перепутал то немного, что услышал из пятых уст, и на этом фундаменте построил книгу о «Технике государственного переворота». Фамилия этого писателя, Малапарте, позволяет легко отличить его от другого специалиста по государственным переворотам, который носил имя Буонапарте. В противовес «стратегии Ленина», которая связана с социальными и политическими условиями России 1917 года, «тактика Троцкого, — по словам Малапарте — напротив, не связана с общими условиями страны». <...> Малапарте много раз повторяет, что в октябре победила не стратегия Ленина, а тактика Троцкого. Эта тактика и сейчас угрожает спокойствию европейских государств. <...> Тщетно стали бы мы допытываться, для чего вообще нужна стратегия Ленина, зависящая от исторических условий, если тактика Троцкого разрешает ту же задачу при всякой обстановке. Остается добавить, что замечательная книга вышла уже на нескольких языках. Государственные люди учатся по ней, очевидно, отражать государственные перевороты. Пожелаем им всякого успеха»<sup>12</sup>.

Малапарте полемически откликнулся на позицию Троцкого в предисловии к итальянскому изданию «Техники государственного переворота» и в романе «Бал в Кремле» тоже продолжает диалог с «великим мятежником». Теперь Троцкий — символ той марксистской знати, что деградировала и предала рабочий класс, а Сталин прокладывает дорогу новому поколению: «<...> новая знать, вышедшая из военного коммунизма и из НЭПа, состоящая из людей, ко-

12 Троцкий Л.Д. История русской революции. М., 1997. Т. 2 (2). С. 264.

которые считали себя героями, а были предателями, которые считали себя марксистами, а были всего лишь красными буржуями, которые считали себя хранителями мысли Маркса и Ленина, а были всего лишь бонапартистами, которые думали, что возглавляют пролетариат, а на самом деле возглавляли троцкистскую контрреволюцию, теперь уступила место элите стахановцев, ударников, сталинской элите пятилеток...”. Прерву цитату, чтобы акцентировать: по Малапарте, достоинство новой элиты отнюдь не в ее приверженности марксизму и вообще не в теории: “...сталинской элите пятилеток — безжалостной, жалкой, но все же более человеческой”. Неясно, правда, почему послевоенная Европа должна по-прежнему опасаться “марксистской знати”, раз она троцкистская, то есть уничтожена Сталиным.

Наконец, уже после войны Малапарте опубликовал статью “Визит к Сталину” (1956), где уважительно поведал о состоявшейся в 1929 году беседе с советским лидером, которая, по его словам, касалась положения рабочих завода “Фиат”, условий их труда, культурной работы и т.п. Однако в романе об этом ни слова.

## МЕТОД МАЛАПАРТЕ

“Техника государственного переворота” содержит еще одну сенсацию.

Малапарте, не ссылаясь ни на какие источники, сообщает, что 7 ноября 1927 года — когда Москва праздновала 10-летний юбилей Октября, когда левая оппозиция в последний раз вышла на свою отдельную демонстрацию — решающие события разворачивались не на улицах, а в городских коммуникациях столицы, где специальные группы чекистов В.Р. Менжинского блокировали атаку боевиков Троцкого, пытавшихся повторить давний опыт Октября и захватить власть: “<...> Менжинский сосредотачивает силы своего специального отряда на защите технических

центров. Этого Троцкий не предвидел. Он слишком презирал Менжинского и был слишком высокого мнения о себе, чтобы считать руководителя ГПУ достойным противником. Слишком поздно он замечает, что враги сумели извлечь урок из событий октября 1917 года. Когда ему сообщают, что попытка захвата телефонных станций, телеграфа и вокзалов провалилась и что события принимают непредвиденный, необъяснимый оборот, он сразу отдает себе отчет в том, что его повстанческая акция натолкнулась на систему обороны, не имеющую ничего общего с обычными полицейскими мерами, но все еще не отдает себе отчета в реальном положении вещей”<sup>13</sup>.

Карла Мария Джакоббе в диссертации, посвященной московскому визиту Малапарте в 1929-м, указала, что немецкий публицист Герман Раушнинг (автор знаменитой книги “Разговоры с Гитлером”) в сочинении “Нигилистическая революция” (1938) ссылаясь на сведения о попытке троцкистского переворота 1927 года как на исторический факт<sup>14</sup>. Однако специалисты это сообщение не верифицируют. Так что или информация была настолько секретной, что до сих пор не вышла на свет, или, наоборот, это ложный вброс ГПУ, призванный дискредитировать Троцкого.

В любом случае (пока нет подтверждающих архивных открытий) правомерно предположить, что ноябрьские бои в столичных коммуникациях — не исторический факт, а реализация удивительного метода Малапарте. Суть этого метода заключается в том, что намеренно стирается грань между гипотетическим “А что, если бы?” и фактическим событием, а гарантом истинности оказывается автор-свидетель. Так, продолжая в “Технике государственного переворота” повествование о перевороте Троцкого, Малапарте добавляет: “Ему приписывали даже дерзкий план: похи-

13 Малапарте К. Техника государственного переворота. С. 158–159.

14 Giacobbе C.M. Kurt Erich Suckert e la Russia. 2018.

тить мумию Ленина, лежащую в стеклянном гробу в скорбном мавзолее у подножия Кремлевской стены, и призвать народ сплотиться вокруг этого фетиша революции, превратить мумию красного диктатора в своеобразный таран, чтобы сокрушить им сталинскую тиранию. Эта мрачная легенда по-своему величественна. Кто знает, быть может, такая идея и промелькнула на какой-то миг в воспаленном воображении Троцкого в то время, как вокруг волновалась толпа, а его маленькая армия студентов и рабочих двигалась на Красную площадь, переполненную солдатами и народом, оцетинившуюся штыками и рдеющую знаменами?"<sup>15</sup> Да, с одной стороны, осторожные оговорки "ему приписывали", "мрачная легенда", "кто знает", но, с другой стороны, "дерзкий план" вербализирован и у читателя, как говорится, "осадок остается".

В романе "Бал в Кремле" Малапарте снова возвращается к этому эпизоду: "Я вспомнил, что за два года до этого, когда борьба между Сталиным и Троцким приняла драматический оборот, прошел слух, будто Троцкий намерен завладеть забальзамированным трупом Ленина и призвать народ восстать против Сталина, размахивая этой мумией, словно флагом". Захват "забальзамированного трупа" квалифицируется как "слух", но — по версии Малапарте — присутствующий нарком иностранных дел М.М. Литвинов (в действительности пока заместитель наркома, а наркомом до июля 1930-го остается Г.В. Чичерин) не шокирован и спокойно комментирует: "Троцкий способен на все <...> но не думаю, что он осмелился бы осквернить могилу Ленина. Для русского народа Ленин — святыня. Со всех сторон СССР крестьяне приезжают в Москву поклониться ему. Я не удивлюсь, — прибавил он ехидно, — если однажды мощи Ленина станут чудотворными, хотя чудеса в России запрещены".

15 Малапарте К. Техника государственного переворота. С. 160–161.

Есть в романе и другие примеры использования метода “А что, если бы?”, когда очередной проект Малапарте — правда, откровенно условный (православный Троцкий в рядах гитлеровской армии), но со скрытой аллюзией на опыт автора, побывавшего на Восточном фронте, — цементирует сложный пассаж о троцкизме и сталинизме: “Сталин выиграл войну против Гитлера в тот день, когда Жак Морнар (имя, под которым первоначально был известен Р. Меркадер, исполнитель убийства Троцкого в 1940 году. — М.О.) убил Троцкого, ударив его по затылку ледорубом. В тот день Гитлер проиграл войну. Войну выиграл Морнар, а не маршал Жуков. Вернись Троцкий в Россию в июне 1941 года, войди он в те чудесные теплые дни на Украину во главе армии попов в парадных одеяниях, распевających старинные песнопения, в сопровождении толпы солдат и офицеров, ему бы вышел навстречу весь украинский народ. Потому что Троцкий воплощал контрреволюцию, а только контрреволюция может или могла одолеть коммунистическую Россию. Весь московский правящий класс занял бы сторону Троцкого. Потому что при коммунистическом режиме бюрократия была и всегда будет троцкистской. Мы бы увидели, как всё невероятным образом становится с ног на голову: народ пошел бы за Троцким. А Россия, оставаясь советской по названию, стала бы фашистской Россией, в ее главе стоял бы похожий на Муссолини еврей — любитель разглагольствований и полемики, милитарист, напыщенный, высокопарный, самодовольный, наслаждающийся жизнью, со свитой сверкающих галунами и драгоценностями придворных. Потому что троцкизм — это фашизм, и обусловлено это прежде всего тем, что коммунизм не может родиться в стране, где, как в Европе, есть старинные города, коммунизм не может зародиться вокруг города. Поскольку высшая цель коммунизма — общество без государства, его целью должна стать нация без городов. Там, где есть города, коммунизм быстро угасает. Превратите Париж,

Лондон, Рим в столицу коммунизма, и коммунизм быстро выродится в фашизм, в троцкизм”.

Более того, весь текст “Бала в Кремле” — исторического романа, в котором действуют реальные люди, — своего рода реализация метода “А что, если бы?”. Но если в случае политологического трактата “Техника государственного переворота” этот метод придавал научному сочинению некоторую амбивалентную художественность, то в случае “Бала в Кремле” художественному тексту — кажущуюся достоверность: в любом случае читатель теряется в лабиринте, где не отличишь явь от видений.

Эпизод бала в английском посольстве в 1929 году, который дал заглавие роману, вполне достоверен постольку, поскольку в нем фигурируют реальные исторические деятели и сам автор кажется гарантом-очевидцем. Бал символически венчается (что напоминает мрачные новеллы Эдгара По) известием об аресте Л.Б. Каменева: “Медленно, словно повинувшись инстинкту, Луначарская, Бубнова, Буденная собрались вместе, постепенно к ним присоединились молодые офицеры и артисты. Зал опустел, оркестр продолжал негромко играть, в открытые окна залетал теплый ветер, пахнувший листьями и травой. Московская весна врывалась в зал с нежной силой, со сладким запахом беременной женщины. За деревьями парка, влажными и словно распухшими от неясных звуков и смутных ароматов, виднелись купола церквей, освещенные электрическими прожекторами башни Кремля, над Оружейной палатой развевались красные знамена. Небо было бездонным, розовым и зеленым, его наводнял напоминавший старинное серебро свет луны. Каменев — товарищ Ленина, триумвир, которого Ленин привел к власти вместе с Зиновьевым и Бухариным, арестован. Начиналась большая чистка. Террор начинался с миролюбивого Каменева с седой бородкой, близорукими глазами, скрытыми за блестящей ширмой очков. После Троцкого (отправленного в Алма-Ату, а потом



высланного из СССР. — М.О.) — Каменев. Оркестр нежно играл мелодию венского вальса. Драгоценности сияли на шеях и толстых пальцах советских *beauties*".

С романной точки зрения все безукоризненно: кремлевская знать 1929 года самозабвенно развлекается — в фаталистическом ожидании гибели, которая и постигнет ее через несколько лет в Большом терроре; с исторической точки зрения тоже все вроде бы сходится: оппозиционер Каменев неоднократно подвергался арестам и в 1936 году будет расстрелян. Но вот в 1929-м с Каменевым ничего подобного (насколько известно) не происходило. Это торжествует метод "А что, если бы?", позволяющий создать экстравагантный исторический роман новейшего времени.

В его методе для Малапарте нет ничего игрового. Метод используется совершенно серьезно: это — выражение позиции художника, который сопричастен всем общественным бедам, но сохраняет, должен сохранять свободу суждения и суда. Отсюда — постоянное внимание к художественной литературе.

## В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Малапарте зачарован людьми дела, но сам он — человек слова. И рассказ о социалистической Москве ведет с оглядкой на русскую литературу, материалом которой владеет на уровне профессионального слависта.

Начать с того, что автор "Бала в Кремле" — как и нынешние "продвинутые" туристы — с удовольствием привязывает русскую литературу к реальной топографии. Совершает своего рода прогулки с русскими писателями и их персонажами: "Порой ночами я присаживался у фонтана, расположенного в центре Собачьей площадки, перед домом № 12, где по возвращении из ссылки в Бессарабию долго жил Пушкин. Я глядел на закрытое окно его комнаты и видел, как бледный призрак поэта приподнимает занаве-

ску тонкой прозрачной рукой”; “И не оттого, что я поддался тоске, исходившей от громадных зданий Санкт-Петербурга, построенных во времена Гоголя, — громадных серых домов в районе Сенной площади, где проживал студент Раскольников, убийца из «Преступления и наказания», где и сегодня на мостовой в тусклом, призрачном, холодном ночном свете встретишь тощих, бледных молодых рабочих с горящими глазами, с лицами, истощенными пылом первой пятилетки; как не поддался я пыльной грусти рабочих районов Москвы, зеленому покою площади Свердлова или московских улиц, где селились богатые купцы и где за гардиной, кажется, и сегодня можно увидеть бледное и потное лицо Рогожина, услышать, как жужжит в мутном и жарком воздухе муха, вылетевшая из алькова, когда Рогожин показал князю Мышкину обнаженную ножку Настасьи Филипповны”; “Я часто бродил московскими улицами в поисках домов Андрея Болконского, Пьера Безухова или Марьи Дмитриевны (Марья Дмитриевна проживала на Старой Коношенной улице <...>) или отправлялся поздороваться с бледным призраком Скрябина в доме № 11 по Николо-Песковскому переулку, или беседовал с печальной тенью Гоголя в доме № 7 по Пречистенскому бульвару, который теперь называется Гоголевским <...> Порой я часами просиживал в седьмом зале Музея Толстого на Кропоткинской. Эта комната называлась «астаповской»: она точно воспроизводила комнатку на станции Астапово, в которой Толстой, когда он почувствовал приближение смерти и бежал из Ясной Поляны, провел долгие часы агонии <...>”.

Малапарте пользуется литературными ассоциациями, характеризую советских людей, с которыми встречается. В частности, разгадку таинственного Льва Карахана — того самого, который интересней Троцкого и других лидеров первого ряда — итальянский писатель ищет именно при помощи литературы: “Я смотрел на него, и мне чудилось, будто за спиной его — словно Карахан нарисован на хол-

сте — возникал пейзаж Новочеркасска, описанный Пушкиным в «Путешествии в Арзрум»... Я смотрел на Карахана и в эти мгновения ощущал себя молодым Пушкиным, в английской коляске с сиденьями из мягкой блестящей кожи, направлявшимся в Армению, в Арзрум... Я думал, что, возможно, его характер определяет типичный для славян нарциссизм, которым болен всякий персонаж русской литературы, особенно у Достоевского, всякий русский литературный герой — самый униженный, нищий, презренный, развращенный. Я, как и все, ощущал таинственную силу, исходящую от этого человека, которого считали крайне жестоким и о котором даже высшие советские сановники, даже его приятели говорили как о загадочном и таинственном существе. «Он — сам дьявол», — говорила, например, мадам Буденная, жена маршала: она употребляла это слово не в том смысле, в котором употребляет его Сологуб в «Мелком бесе» или Алеша в «Братьях Карамазовых», а в байроническом смысле, как Пушкин, или в простонародном понимании, как в «Петербургских повестях» Гоголя».

Если Карахан предстает советской реинкарнацией байронического героя, то понятно, почему Малапарте стремится уяснить причину, казалось бы, неожиданной любви пролетарской молодежи к Пушкину, «самому аристократичному русскому поэту». Его собеседник М.М. Литвинов цитирует «официальные объяснения» А.В. Луначарского, утверждавшего, что «успех Пушкина среди пролетариев объясняется невероятной чистотой и музыкальностью его стихов». Малапарте не удовлетворен формализмом Луначарского и предлагает свою концепцию: «Молодые поколения советских людей больше не удовлетворены тем, как официальная пропаганда представляет русскую аристократию, и желали бы узнать ее ближе. <...> Вне всякого сомнения, стихи Пушкина куда лучше марксистских трактатов раскрывают дух аристократического общества и режима, ведь Пушкин был его выдающимся, самым чистым, самым типичным пред-

ставителем. Что до Лермонтова, его успех подтверждает мое мнение”.

В современной перспективе интерпретация Малапарте видится избыточно социологической, но это следствие напряженных попыток поверять современную жизнь представлениями о духе и складе народа, почерпнутыми в русской литературе. Например, уличная зарисовка преобразается в доказательство правоты Толстого: “<...> совсем рядом со мной прошла пролетарская похоронная процессия. Те похороны еще проводились по православному обряду: гроб был открыт, в гробу лежал старик с длинной седой бородой. Глаза его были распахнуты, он смотрел в небо. <...> В нем, этом лице, был такой покой — ироничный, толстовский — какой я в тот год тщетно искал в Москве на лицах живых. Не то чтобы покой на лицах мертвых или живых говорил о справедливости, о свободе. Покой, умиротворение на лицах мертвых — крайнее проявление буржуазного лицемерия. Но у него это был ироничный покой, знак того, что он прожил жизнь, осознавая собственную ответственность. Такой покой сияет на лицах тех, кто жил *своей* жизнью. Кто грешил или был добродетелен по своей воле”.

Ехидный “толстовский” покойник — бородатый старик, напротив — новые безбородые советские люди, ведомые сталинским руководством в неизвестное будущее, совсем не похожи на персонажей классических сочинений. Чем — в отличие от Карахана и коммунистической знати — привлекательны для итальянца: “Тот, кто представляет себе русских такими, какими их рисует Толстой, или Достоевский, или Гоголь, — мужиками с благородными лицами, со светлыми, полными доброты, кротости, пронизательными глазами, с лицами, прикрытыми длинными коричневыми или рыжими бородами, увидев сегодня советских мужиков, был бы удивлен и разочарован. Теперь видно, что скрывалось под русскими бородами! Лицо с крупными челюстями, крепки-

ми костями, широкими скулами, грубое, вульгарное лицо, как у мясника. Бритая голова обнажает покрытый шишками, не круглый, а продолговатый череп, местами сглаженный, местами выступающий. Выражение этих лиц удивительно грубое и жестокое”.

Однако — опознавая в современности значимое присутствие классической традиции или ее столь же значимое отсутствие — Малапарте весь роман строит как реплику в диалоге с русской литературой. К примеру, словесный портрет Марики Ч., задающий тему ускользающей любви, мотивирует общее суждение об особенностях русского человека, которое, в свою очередь, мотивирует аллюзию на литературу, которая в итоге вводит экзистенциальную тему Христа и смерти: говоря, она, “казалось, думала о другом, наверняка думала о другом. Впрочем, когда разговариваешь с русскими, всегда создается подобное впечатление. Кажется, будто все думают о чем-то, не имеющем ни малейшего отношения к теме беседы. О чем-то древнем, далеком. Персонажи Достоевского, Толстого, Гоголя, Гончарова, Чехова говорят со страстью, и все равно чувствуется, что они думают о другом, всегда об одном и том же, все об одном и том же: о смерти, о самом верном способе стать Христом”.

## МАЯКОВСКИЙ И БУЛГАКОВ

При свойственном Малапарте литературоцентризме (и/или христоцентризме) закономерно, что его диалоги с современными писателями — может, интереснейшие для российского читателя эпизоды “Бала в Кремле” — сосредоточены не на вопросах литературы, а на вопросах вечных. Трудно угадать, знает ли Малапарте о том, что его спутница Марика Ч. — человек, равно близкий Булгакову и Маяковскому, или что Маяковский и Булгаков — литературные антагонисты. Для Малапарте они — истинные писатели, и беседа с ними должна, прорвавшись через актуальное, выйти к духовному.

Во время визита в Москву в 1929 году Малапарте мог встречаться с Маяковским, но вот никак не мог ни посетить его квартиру после самоубийства, случившегося 14 апреля 1930 года (и не стоит удивляться условному адресу — “Сухаревский переулок, где стоял дом Маяковского”), ни обсуждать это событие с Луначарским.

Так что оценить достоверность исторических фактов едва ли получится, но зато вполне правомерно истолковать диалог итальянского писателя с советским поэтом как очередную реализацию творческого метода “А что, если бы?” и как сцену оригинального исторического романа. В романе она непосредственно предшествует самоубийству Маяковского, что неизбежно придает дополнительный трагический смысл откровениям поэта: “Ты думаешь, я не устал страдать за других, за человечество? Думаешь, человечество что-нибудь выиграет, если я умру ради него? Думаешь, я хочу умереть ради человечества? А ты хочешь умереть ради других?”

“Страдать за других” — важнейшая формула, обозначающая фатализм, которым отмечено мироощущение марксистской знати: “Убежденность в том, что страдать за других нужно, — форма фатализма. Лишь тот, кто страдает за самого себя, принадлежит истории, участвует в ее движении, является субъектом истории, а не только ее объектом. Судьба любой революционной знати — встать к стенке”.

Малапарте спорит с Маяковским, утверждая, что хотя европейцы — христиане (подразумевается: должны следовать Христу и восхищаться страданием за других), но им тоже “надоело жить как стадо гнусных христиан. Надоело страдать за других, умирать за других, за человечество, за родину, за революцию, за пролетариат, за демократию, за свободу, страдать и умирать за благородное и святое дело”.

Ответ Маяковского замыкает диалог тем пониманием смерти (и, значит, жизни), которое остается современному

человеку, если отвергнуть христианство: “Отчего бы вам не попробовать умереть ни за что? Вам страшно умирать ни за что, вот в чем дело”.

Посещая Луначарского (у которого якобы получил пропуск в квартиру самоубийцы), итальянский писатель излагает советскому наркомку свою интерпретацию гибели поэта, построенную как вывод из недавнего диалога: “Маяковский верил в Бога <...> Он убил себя, потому что верил в Бога. Разумеется, это не веский повод, чтобы убить себя, но может ли верующий предоставить более убедительное доказательство веры в Бога, живя в Советской России, стране без Бога? <...> Все, что происходит в Советской России... дело рук Господа. <...> Вы должны признать, что Богу нет дела ни до капитализма, ни до коммунизма. Бог озабочен лишь тем, чтобы утвердить Свое присутствие в мире людей, среди людей, в их сердцах. Бог не чурается преступления, худшего из преступлений, если преступление необходимо, чтобы доказать людям Его присутствие. <...> Из всего, что служит Его целям, из самого жалкого человека, из самого обыкновенного события, из самого грубого предмета, даже из человека, засунувшего в рот дуло пистолета, даже из банки сардин Бог умеет извлечь Христа, орудие искупления, свидетельство Своего присутствия”.

Достойный собеседник, Луначарский ставит логичный диагноз: значит, Бог — убийца! Однако Малапарте отказывается признать рационализацию экзистенциальной мысли: “Не стоит так говорить. Бессмысленно говорить, что Бог — убийца, — сказал я тихо”. Формула эта настолько важна, что автор ведь даже планировал взять ее в заглавие, пока не остановился на финальном “Бал в Кремле”.

В ходе беседы с Луначарским итальянский писатель вспоминает о самоубийстве другого знаменитого поэта: “Трагическая кончина Маяковского слишком напоминала громкое самоубийство поэта Сергея Есенина, который после брака с Айседорой Дункан, «бегства» из Москвы и при-

чуд, коим он предавался... в Европе и Америке... — как... сказал Маяковский, — ...бросился вниз головой в пустоту, разбившись о московскую мостовую». С одной стороны, опять элементарная неточность (Есенин не “бросался вниз” и не “разбивался”, тем более — “о московскую мостовую”), с другой, коль скоро это “сказал Маяковский”, слова “в пустоту” (*nel vuoto*), пожалуй, правомерно прочесть как отнюдь не элементарную ссылку на мемориальное стихотворение Маяковского “Сергею Есенину” (1926):

Вы ушли,  
как говорится,  
в мир иной.  
Пустота...  
Летите,  
в звезды врезываясь.

Отношение Малапарте к Булгакову в романе (и в действительности?) теплый, а диалог изображен, так сказать, еще более “экзистенциальным”. Но предварительно стоит оговорить: хотя “Бал в Кремле” и “Мастер и Маргарита” (естественно, Малапарте его не называет, зная только “Дни Турбиных” и “Белую гвардию”) — два романа, действие которых одинаково пришлось на московскую Пасху 1929 года (кстати, в 1929-м Пасха праздновалась 5 мая, то есть реальный Малапарте ее не застал) и авторы которых как раз в этот момент равно заняты поисками Христа в Советской России, их детективное соотношение — настолько комплексная, специальная проблема<sup>16</sup>, что касаться ее здесь бегло и мимоходом неуместно.

А в тексте романа основную идею диалога теперь чеканит итальянец, практически предваряя ту формулу,

16 См.: Rogozovskaya T. После “Бала в Кремле” (Булгаков и Малапарте) // Работа и служба: Сборник памяти Рашита Янгирова / сост. Я. Левченко. СПб., 2011. С. 284–302.



которая прозвучит с Маяковским, но тогда — из уст Маяковского, а не Малапарте: “Люди становятся христианами, соглашаясь на бессмысленные страдания, — возражал я, — разве люди не захотели появления Христа, разве не они призвали его на землю? Тогда пусть страдают! Но страдают бессмысленно, раз хотят быть до конца христианами”.

Дальше беседа, казалось бы, затрагивает тему Христа в пьесе “Дни Турбиных”, но вместо аналитики и диалектического столкновения мнений (как с Маяковским) экспрессивно нагнетаются почти магические повторы:

— В котором из персонажей твоей пьесы спрятан Христос? — спрашивал я у Булгакова. — Кого из персонажей зовут Христом?

— В моей пьесе у Христа нет имени, — отвечал Булгаков дрожащим от страха голосом, — нынче в России Христос — никчемный персонаж. В России ни к чему быть христианами. Христос нам больше не нужен.

— Ты боишься назвать мне его имя, — говорил я, — ты боишься Христа.

— Да, я боюсь Христа, — тихо отвечал Булгаков, глядя на меня с испугом.

— Вы все боитесь Христа, — говорил я Булгакову, с силой сжимая ему запястье, — но отчего вы боитесь Христа?”

И чуть ниже: “Христос нас ненавидит, — негромко повторил Булгаков”.

После такого сеанса экзистенциальной магии продолжение разговора невозможно. Автор, оставив диалог, изображает прекрасную древнюю Москву, “однако колокола молчали”, народ Пасху не празднует, радио разносит весть, что Бога нет. “Ты зачем оборачиваешься? — спрашивал Булгаков. — Неужели надеешься увидеть, что сзади кто-то плачет?” И новый повтор, но теперь с объяснительной кошмарной зарисовкой: “Ты зачем оборачиваешься? — спрашивал Булгаков. Я то и дело оборачивался и вглядывался

в красные глаза толпы, в красные глаза на влажных и мягких лицах моллюсков”.

Завершить “булгаковский” сюжет соблазнительно макабрическим эпизодом, где Булгаков фигурирует в качестве проводника по московскому аду — Смоленскому рынку, на котором “бывшие” за бесценку распродают то, что у них осталось. Там стояла, “неподвижная и суровая”, “молодая, красивая женщина в выцветшей помятой форме Красного креста”, которую Малапарте уподобил святой Веронике, но если у христианской Вероники атрибут — плат со Спасом Нерукотворным, то советская предлагает “женские трусы из белого шелка с кружевной оборкой и пожелтевшими лентами”.

Там же Булгаков знакомит итальянца со стариком, пришедшим продавать старинное кресло: это князь Львов, “последний председатель Государственной думы в 1917 году”. Конечно же, исторически здесь нанизываются ошибки, непредставимые в случае Булгакова: князь Георгий Евгеньевич Львов (1861–1925) — не последний председатель Государственной думы (последним был Михаил Владимирович Родзянко: 1856–1924), а первый председатель Временного правительства; более того, Львов (как и Родзянко) удачно покинул Советскую Россию и умер в эмиграции. Зато с романной точки зрения все служит созданию задуманного шокирующего образа. (Трудно удержаться от рискованного предположения: уж если назван Булгаков, бытовая сцена может оказаться литературной аллюзией — на роман булгаковских приятелей И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев” (1928).)

## “ЛЕПЕСТКИ”

К сожалению, читатель романа “Бал в Кремле” должен смириться с тем, что роман не закончен. То есть не получится ни избавиться от очевидных неточностей, ни восстановить

авторскую композицию, разобравшись в правильной расстановке эпизодов. Некоторые фрагменты романа повторяются почти дословно в одной и той же или разных главах. Но вместе с тем поэтика романа такова, что читатель имеет возможность составить о нем адекватное представление и — насладиться.

Все эти особенности романа сконцентрированы в эпизоде совместной экскурсии Малапарте с Марикой Ч. на кладбище Новодевичьего монастыря. Здесь соединены любовная линия с размышлениями о сталинской России, тема христианства с темой смерти, русская культура с советским террором. Беседа ведется на том специфическом языке, который был изобретен для романа: оба произносят реплики то по-французски, то по-русски. Они навещают на кладбище могилы А.П. Чехова, А.Н. Скрябина, С.М. Соловьева, П.А. Кропоткина и вдруг наталкиваются на свежую могилу фон Мекка (*Von Meck*): “Я вспомнил эту фамилию, она попадалась в газетах. Так звали начальника советских железных дорог, расстрелянного два дня назад за саботаж. Фон Мекк был честным служащим российских железных дорог с доисторических, царских времен. Его расстреляли за то, что старые паровозы, железнодорожные машины, устаревшие и изношенные войной, больше не выдерживали... Как писали в газетах, паровозные котлы стали подозрительно часто взрываться. Фон Мекка расстреляли, чтобы дать советскому общественному мнению политическое объяснение технических причин плохой работы советских железных дорог. Это был невиновный, чистый человек, оказавшийся на путях советской революции и сметенный ею. Он не был ни в чем виноват, не нес личной ответственности за собственную смерть. Газеты сообщили, что в качестве исключения тело фон Мекка выдали родственникам для захоронения”.

Удивительно, но история — реальная. Николай Карлович фон Мекк (1863–1929) — российский предприни-

матель и меценат, из семьи строителей железных дорог, после революции сотрудничал с Наркоматом путей сообщения, неоднократно арестовывался по причине “подозрительного” происхождения, в 1928 году снова арестован во время борьбы с “вредителями”, 24 мая 1929-го в “Известиях” помещено сообщение о его расстреле. К слову, он — сын Надежды Филаретовны фон Мекк, корреспондентки и друга П.И. Чайковского, а успех совершенно не пролетарской музыки Чайковского у советской молодежи — интриговавшая Малапарте особенность современной культуры.

Марика Ч. и Малапарте спорят. Для Марики (персонажа романа) суть истории фон Мекка проста: “Всех их надо безжалостно давить, нельзя жалеть врагов революции”. Но для Малапарте это очередное откровение о смерти и христианстве: “Я начинал сердиться из-за бедного фон Мекка. Что за буржуазная претензия — считать себя невиновным, всегда невиновным. У Христа не было этих глупых буржуазных претензий. Христос не был буржуа. Он прекрасно знал, что невиновен. Он прекрасно знал, что заслуживает смерть, хотя паровозные котлы взрывались не по его вине. Разумеется, между Христом и фон Мекком огромная разница. Христос не был начальником железных дорог. Для него, Христа, это смягчающее обстоятельство. Но и будь он начальником железных дорог, он бы все равно умер на кресте, на Голгофе. Фон Мекка, даже будь он Христом, все равно расстреляли бы за саботаж. Я начинал сердиться на бедного фон Мекка, сердиться из-за того, что я смешивал Христа со всякими глупостями, с самыми обычными происшествиями, из-за того, что, с моей стороны, это тоже было буржуазной претензией. Невозможно так, вдруг избавиться от буржуазного воспитания, от традиций, от буржуазных предрассудков. Повсюду Христос, *toujours le Christ*, и христианство, и христианская мораль, и христианское чувство правосудия.

К черту все это! Нельзя обо всем судить, опираясь на христианскую мораль. Приходит время, когда нужна смелость избавиться от христианской морали. Больше всего я сердился на фон Мекка за то, что его смерть доказывала невиновность Христа. Это было доказательство существования Бога...”

Однако самое поразительное и даже символическое в эпизоде — лепестки цветов на могиле: “Букеты, лежавшие на холмике свежей земли, у серой каменной плиты, на которой были написаны лишь имя и дата, казались отдельными от всего, неподвижными и живыми посреди огромной пустыни, брошенными в глубочайшем одиночестве, превратившимися в натюрморт, в самостоятельный эпизод, в явление, не связанное с мировой историей, с историей живых людей. Некоторые лепестки опали, они лежали на свежем могильном холмике в пронзительном, печальном, отчаянном одиночестве, в абстрактном, первозданном одиночестве, бесконечно далекие от своих букетов, словно эпизоды, в свою очередь оторванные от других эпизодов, не связанные с мировой историей, с историей мертвых людей. Казалось, они сделаны из чего-то твердого и блестящего, словно брошенные на морской берег раковины: подобно раковинам они выражали брошенность и одиночество самой своей формой, своей вогнутостью, своим отдельным, вогнутым миром, оторванным от истории мира, природы, от жизни природы, и вместе с тем созданным, чтобы вместить в себя всю окружающую вселенную, скрыть ее в своей потаенной архитектуре”.

Лепестки, которые лежат вдалеке от букета, уподоблены “эпизодам, в свою очередь оторванным от других эпизодов, не связанным с мировой историей, с историей мертвых людей”: “оторванные от истории мира, природы, от жизни природы”, они существуют, “чтобы вместить в себя всю окружающую вселенную, скрыть ее в своей потаенной архитектуре”.

Кладбищенский натюрморт — своего рода ключ к роману. Еще в 1930-х экскурсия в монастырь была обработана Малапарте в отдельный рассказ “Красная женщина” (героиня конспиративно звалась не Марика, а Таня). Теперь та же экскурсия функционирует в качестве элемента романного целого, словно указывая способ чтения “Бала в Кремле”. Каждый эпизод, подобно лепестку, самодостаточен и одновременно вмещает вселенную.

НАТАЛЬЯ ГРОВА

## История Марики Ч.

Любовная линия главного героя и некоей Марики Ч. проходит через весь роман “Бал в Кремле”. Упоминание о Марике возникает буквально с первой страницы, и во второй половине романа главные эпизоды будут перемежаться со сценами их встреч, споров, свиданий и прогулок. Реальная Марика Чимишкиан и тот образ, который создает Малапарте, отличаются друг от друга, как и все персонажи романа от нарисованных им двойников.

Та девушка, о которой пишет Курцио Малапарте в 1929 году, проживала в доме писателя М.А. Булгакова и его жены Л.Е. Белозерской на Большой Пироговской улице, дом 36а, квартира 6. В мемуарах Любви Евгеньевны Белозерской описана, по всей видимости, одна из первых встреч Малапарте, Марики с семьей Булгаковых. “Погожий весенний день 1929 года. У нашего дома остановился большой открытый «Фиат»: это мосье Пиччин заехал за нами. Выходим — Мака, я и Марика. В машине знакомимся с молодым красавцем в соломенном канотье (самый красивый из всех

когда-либо виденных мной мужчин). Это итальянский журналист и публицист Курцио Малапарте (когда его спросили, почему он взял такой псевдоним, он ответил: «Потому что фамилия Бонапарте была уже занята»), человек неслыханно бурной биографии, сведения о которой можно почерпнуть во всех европейских справочниках, правда, с некоторыми расхождениями. В нашей печати тоже не раз упоминалась эта фамилия, вернее, псевдоним. Настоящее имя его и фамилия Курт Зуккерт. Зеленым юношей в Первую мировую войну пошел он добровольцем на французский фронт. Был отравлен газами, впервые примененными тогда немцами.

На его счету много острых выступлений в прессе: «Живая Европа», «Ум Ленина» (Более точный перевод — «Осмысление Ленина». — Ред.), «Волга начинается в Европе», «Капут» и много, много других произведений, на шумевших за границей и ни разу на русский язык не переводившихся<sup>1</sup>.

В брошюре Натальи Шапошниковой<sup>2</sup>, которая пересказывает рассказы уже пожилой Марики Артемьевны Чимишкиан, говорится, что тогда, в мае, вся компания вместе с Курцио Малапарте поехала в Архангельское под Москву и провела там почти целый день. Шапошникова настаивает, что Марика с Малапарте виделись всего два или три дня и больше никогда не встречались. Так ли это на самом деле, сказать сложно, потому что подобное знакомство и воспоминания о нем были слишком опасны даже в позднем СССР. Однако, судя по тому, что Малапарте хранил о красавице Марике столь долгую и пылкую память и даже спустя 27 лет отправился на место их свиданий, роман все-таки был и, скорее всего, продолжался некоторое время.

1 Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. М., 1990. С. 156.

2 Шапошникова Н.В. Михаил Булгаков, выдуманный Курцио Малапарте. М., 2018.



В 1956 году Малапарте, возвращаясь из Китая в Европу, специально заехал в Россию. Об этом он написал книгу “Я в России и Китае”, где были и ностальгические страницы о его прежней московской спутнице. Он вспоминал о встречах с Марикой на Новодевичьем кладбище в 1929 году возле могилы Скрябина, о прогулках через Лужники на Воробьевы горы. “От трамвайной остановки к монастырю нужно было больше километра идти по грязной тропинке, поросшей кустами ежевики, за которыми виднелись зеленые пруды, — спустя целую жизнь писал Малапарте. — ...Милой Марике едва тогда было двадцать лет. ...Мы сели на скамейку около могилы композитора Скрябина или на шершавый могильный камень Дениса Давыдова... Бывало, долгими часами мы молча сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на весеннее небо над Воробьевыми горами по ту сторону реки, смотрели, как оно медленно меняло цвет... Не знаю, любила ли меня Марика. Иногда мне казалось, что она все-таки хоть немного в меня влюбилась, притом как я сам был в нее влюблен...”<sup>3</sup>

Кто же такая была Марика Чимишкян, и как она оказалась в доме Булгакова? В ее биографии очень много пробелов и умолчаний. Многие свидетельства ее жизнеописателей основаны на ее обрывочных воспоминаниях, которые записывали булгаковеды в середине 1980-х. Единственные документы, написанные ее собственной рукой, — поздний рассказ о знакомстве в Тифлисе с Булгаковым и Белозерской и автобиография, составленная в мае 1953 года. Попробуем же шаг за шагом из фрагментов составить портрет Марики Чимишкян (Чмшкян), полуармянки-полуфранцуженки из Тбилиси, которая сопровождала итальянского писателя в прогулках по Москве и стала главной героиней романа “Бал в Кремле”.

3 Цит. по: Шапошникова Н. Булгаков и пречистенцы // Архитектура и строительство. 1989. № 4. С. 34.

Итак, она родилась, как она сама пишет, “в гор. Тифлисе (теперь Тбилиси) в 1904 году 13 июня. Отец — по образованию юрист, работал при окружном суде в качестве присяжного поверенного. После 1917-го состоял членом коллегии защитников. Умер в 1927 году. Мать — домашняя хозяйка...”<sup>4</sup>. Почему-то Марика Артемьевна никогда не упоминала, что происходит из известной актерской семьи. Ее родной дед был знаменитый в Тбилиси Чмшкян Геворг Арутюнович — актер и режиссер (1837–1916), а бабушка — Чмшкян Сатеник Ованесовна (1849–1906), тоже известная в Грузии армянская актриса. Возможно, это и побудило юную Марику выбрать актерскую карьеру в кинематографе, но об этом позже. Это была линия отца, о котором мы узнаем из автобиографии, что он был юристом.

А вот происхождение матери было иным. Это становится понятным из письма, которое в 1926 году пишет Марика своему дядюшке и крестному Федору Густавовичу Беренштаму в Ленинград. Это был очень известный художник, архитектор, а до революции — директор библиотеки Императорской Академии художеств. Родился он в Тифлисе в семье потомственного почетного гражданина, пионера книготорговли на Кавказе Фридриха Августа (Густава Васильевича) Беренштама (1829–1884) и Каролины Анны (Каролины Ивановны) Беренштам, урожденной Монье. В 1881 году Ф.Г. Беренштам поступил на архитектурное отделение Императорской Академии художеств Петербурга. Обучаясь в Петербурге, Федор Густавович не забывал Кавказ. В тифлисских периодических изданиях (журналах “Гусли”, “Осколки”) печатались его рисунки, появлялись оригинально им оформленные коробки конфет и обложки книг. Изучал памятники старины (архитектура и миниатюры армянских рукописей). В 1918–1924 гг. он был хранителем дворцов-музеев в Петергофе. В те годы ему удалось спасти

4 РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 166.

и сохранить дворцы и павильоны; восстановить и пустить в ход фонтаны; зарегистрировать и описать редчайшие рукописи из собрания Марии Медичи. В 1924–1930 гг. работал в отделе искусств Государственной Публичной библиотеки.

В описании фонда Ф.Г. Беренштама в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина указывается, что Марика Чамишкиан — его племянница<sup>5</sup>. Отсюда следует, что бабушкой Марики, скорее всего, была мать Федора Густавовича — Каролина Монье. Но о своем родстве с Беренштамом сама Марика тоже нигде не пишет. Казалось бы, отчего? Дело в том, что хотя Федор Густавович и умер в 1937 году в своей постели, но упоминать о нем, видимо, все-таки было небезопасно. Старший сын и жена Ф.Г. Беренштама после революции эмигрировали в Париж; семья была разделена. Но до всех этих событий довольно далеко. И вот Марика пишет дядюшке в Ленинград.

22.7.1926 г.<sup>6</sup>

Милый дядя Федя!

Ты не сердись, что я тебе так долго не отвечала, но я не хотела отвечать, пока не выяснила одну вещь. А дело вот в чем: я играю одну из главных ролей у режиссера Перестиани в картине “Как снималась картина”. Роль очень эффектная и хорошая. Сегодня или завтра подпишу контракт и буду штатной артисткой Госкинопрома. Теперь ты понимаешь, зачем я тебе не писала. Ты спрашивал, в каких картинах можно меня увидеть, так вот, пожалуйста: “Азербайджан” и “Ханума”, остальные не считаю, т.к. меня почти не видно и вряд ли ты меня най-

5 ГПБ. Рукописный отдел. Фонд Беренштам Ф.Г. 1464. Ед. хр. 161. Беренштам Федор Густавович, Ермолинская <Чимишкиан> Марика, его племянница. Фотопортрет. Москва. На обороте атрибутивная надпись [Ф.Г. Беренштама].

6 К сожалению, письмо опубликовано на сайте без всяких ссылок: <https://www.armenia-online.ru/tribune/894.html?fromProfile=198519>.

дешь. Но обе эти картины еще не идут; их выпустят только осенью. Из коммерческих расчетов невыгодно выпускать картины летом. Я только на днях видела себя на экране. Директор Госкинпрома был настолько любезен, что специально для меня и для мамы прокрутил картину. Маме очень понравилось, а я нашла несколько недостатков, но, в общем, могу, не хвастаясь, сказать, что выхожу на экране очень хорошо. У здешних режиссеров я сейчас нарасхват. Приглашали меня в Армению, как премьершу, чуть ли не на шесть картин контракт, но я отказалась — все же предпочитаю пока оставаться здесь. Сулят мне большую будущность, но все-таки не очень-то верю, но, конечно, против ничего не имею. Дома все по-прежнему скверно (в отношении денег). Магазин уже 2 или 3 раза запечатывали из-за невзноса налогов. Боюсь, кабы в один прекрасный день не запечатали совсем. *Воппе татап* и мама очень нервничают; мама все бегает по разным учреждениям и совсем извелась с этой беготней. Папа, как всегда, благополучно восседает. Последнее время он вдруг почему-то воспылал необыкновенной нежностью ко мне; не знаю, чем это объяснить. Сережа и Мада сейчас в Цхиетах. Благодарю тебя за Федюшкино письмо, приятно, что хоть когда-то он мне писал. Пока поцелуй его крепко за меня и поблагодари за письмо. На днях тебе напишу поподробней о моей роли. Целую тебя крепко-крепко.

Марика.

Из этого письма следует несколько интересных фактов. Марика, которой к тому времени двадцать два года, уже много играет в кино, и ее охотно приглашают разные режиссеры. Однако нам удалось найти только фильм “Ханума” 1926 года. В 1927-м она снимется в фильме “Двуногие”, а в 1928-м — в фильме “Элисо” Н.М. Шенгелая с Кирой Андроникашвили в главной роли, будущей женой Бориса Пильняка, затем

в 1932 году — “Событие в городе Сен-Луи”, в 1933-м — “Дитя солнца”. Странно то, что Марика никогда не будет указывать фильмографию, а в автобиографии напишет: “В сентябре 1928 года переехала в Москву, где по 1932-й снималась в московских киностудиях по договорам”<sup>7</sup>. А несколько фильмов, снятых в Грузии, не будут упомянуты ни разу. Притом, что Марика явно была вполне успешной актрисой и до приезда в Москву, о чем говорится в письме. Тут возможны следующие предположения. Ее подруга Кира Андроникашвили (Пильняк) исчезнет вслед за мужем и проведет полтора десятка лет в лагере жен изменников Родины (АДЖИР), Сергей Третьяков, который писал сценарий известного фильма “Элисо”, будет расстрелян в 1937 году. Любое упоминание о прошлом было чрезвычайно опасным.

Но вернемся в 1926 год. “Магазин уже 2 или 3 раза запечатывали из-за невзноса налогов. <...> Мама все бежит по разным учреждениям и совсем извелась с этой беготней”.

Здесь мы видим явные приметы окончания НЭПа; удешевление частных лавочек, которые в 1920-е кормили семьи. В 1927-м умер ее отец. В том же году она встретила Булгакова и его жену. Вот как она об этом вспоминает: “В 1927 году, когда я жила в Тбилиси, меня познакомили с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Булгаковыми. Познакомила нас Ольга Казимировна Туркул, с которой Булгаков был знаком еще по Владикавказу (ныне город Ordzhonikidze). В течение приблизительно 10 дней мы встречались почти ежедневно. Я водила их по городу, показывала Тбилиси. Затем Булгаковы уехали, взяв с меня слово, что я буду писать, но переписка не налаживалась. Тогда Любовь Евгеньевна дала мне небольшое письменное поручение, которое я волей-неволей должна была выполнить — так завязалась переписка. В конце 1927 года я сообщила, что еду в Ленинград и на возвратном пути буду в Москве”.

7 РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 166.

Мы не знаем точно, покинула она Грузию до или после смерти отца, но полагаем, что уже после.

В Ленинград Марика поехала к известному нам уже дядюшке Беренштаму, который проживал в просторной квартире на Мойке. Там же Марика вновь встретится с Булгаковым. «Пока я была в Ленинграде, туда приехал Михаил Афанасьевич и познакомил меня с супружеской четой Замятиных, с которыми мы бродили по неповторимо прекрасному городу. На обратном пути я гостила у Булгаковых, а в 1928 году окончательно переехала в Москву»<sup>8</sup>.

Марика, видимо, сознательно покинула Тбилиси. Семья была разорена, отец умер, она искала средства к существованию. А Михаил Афанасьевич, который в 1927 году арендовал квартиру на Большой Пироговской улице, подписав договор с застройщиком Адольфом Францевичем Стуем, смог предложить ей свой дом<sup>9</sup>. В результате она нашла — пусть временно — крышу над головой и могла не думать о куске хлеба. Как мы понимаем, она бралась за любую работу. И, конечно же, можно предположить, что она могла вполне переводить для Курцио Малапарте русские документы для его работы о Ленине. Почему же нет? Она прекрасно знала французский и русский язык и была в этой роли для него незаменимой.

«В основном я проводил дни в Институте Ленина, — писал итальянский журналист, — который тогда еще не был открыт для посетителей: этой возможностью я был обязан Луначарскому, наркому просвещения и искусства. Моя

8 Ермалинская М. «Дружба, проверенная временем». Воспоминания о М.А. Булгакове. Рукопись. <1960?> // РГАЛИ. Ф. 3104. Оп. 1. Ед. хр. 166.

9 Рассказ Н. Шапошниковой о том, что Марика начиная с Ленинграда имела продолжительный роман с Булгаковым, кажется нам по меньшей мере странным. Принять приглашение Белозерской, находясь с Булгаковым в близких отношениях, потом выйти замуж за Ермолинского, а потом продолжать отношения на фоне его трудной истории соединения с Е.С. Шиловской — все это представляется даже не превеличением, а сочинением.

юная секретарша Марика Ч. — грузинка из Тифлиса, которую порекомендовала мне мадам Каменева, сестра Троцкого и директор «Интуриста» — облегчала и ускоряла мою работу, переводя неопубликованные работы и письма Ленина, изучая официальные документы об Октябрьской революции, о роли Ленина и Троцкого в этих памятных событиях, помогая мне собрать драгоценный материал...

Конечно, Марика не была грузинкой, но для Малапарте это было неважно, да и непонятно: она же приехала из Тбилиси. Рекомендация, будто бы исходящая от мадам Каменевой, которую он называет директором «Интуриста», — это обычная фантазия из тех, которыми наполнен роман «Бал в Кремле». Писатель создает микс из сочиненных им биографических сведений о советских знаменитостях, действующих в романе по его желанию.

Глава, где они гуляют с Марикой по Новодевичьему кладбищу, где автор почему-то делает Марику шестнадцатилетней девушкой, истово разделяющей идеи нового строя, — видимо, пародия Малапарте на привычный для литературы и кинематографа образ новой советской девушки, которая говорит штампами новой эпохи. Но ему необходимо показать, что за этой маской прячется милая и неуверенная девушка, которая, как все девушки на свете, хочет настоящей любви. «Жаль, что ты не можешь любить меня так, как хотелось бы мне и как хотелось бы тебе самой, Марика, — сказал я. — Жаль, что между нами столько всего живого и мертвого и что у тебя не получается разобрать, что живое, а что мертвое. Отчего ты не уедешь со мной в Италию, Марика? Тебе хочется уехать со мной в Италию?»

Однако Новодевичье кладбище, Воробьевы горы будут описаны у Малапарте и двадцать семь лет спустя, когда он говорит уже о двадцатилетней Марике: эти московские достопримечательности остаются для писателя приметам, связанными с самыми сокровенными для него воспомина-

ниями. Несмотря на некую фантазмагоричность главы, где Малапарте едет с Марикой в комнату в Сухаревском переулке, в которой будто бы застрелился Маяковский, их совместный визит туда неслучаен. Достоверно известно со слов самой Марики Чимишкиан, что как раз накануне встреч с Малапарте у нее были не очень продолжительные, но вполне себе романтические отношения с Маяковским. Она встречалась с ним в Тбилиси, он общался с ней, с Кирой Андроникашвили и ее сестрой Нато Вачнадзе, потом не раз провожал ее до квартиры Булгакова на Большой Пироговской улице. Возможно, Малапарте что-то знал об этом мимолетном романе Марики, именно поэтому они вместе в романе “Бал в Кремле” едут смотреть место самоубийства поэта.

Так проходили весна и лето 1929 года. Но Булгаков и Белозерская не могли не чувствовать беспокойства и некоторого напряжения; Марика была притягательна для многих, но с какого-то времени в их дом зачастили иностранцы, что было несомненно опасно. Ведь неслучайно в романе, который пишет в это время писатель (будущий “Мастер и Маргарита”), звучит тема подозрительного опасного иностранца. В одной из редакций романа были слова, явно отсылающие к недавним разговорам с итальянцем. “Все, что нашептал Иванушка, по сути, было глупо. Никаким ГПУ здесь не пахло, и почему, спрашивается, поболтав со своим случайным (собеседником) на Патриарших по поводу Христа, так уж непременно надо требовать у него документы”.

Но и помимо истории с иностранцами для Булгакова это очень сложное время. В январе была запрещена пьеса “Бег”, продолжались нападки рапповцев. Булгаков познакомился на Масленицу с Еленой Сергеевной Шиловской, и между ними уже проскочила искра.

И вот в конце лета 1929-го на пороге дома Булгакова на Поварской появился Сергей Александрович Ермолинский. Л.Е. Белозерская пишет, что встретилась с двумя сценари-



стами во время поездки на пароходе в Астрахань. Но может быть, он и сам познакомился с Марикой в Госкино, где она работала, а он часто туда наведывался, будучи сценаристом. К этому времени он был уже вполне успешен. И хотя закончил отделение востоковедения в Московском университете, страстно увлекался литературой и мечтал писать о Грибоедове; кинематограф, который был тогда на пике своей популярности, увлек его. Он работал с молодым Юлием Райзманом уже на нескольких картинах, они много путешествовали. В Москве он сначала жил на Остоженке у своего дядюшки Вениамина Ульянинского (старого политкаторжанина). Его родной брат, известный библиограф и коллекционер Николай Ульянинский, всегда говорил: "А вот революцию — это наш Веня устроил!" Сергей Александрович на основании воспоминаний дядюшки написал сценарий фильма "Каторга", который успешно был снят Райзманом.

По всей видимости, и Любовь Евгеньевна, и Булгаков всячески пытались сосватать молодых людей. "Он хороший парень, — вспоминала Марика о том, как убеждал ее Булгаков, — выходи за него". Но, скорее всего, решение далось девушке с трудом.

"Летом 1929 года он познакомился с нашей Марикой и влюбился в нее, — писала Белозерская. — Как-то вечером он приехал за ней. Она собрала свой незамысловатый багаж. Мне было грустно..."

В октябре 1929-го Марика ушла из дома Булгакова, сопровождаемая слезами хозяйки дома, домработницы Маруси и своими собственными. Все было решено очень скоро. Но в этих скудных воспоминаниях все равно приоткрывается подоплека той невеселой женитьбы.

"Открыв чемодан, — вспоминала Марика, — я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. М.А. таинственно сказал: «Это если Ермолинский спросит, где

твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова», поднялся смех и прекратились слезы...”

История совместной жизни Марики и Ермолинского мало известна, но ответ ее встреч с итальянскими спутниками ляжет и на его судьбу. В ноябре 1940 года, когда он будет арестован, то одной из тем допросов станут друзья Марики и Белозерской — супруги Пиччин. О Малапарте следователи спрашивать не будут, а о Пиччин Ермолинский вообще мало что знал<sup>10</sup>.

После изнурительных допросов Ермолинский будет освобожден из Саратовской тюрьмы, куда его перевезли во время войны, и отправлен в ссылку под Алма-Ату на станцию Чиили. С Марикой в ссылке они будут встречаться редко. А когда Ермолинский вернется в Москву после смерти Сталина уже на законных основаниях, они расстанутся навсегда. И случится это именно в 1956 году, когда Малапарте, проезжая Москву, заедет на Новодевичье кладбище, в надежде (а вдруг!) встретить там Марику Чимишкиан, юную красавицу из 1929 года.

10 Подробнее эта история рассказана в документальной повести Натальи Громовой “Сергей Ермолинский между Курцио Малапарте и Михаилом Булгаковым” (Знамя. 2018. № 5).

КУРЦИО МАЛАПАРТЕ

# БАЛ В КРЕМЛЕ

*От издательства:*

Курцио Малапарте не успел закончить роман "Бал в Кремле".

В связи с этим в авторском тексте остались повторы  
близких по смыслу фрагментов, в том числе и дословные.

В настоящем переводе подобные особенности оригинала сохранены.

## МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО — КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ОДНАКО В МОСКВЕ ВСЕ ОХВАЧЕНЫ СТРАХОМ

В этом романе, представляющем собой верный портрет марксистской знати в СССР, коммунистического *haute société*<sup>1</sup> в Москве, всё правда: люди, события, предметы, места. Герои рождены не фантазией автора, а написаны с натуры, у каждого — подлинное имя, подлинное лицо, подлинная речь, подлинны манеры. Сталин, каждый вечер любующийся из ложи Большого<sup>2</sup> пируэтками знаменитой балерины Семеновой\* и, судя по всему, соревнующийся за ее благосклонность с Караханом\* (тем самым Караханом, которого Сталин приказывает уничтожить), знаменитые *beauties*<sup>3</sup> из марксистской знати — В., Г. и Л. со своими любовными историями, интригами, скандалами, с хищными и встревоженными лицами, тянущимися к эфемерным розам славы, богатства и власти; невероятный Флоринский\*, глава

1 Высшее общество (фр.). (Здесь и далее, кроме отдельно отмеченных случаев, все примечания — переводчика.)

2 Здесь и далее фрагменты, которые комментируются в затекстовых комментариях "Москва Малапарте — 1929", отмечены одной звездочкой.

3 Красавицы (англ.).

Протокольного отдела Народного комиссариата иностранных дел, разъезжающий по Москве в карете; мадам Каменева\* — сестра Троцкого, ее страх и смирение; все эти *merveilleuses, lions* и *parvenus*<sup>1</sup>, эфебы — живые люди, подлинные, а не выдуманные человеческие существа. Впрочем, этот роман оказался не “придворной хроникой” наподобие тех, что писали в XVIII веке во Франции, не “Записками” в стиле Сен-Симона<sup>2</sup> и не нравоучительным сочинением в духе Монтеня<sup>3</sup>, а романом как понимал его Пруст<sup>4</sup> (не по стилю, а из-за подчеркнутой *désintéressement*<sup>5</sup>, отличающей романы и персонажей Марселя Пруста), поскольку описанные факты и персонажи, эпизоды этой “придворной хроники” объединяет ощущение фатальной неизбежности, которая подталкивает всех к общему концу, к романной развязке. Центральный персонаж, главный герой этого романа — не отдельный человек, не мужчина или женщина, а социальная группа: коммунистическая аристократия, занявшая место существовавшей при старом режиме русской аристократии и во многом похожая на революционную знать, которая появилась в годы Французской революции и которая во времена Директории толпилась у кресла Барраса<sup>6</sup>. Как не отдельный человек, не мужчина или женщина, не барон де Шарлюс, не Сван и не мадам де Германт, не Одетта и не Ланже-

1 Прелестницы, львы, парвеню (фр.).

2 Герцог Сен-Симон (1675–1755) — автор знаменитых мемуаров о времени Людовика XIV. (Примеч. ред.)

3 Мишель Монтень (1533–1592) — французский философ эпохи Возрождения, автор книги “Опыты”. (Примеч. ред.)

4 Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст (1871–1922) — французский писатель, новеллист и критик. Автор эпопеи “В поисках утраченного времени”. (Примеч. ред.)

5 Беспристрастность, отстраненность, незаинтересованность (фр.).

6 Поль Баррас (1755–1829) — деятель Великой французской революции, многолетний руководитель Директории. (Примеч. ред.)

рон<sup>7</sup> — подлинные герои Пруста, а парижское, светское общество, *monde* — французская знать. Тем не менее автор этого романа отнюдь не собирался становиться моралистом. “*Plan de désintéressement*”<sup>8</sup>, который подчеркивал у Пруста Альбер Тибодэ<sup>9</sup> и который Пруст переносит на психологический анализ, охватывает и мораль. Автор считает своим долгом подчеркнуть, что он совершенно беспристрастно относится к судьбе своих героев. Даже их мораль, то, на чьей они стороне — правых или неправых, интересует его лишь до некоторой степени. Вернее, автор далек от психологического анализа, он описывает политику, бурление, социальную драму, герои которой — персонажи книги, от Сталина до юной Марики\*. Больше всего в марксистском обществе — не только в обществе с марксистской организацией, как гитлеровская Германия, которую автор назвал когда-то “феодальным коммунизмом”, а в обществе с марксистской моралью — поражает фатализм. Исторический материализм привел к фатализму — вот что действительно странно. На самом деле марксизм приводит человека не к коллективному чувству, а к абсолютному фатализму, к полному подчинению року. Что, заметьте, — признак общества, переживающего упадок. Если в романе и есть мораль, то мораль такова: марксистское общество в СССР уже находится в упадке. И не только троцкистская знать 1929 года, а вся марксистская знать, все марксистское общество в упадке. Ясный и страшный знак этого упадка — фатализм, таящийся в глубине души каждого русского чело-

7. Персонажи цикла романов Марселя Пруста “В поисках утраченного времени”. С именем Ланжерон автор ошибся, имеется в виду Легранден. (Примеч. науч. ред.)

8. Уровень беспристрастности (фр.).

9. Альбер Тибодэ (1874–1937) — французский литературный критик и эссеист.

века, скрытый под маской деятельности, фанатичной веры и проч., которые на самом деле говорят о равнодушии марксистского общества к своей судьбе. Важно еще одно: русские страдают за *других*. Убежденность в том, что страдать за других нужно, — форма фатализма. Лишь тот, кто страдает за *самого себя*, принадлежит истории, участвует в ее движении, является субъектом истории, а не только ее объектом. Судьба любой революционной знати — встать к стенке. В марксистском обществе, где человек и человеческая жизнь не имеют никакой ценности, это носит неотвратимый характер. Новая знать, занявшая место уничтоженной в 1936 году троцкистской знати, сформировалась в последние годы вокруг Сталина. Она тоже встанет к стенке, если не сумеет навязать собственную мораль, собственные амбиции всему русскому народу, если не сумеет разложить весь русский народ. Известия из СССР не всегда достоверны. Зато достоверно известно, что в оккупированных Россией европейских странах — Польше, Венгрии, Румынии, Германии, Австрии, среди всех союзников — самые разложившиеся, самые падкие на *pots de vin*<sup>1</sup>, компромиссы, подкуп, деньги — советские люди. Этим все сказано, если вспомнить, насколько разложились англичане или американцы в Европе! Нельзя сказать, что советское разложение объясняется некоммунистической средой, буржуазной средой, в которую неожиданно попали советские люди. Видно, красные совсем слабаки, раз они так легко поддаются разложению! Значит, коммунистическая мораль совсем слаба! Правда состоит в том, что на примере красных можно оценить, можно пощупать рукой невероятный упадок всего марксистского общества — его вождей, бюрократии, пролетариата.



Роман показывает, с чего начался этот упадок, рисует реалистичную картину, портрет коммунистической знати. Причины упадка Европы кроются в упадке марксистского общества в Европе, а не только в упадке буржуазии, который остался в прошлом. В Европе распространилась марксистская мораль, одним из самых страшных проявлений которой стал гитлеризм. Упадок Европы и состоит в упадке марксистской морали. Охватил упадок и СССР. Историю упадка буржуазии в Европе написал Марсель Пруст. Автор романа стремится быть близким Прусту не в литературном плане, а своей беспристрастностью в проведении анализа и его художественном воплощении. Оставаясь беспристрастным, он пишет историю марксистского общества и рисует его упадок. Стоит сказать, что до сих пор живописать марксистскую знать не пытались ни советские, ни европейские или американские писатели. Советские писатели выбрали себе единственного героя — пролетариат. Им словно неведомо о существовании марксистской знати, коммунистического *haute société*. Говоря о коммунистической аристократии в СССР, они имеют в виду рабочую элиту, состоящую из ударников, стахановцев (квалифицированных рабочих из ударных бригад), героев революции и войны. Европейские и американские писатели, даже те, кто бывал в СССР и непосредственно знаком с русским коммунизмом, весьма старательно — возможно, от избытка щепетильности или смутной осторожности, — избегают говорить о марксистской аристократии. Их это словно не интересует. Конечно, в сравнении с высшим обществом Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Берлина, Рима, Вены, Мадрида советское высшее общество проигрывает: это *une noblesse de la roture*<sup>2</sup>. В крайнем случае иностранные писа-

2 Выходцы из разночинцев, ставшие знатными людьми (фр.).

тели говорят о Сталине — с неизменным глубоким уважением, что вовсе не удивительно. Кажется, будто их интересуют только результаты промышленного и сельскохозяйственного производства, образование и т.д. Почитав советских и иностранных писателей, можно решить, что СССР — огромное, демократическое, основанное на равенстве общество трудящихся.

Советские писатели заслуживают оправдания. В России не может быть Пруста (как и Монтеня или Сен-Симона), такое невозможно представить. Марксистская знать не выносит, когда рассказывают о ней, о ее делах, о судьбах людей из этого круга. Знать требует хранить о себе молчание. Она навязывает советским писателям определенные темы, темы эти — жизнь пролетарских масс, борьба за строительство социализма, превозношение государства, самый примитивный, полный и слепой конформизм. Однажды, беседуя с Луначарским\*, автор спросил его, есть ли в России Марсель Пруст. “Да, — ответил Луначарский, — каждый советский писатель — пролетарский Пруст”. Услышав подобный ответ, автор вежливо улыбнулся и не стал говорить, что пролетарский Пруст — это нонсенс, что Пруст — продукт определенной европейской, западной, французской традиции, идущей от Монтеня к Сен-Симону, Валери и Бергсону; что Пруст, как говорил Тибоде, — “Данжо, превратившийся в Сен-Симона”<sup>1</sup>, что в русской литературе не было того, из чего мог вырасти Пруст, не было “Артамена, или Великого Кира”, не было “Клелии”<sup>2</sup>, не было романов XVII века из светской жизни. Автор говорит об этом, чтобы защититься от обвинений, которые

1 Филипп де Курсийон де Данжо (1638–1720) — военный, автор знаменитых мемуаров, в которых описан версальский двор в эпоху Людовика XIV.

2 Романы французской писательницы Мадлен де Скюдери (1607–1701).

ему непременно предъявят, — обвинений в том, что он пишет не о пролетариате, а о советском высшем обществе, о *gens du monde*<sup>3</sup> Москвы, о московском марксистском дворе, о его скандалах, придворных, фаворитках, ловких пройдохах, галантных праздниках, балах, *lettres de cachet*<sup>4</sup>, дворцовых заговорах.

Что за великолепная тема — живописать марксистскую знать, коммунистическую аристократию СССР! Сколько уроков, нравственных, психологических и общественных выводов можно сделать из подобной картины! Если завтрашняя Европа — это завтрашняя Россия, правда и то, что сегодняшняя Европа — это сегодняшняя Россия, упадок Европы — следствие упадка коммунистической России, прежде всего разложения марксистской знати в СССР. Но тема эта опасная. Автор глубоко убежден, что, если нынешняя марксистская знать завоюет Европу, он сам и все его читатели встанут к стенке. Не потому, что они преступники или враги народа и свободы (автор не забыл, что при тирании Муссолини и Гитлера он долго томился в фашистских тюрьмах, но он не стал превращать страдания за свободу в профессию, хотя сегодня эта профессия востребована и приносит неплохой доход), а потому, что автор романа и его читатели — свободные люди. Если марксистская знать завоюет Европу, она уничтожит не только противников коммунизма, врагов пролетариата, но и всех свободных людей. Мысль о том, что все свободные люди в Европе и в целом мире будут уничтожены жестокой, алчной и аморальной марксистской знатью, заслуживает серьезного обдумывания. Свободным людям осталось смеяться недолго.

3 Светские персонажи (фр.).

4 Постановление об аресте (фр.).

## ЧЕРНЫЙ КНЯЗЬ

Когда оркестр отыграл *"Ich küsse ihre Hand, Madame"*<sup>\*</sup> (венские вальсы непременно исполнялись на балах в английском посольстве<sup>\*</sup>, как на балах в посольстве Германии обязательно звучали песни Коула Портера и Нозла Кауарда<sup>1</sup>), мадам Луначарская, супруга народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского<sup>\*</sup>, замерла посреди зала.

— Где же Алексис Карахан? — спросила она, оглядываясь. Держа левую руку у меня на плече, а правой поправляя на висках черные, слегка вьющиеся волосы, она быстро прибавила: — Вы не находите, что Семенова строит из себя Кшесинскую?

Кшесинская была последней великой балериной царской эпохи и, как говорили, любовницей Николая II.

— Почему?

— Она и сегодня опаздывает. Считает, что заставлять себя ждать — особый шик.

1 Коул Портер (1891–1964) — американский композитор, автор музыки и текстов для бродвейских шоу и голливудских фильмов; Нозл Кауард (1899–1973) — английский драматург, актер, композитор и режиссер. (Примеч. науч. ред.)

— А я и не заметил, что она опаздывает.

— Вы больше в нее не влюблены? — поинтересовалась мадам Луначарская, насмешливо глядя на меня.

— Вам прекрасно известно, — ответил я, — что я влюблен в вас.

— По Москве ходят и такие слухи, — сказала мадам Луначарская, — впрочем, Москва — город сплетников.

Оркестр заиграл *“Wiener Blut”*<sup>2</sup>, и мадам Луначарская томно оперлась на мою руку.

— Когда вы возвращаетесь в Париж? — спросила она, поворачиваясь к дверям и позволяя мне ее вести.

— Наверное, я задержусь в Москве еще несколько недель, — ответил я, — хочется увидеть русскую весну во всей красе.

— Русская весна не стоит парижской весны, — сказала мадам Луначарская. — В октябре я была в Париже: выбирала костюмы для комедии, которую играю всю зиму. Это платье — от Скьяпарелли<sup>3</sup>, — прибавила она, — надеюсь, что уж вы-то не станете меня бранить.

По правилам советских театров актрисам запрещено выходить в свет в нарядах из театрального гардероба. Однако Семеновой, Луначарской, \*\*\*, самым знаменитым актрисам советского театра и кино было наплевать на правила, они выходили в свет в костюмах из театральных гардеробов, даже не догадываясь, что бросают вызов не столько официальным правилам, сколько нищете, в которой жил весь народ.

Платье было чуть тяжеловатое, чуть барочное, — известно, что мадам Скьяпарелли подражала складкам тканей на рисунках Микеланджело, драпировкам ста-

2 “Венская кровь” (нем.) — вальс Иоганна Штрауса. (Примеч. ред.)

3 Эльза Скьяпарелли (1890–1973) — легендарный модельер, основала в Париже собственный модный дом.

туй Кановы, римскому барокко в манере Доменикино, в котором цвета напоминают тени деревьев у Пуссена и лазуревые тени Коро. Мадам Луначарская была брюнеткой с бледной кожей, с чуть грубоватыми чертами лица, словно увиденными через лупу. Черные глаза были выпуклыми, как будто их распирали чувственность и злость, они совсем не походили на светлые стеклянные глаза русских женщин из народа. Глаза из плоти, в которых все казалось не отраженным, а словно бы вытатуированным. Черные брови — не выщипанные и не тонкие, а будто нарочно подчеркнутые карандашом — отбрасывали смутную тень на эти глаза из плоти, на ночные глаза, в которых ленивая и сладостная чувственность светилась, словно ночник в спальне. Рот у нее был крупный, мясистый, с пухлыми губами, по которым блуждала ироничная и порой презрительная улыбка, словно луч солнца, пробивающийся из-под закрытой двери. В ней и правда ощущалась какая-то закрытость — в манерах, жестах, взглядах, словах. То, что подлинным аристократам дается традицией, воспитанием, благородным стилем, — сдержанность, простота, природное достоинство, некая снисходительность в поведении, словах и даже улыбке, холодность, представляющая собой не что иное, как смягченную хорошими манерами горделивость, самоуважение, отражающееся в уважении к другим, — одним словом, все, что у настоящей знати является врожденным, у класса, который недавно получил доступ к власти, почестям, привилегиям, является наигранным. Среди коммунистической знати, у которой стиль не врожденный, а наигранный, как среди парвеню в буржуазном обществе, сдержанность и простота манер подменяются подозрительностью. Главное отличие коммунисти-

ческой знати — не дурной вкус, не грубость, не *bad manners*<sup>1</sup>, не любование богатством, шиком, властью, а подозрительность и даже, я бы сказал, идеологическая нетерпимость. В Москве мы все в один голос хвалили образ жизни Сталина: его строгий стиль, рабочую, благородную простоту манер. Впрочем, Сталин не относится к коммунистической знати. Сталин был Бонапартом после восемнадцатого брюмера<sup>2</sup>, хозяином, диктатором; коммунистическая знать была против него, как парвеню Директории против Бонапарта. У всех русских аристократов, у всей коммунистической знати чувствовалось презрение — не общественное, а идеологическое. Снобизм был тайной пружиной всех светских событий этого наимогущественнейшего и уже разложившегося общества. Вчера еще они жили в нищете, под подозрением, в шатком положении подпольщиков и эмигрантов, а потом вдруг стали спать в царских постелях, восседать в золоченых креслах высших чиновников царской России, играть ту же роль, которую еще вчера играла имперская знать. Каждый из представителей новой знати старался подражать западным манерам: дамы — парижским, господа — лондонским, меньшинство — берлинским или нью-йоркским.

Самыми элегантными среди дам были актрисы, среди господ элегантнее всех были офицеры, особенно кавалеристы Пролетарской дивизии\*, которая размещалась в Москве, и некоторые дипломаты Наркомата иностранных дел. Тем вечером в просторном бальном зале английского посольства было необычно много русских

1 Дурные манеры (англ.).

2 18 брюмера (9 ноября 1799 года) во Франции совершился государственный переворот, в результате которого была разогнана Директория и к власти пришло правительство во главе с Наполеоном Бонапартом.

гостей. Все примчались на бал, который сэр Оуэн Стенли\* давал для московского золотого общества — иностранцев и русских, поскольку пролетел слух, будто первая танцовщица Большого театра Семенова отвергла Карахана и тот попытался покончить с собой. Все смотрели на дверь, ожидая, что произойдет нечто невероятное: Семенова обещала явиться на бал, но опаздывала, гости и хозяин дома Стенли Оуэн были охвачены тревожным ожиданием.

Все уже привыкли к опозданиям Семеновой, которую соперницы упрекали за то, что она строит из себя старорежимную даму или, как говорила мадам Луначарская, принцессу крови. Однако тем вечером она опаздывала больше обычного, а отсутствие Карахана подтверждало слухи, которые днем облетели всю Москву.

— Вы — настоящая парижанка, — сказал я с улыбкой мадам Луначарской.

Она перевела на меня свои глаза из плоти и усмехнулась.

— Подумайте только, и меня упрекают в контрреволюционности манер! Из-за того, что я прилично одеваюсь. Расскажите мне о Париже! — попросила она, прикрывая глаза.

Я рассказал ей о Париже. О его серых и лазуревых красках, о розовых красках осени, о золоченой листве *marronniers*<sup>1</sup>, что растут вдоль Сены, о тумане, что вечерами встает над рекой, о шуршании листвы под ногами прохожих, о саде Тюильри.

— Расскажите о Вандомской площади!

И я рассказал ей о Вандомской площади, о ее тишине, гармонии, о ее сером камне — голубовато-сером, как камень во Флоренции, который называют “пьетра



серена”<sup>2</sup>. О Вандомской площади, где ничто не напоминает о природе, деревьях, траве, цветах, воде, где во всем ощущается присутствие человека, человеческого разума — как стих Расина, как мысль Декарта.

— Представьте себе, — говорил я, — что пьесу Расина ставят на Вандомской площади, представьте, как \*\*\* стоит, прислонившись к одной из колонн Вандомской площади, как Пирр пересекает площадь, громко повествуя о своей страсти, как в одном из углов, поникнув от горя, стоит Андромаха. Представьте себе, что тишину Вандомской площади наполняет стих Расина, словно ветер наполняет парус, представьте стих Расина, наполненный речным ветром, что летит, стелясь по земле, вдоль рю Кастильоне:

*S'enivrait en marchant du plaisir de la voir*<sup>3</sup>.

Представьте себе Вандомскую площадь лунной ночью, тишину, торжественное, математическое спокойствие, подобное тишине, что приходит на смену последней ноте симфонии Вивальди, Люлли, Рамо.

— Расскажите мне о Жироду! — попросила мадам Луначарская.

И я рассказал ей о Жане Жироду, о его мужественном и слегка усталом голосе, о неярком блеске его глаз, о его доброй улыбке, рассказал о его псе Паке, о *camaraderie*<sup>4</sup>, объединившем два их существа, которые были рождены, чтобы понимать друг друга, рассказал о том, как

2 Песчаник серого цвета.

3 “Он шел и пьянел от ее вида” (фр.). Жан Расин, “Андромаха”, акт 5, явление 2: “Он при своей невесте. / Собой безмерно горд, и счастлив, и влюблен, / Теперь он всем, чего он жаждал, наделен. / Ко храму вел сейчас с особым торжеством он / Ту, чей строптивый дух им наконец-то сло- ман; / В его глазах сверкал нетерпеливый пыл; / Привыкший побеждать, он снова победил, / Но, верно, жаждал желанного исхода. / Она ж, поту- пив взор, шла с ним среди народа, / Который чествовал ее, рукоплещая, / Шла безучастная, однако — не ропща”. (Перевод И. Шафаренко и В. Шора.)

4 Товарищество (фр.).

Жан Жироду прогуливался с непокрытой головой, без пальто, холодным зимним вечером, ясным и студеным, одним из зимних вечеров, в которые Париж становится стеклянным, его дома, памятники, статуи, колонны, деревья кажутся сделанными из фарфора с неброскими красками, как севрский фарфор, все становится хрупким, драгоценным, сверкающим. Жироду медленно брел по набережной Сены, от улицы Святых Отцов до Нового моста, и на ходу говорил о Париже, о запахе Парижа, о тишине Парижа, о тумане Парижа. Я рассказал ей о Жироду, с которым я расстался на Новом мосту и который медленно удалился, растаял в тумане, в тишине Парижа.

— Мне так хочется, — сказала мадам Луначарская, — сыграть в комедии Жироду здесь, в Москве. Но нельзя. Вы полагаете, что Жироду на самом деле контрреволюционный, буржуазный писатель?

Я негромко рассмеялся, мадам Луначарская поправила: “Барочный писатель?”

Тогда я рассказал ей о барочном Жироду, о Жироду, который был воспитан на творениях юного Бернини, о Франции, которая виделась ему драгоценной, хрупкой, необычной, о том, какими он воображал себе мужчин и женщин, о его любезности, однако мадам Луначарская положила мне руку на плечо:

— Здесь, в Москве, нравится только то, что нравится рабочим. Неужели вы правда думаете, что Жироду способен воспитывать рабочих?

— Разумеется, — ответил я и рассмеялся. — Разумеется, рабочие Парижа, рабочие “Рено”, механики, литейщики, токари, мотористы ходят смотреть Жироду, потому что понимают его лучше, чем высокомерные буржуазные дамы, одевающиеся у Пакен<sup>1</sup> и у Скьяпа-

релли; понять Жироду способны лишь некоторые французские интеллектуалы и еще рабочие, которые привыкли обращаться с моторами, собирать моторы, привыкли к точности электрических токарных станков, к точности соединения деталей — так же, как на страницах Декарта или Паскаля точно соединяются образы, мысли, логика и рождается французская красота — та особая красота, что свойственна только французам, красота точности, четкости, ясности, которую можно найти у Бодлера, Верлена, Валери, Равеля, Леже, Сегонзака, у художников, писателей, философов, у самых квалифицированных, точных рабочих, у ремесленников. Я уверен в таких писателях, как Жироду, в писателях, которые воспитывают рабочих лучше, чем революционные писатели, лучше какого-нибудь Ильи Эренбурга\*, — сказал я, — но, чтобы понять Жироду, нужно быть изысканным, умным и тонко чувствующим человеком, как французские рабочие. Русские рабочие...

— О, русские рабочие... — перебила меня мадам Луначарская, но осеклась и замолкла.

Оркестр заиграл “На прекрасном голубом Дунае”, и мадам Луначарская встала со словами: “Вернемся в зал!” Дойдя до дверей, она оглянулась и заметила: “Ее еще нет”. Я понял, что она имеет в виду Семенову, и, стоя на пороге, тихо спросил, верит ли она тому, о чем в последние часы судачат в Москве.

— Я была бы этому рада, — сказала мадам Луначарская. Повернувшись, она положила мне руку на плечо, и я закружил ее в вальсе. Но тут белокурый и румяный Флоринский, начальник Протокольного отдела Комиссариата иностранных дел, промчался через весь зал между танцующими парами, чтобы встретить Семенову, которая в это мгновение входила, одна. Мадам Семено-

ва замерла в дверях, ища глазами леди Оуэн. Флоринский подбежал и поцеловал ей руку, воскликнув: “О, дорогая, *ma chère, enfin!*”<sup>1</sup>

Услышав его, мадам Луначарская обернулась, увидела Семенову, оторвалась от меня, почти толкнув рукой в плечо, и, сказав “извините!”, отошла и приблизилась к Таирову\*, знаменитому руководителю Камерного театра, который что-то рассказывал, стоя у окна в окружении молодых актеров.

Оставшись стоять посреди зала, я оглянулся.

Мадам Егорова, жена маршала Егорова\*, сидевшая в кресле в глубине зала, громко разговаривала, смеясь, с молодыми офицерами Пролетарской дивизии, следя краем глаза за Семеновой, которая уже под руку с сэром Эсмондом Овеем, послом Его королевского величества, подходила к столу с угощениями. Семенова, прима-балерина московского Большого театра, была невысокого роста, с холодными светлыми глазами и блестящими белокурыми волосами, собранными в крепкий пучок. У нее были недлинные, тонкие, хрупкие кости, покрытые нежной белой плотью. Обнаженные полные плечи в белом свете люстр казались вылепленными из снега. На ней было платье с глубоким вырезом на спине, тесно обхватывавшее довольно полные бедра, по-моему, от Лелонга<sup>2</sup>, из белого атласа с лазурной каймой по краю, — оно походило на византийскую тогу. На шее у Семеновой было кольцо из розового жемчуга, в волосах — напоминающая кокошник диадема, придававшая ее полному, бледному лицу с большими светлыми, ледяными глазами выражение, которое иногда можно увидеть на

1 Дорогая, наконец-то! (фр.)

2 Люсьен Лелонг (1889–1958) — парижский кутюрье.

старинных иконах на старообрядческом Рогожском кладбище. Она шла, опираясь на руку сэра Эсмонда Овея. Левой рукой она придерживала подол платья, едва прикрывавшего знаменитые маленькие ножки, по которым сходила с ума вся Москва и которые сейчас были сжаты белыми атласными туфельками — достойным творением парижского мастера N, обувавшего Павлову. Все взоры были обращены на Семенову, я заметил, что она улыбается направо и налево, ни на кого, впрочем, не глядя, словно улыбается призракам. Невероятно изящная, но не как балерины Дега, она была наделена несколько двусмысленной грацией, как у арлекинов Маньяско<sup>3</sup> или Пикассо, как у Пьеро на полотнах кубистов, помнящих о пережитых унижениях и полных горделивой надежды. При этом ее движения были резкими, и, хотя на первый взгляд казались инстинктивными, приглядевшись повнимательнее, можно было заметить, что они не только продуманы, но и полны гордой ненависти. Временами проскальзывало на ее лице дерзкое и злое выражение, холодное и просчитанное высокомерие. Достаточно было понаблюдать, как она поворачивает маленькую, слегка приплюснутую на затылке голову (рывком, как ящерица), чтобы понять, насколько продуманы простейшие жесты, казавшиеся совершенно естественными, насколько просчитаны капризы, перепады настроения, вспышки гнева, приступы холодной ярости, принесшие ей славу взбалмошной и деспотичной артистки. Бывало, что из-за малейшего промедления дирижера, незначительного огреха партнера или еле слышной фальши скрипки, из-за скрипа кресла в глубине зала, из-за покашливания зрителя Семенова прерка-

3 Алессандро Маньяско (1667–1749) — итальянский художник “предромантического” барокко.

щала танец, останавливалась посреди пируэта и замирала — неподвижная, холодная, словно мраморная статуя, посреди сцены, перед онемевшей от страха толпой.

Бессчетные зрители-пролетарии, каждый вечер заполнявшие зал Большого театра, прощали ей все капризы, все дерзости, все проявления тирании: зрители теряли дар слова и замирали, не дыша, чтобы не действовать на нервы своему идолу. И так до тех пор, пока горячие, пламенные, нескончаемые аплодисменты не растапливали лед мраморной статуи, и она еле заметно, презрительно склоняла голову с высокомерной улыбкой триумфатора.

*"Elle est le seul être au monde qui oserait danser sur un volcan"*<sup>1</sup>, — говорил французский посол месье Эрбетт<sup>2</sup>, многие годы возглавлявший в Париже *"Ле Там"*<sup>3</sup> и хранивший верность *bon mots*<sup>3</sup>, модным во времена Фальера в редакциях парижских журналов и не умиравших на набережной Орсе со времен герцога де Грамона<sup>4</sup>.

*"Vous oubliez Karakan"*<sup>5</sup>, — непременно отвечал английский посол сэр Эсмонд Овей.

Зимой, долгой зимой 1929 года, отношения Семенов и Карахана были обычной темой для разговора за любым столом для игры в бридж в иностранных посольствах в Москве, у любой кучки людей в огромном зале дворца на Спиридоновке<sup>5</sup>, где народный комиссар иностранных дел Литвинов<sup>6</sup> — толстый, бледный, улыбающийся Литвинов, — обыкновенно устраивал официальные обеды и балы. Господа из коммунистической

1 Она единственная в мире осмелится станцевать на вулкане (фр.).

2 *"Les Temps"* — французская ежедневная газета (1861–1942).

3 Острота (фр.).

4 Арман Фальер (1841–1931) — президент Франции; на набережной Орсе расположено Министерство иностранных дел Франции; Аженор де Грамон (1899–1880) — французский дипломат, министр иностранных дел.

5 Вы забываете о Карахане (фр.).

знати были за Семенову, дамы — за Карахана. Мир иностранных дипломатов также разделился на два лагеря: дамы поддерживали Семенову, господа — Карахана. И это было самым верным знаком то ли новизны русского коммунистического общества, то ли хороших манер, отличавших старое западное общество. Ведь если мужчины болеют за мужчин — это признак восточной культуры, а если мужчины болеют за женщин — признак западной.

Карахан был самым красивым мужчиной в Советской России и, возможно, как утверждала супруга германского посла фрау Дирксен, самым красивым в Европе. Времена меняются, старинная аристократия приходит в упадок, на смену либеральному европейскому обществу приходит марксистское общество, однако каноны мужской красоты не подвластны времени, моде, политическому режиму, общественной идеологии и морали. Мужчина или женщина, которых сочли бы красивыми в правление Людовика XV, нравились бы и в эпоху Директории. Лорд Байрон или граф д'Орсе<sup>6</sup> покорили бы своей красотой, блеском, грацией и манерами даже самое грубое общество или более разложившееся общество, чем их собственное. Разумеется, такой мужчина, как Карахан, заставил бы побледнеть дам даже при дворе Николая II. Помешать ему завоевать успех среди аристократок крови могло только темное происхождение. Впрочем, истории известны примеры людей темного происхождения, но невероятно красивых, добившихся благодаря своей внешности самых больших милостей и самого большого успеха в обществе. Поначалу, когда я только приехал в Москву и еще не осознал, насколько разложилась коммунистическая аристокра-

6 Граф Альфред д'Орсе (1801–1852) — знаменитый французский денди.

тия, меня поражало, что и в Москве, столице Советского Союза, для личного успеха настолько важна красота. Я приехал, уверенный в том, что увижу у власти класс, выплывший из народа, — суровый, непримиримый образчик марксистского пуританства, так похожего на кальвинистское пуританство, класс, для которого имеют значение лишь революционные заслуги и верность марксистской теории. Любой рассказ о Карахане сопровождался похвалами и восторгами не только его моральными качествами, его вкладом в пролетарскую революцию (Карахан, как и Бородин\*, был героем китайской революции и установления советской власти в Туркестане), но и его физической красотой. Я был готов возмутиться, мне казалось, что в пролетарском обществе недостойно придавать вес физическим качествам. А тут было своего рода *engouement*<sup>1</sup>.

Но это не было единственным признаком всеобщего разложения коммунистической аристократии. Потому что разложение нравов в революционном обществе — признак разложения идей, революционного духа. Как могли уживаться в коммунистическом обществе привилегия обладать красотой, рассматриваемая как заслуга, как моральное качество, и марксистская суровость? Всего пять лет назад умер Ленин, за это недолгое время элементы распада и разложения, уже присутствовавшие в коммунистическом обществе, развились и приняли привычные формы. Я словно оказался на месте того, кто, уехав из Парижа в годы республиканской добродетели, вернулся в эпоху Директории: “Неужели, — сказал бы он, — это то самое пуританское революционное общество, которое я видел несколько лет назад? Это Бруты, с которыми я расстался несколько лет назад, те, чью



душу сжигает очистительное пламя революционной веры?" Шагая от Порт-Майо по Елисейским Полям ясным и теплым весенним днем, можно услышать, как некогда услышал Шатобриан по возвращении в Париж, песни, музыку — проявления всеобщего веселья, гнетущие признаки разложения революционной аристократии.

И все же я не мог не испытывать к Карахану искренней симпатии. Я был молод, несколько месяцев назад мне стукнуло тридцать, и юношеский энтузиазм, подтолкнувший меня приехать в Москву, чтобы увидеть вблизи героев Октябрьской революции, смешаться с толпой рабочих, с русским народом, с коммунистическим пролетариатом Советского Союза, естественно и *tout entier*, как сказала бы Федра<sup>2</sup>, подталкивал меня к тем, кто воплощал в моих глазах гений и волю революции. Кто упрекнет меня сегодня в том, что я питал к Карахану нечто, подобное страсти? Жюльен Сорель любил Наполеона<sup>3</sup>. В Москве моим Наполеоном был Карахан. Каждый довольствуется тем Наполеоном, который ему попадется. Добавлю, что в моей страсти к Карахану, к герою китайской коммунистической революции, отчасти виновна свойственная моему поколению жажда мести: после возвращения с войны 1918 года нам пришлось довольствоваться ничтожными героями, жалкими буржуазными типами вроде Д'Аннунцио, Муссолини, Барреса, Жида, Поля Валери или Поля Клоделя. В Карахане я видел героя революции, сына азиатских степей, одного из тех, кто опрокинул царский трон, толкнул в грязь старую, ни на что не способную аристократию, вывел на сцену пролетарские массы. Я видел его в ро-

2 Целиком (фр.). Судя по всему, автор ссылается на трагедию Расина "Федра". (Примеч. науч. ред.)

3 Жюльен Сорель — герой романа Стендаля "Красное и черное".

мантическом свете. Но кто имеет право запретить молодежи видеть людей и жизнь в романтическом свете? Я выбрал своим героем Карахана, а не Троцкого\*, Каменева или Бухарина\*, по одной причине: среди них он был первый красавец и последний интеллигент. В восхищении молодого человека своим героем всегда есть нечто женственное, хотя и невинное. Ничто так не далеко от порока, как страсть, которую Сорель или Фабрицио дель Донго<sup>1</sup> питают к Наполеону.

Карахан был высоким, атлетического сложения мужчиной — подобную атлетическую худобу Пушкин называл “казацкой”, — с гордо поднятой над широкими плечами головой. Лицо у него выдавалось вперед, как у всех кавказцев — армян, грузин, осетин, черкесов, которые встречаются, сталкиваются и никогда не перемешиваются на перекрестке Вселенной под названием Кавказ. Карахан на языке восточных степей означает “черный князь”. У назначенного после успеха коммунистической революции в Китае заместителем наркома иностранных дел, а затем послом в Анкаре прекрасного и загадочного Карахана (как о нем обычно говорили) было бледное лицо и глаза непонятного цвета: то серые, то совсем темные, они ярко сверкали за стеклами очков. В противоположность тому, что обыкновенно бывает с теми, кто носит очки, стекла лишь усиливали волшебную силу взгляда — чуть затуманенного и одновременно острого, как взгляд стеклянных глаз древнегреческих статуй. У него была черная, заостренная борода, чем он напоминал одного из знатных испанских сеньоров, склонившихся над бледным трупом графа Оргаса на полотне Эль Греко в Толедо<sup>2</sup>. Одевался он строго, в ан-

1 Герой романа Стендаля “Пармская обитель”.

2 Картина Эль Греко “Погребение графа Оргаса”. Толедо, церковь Сан-Томе.

глийском стиле, и отдавал предпочтение в соответствии с теперешней модой серому и черному — цветам, которые преобладают у портных с Сэвил-роу<sup>3</sup>. Его костюмы, галстуки, туфли, рубашки, перчатки были из Лондона — их доставляли дипломатической почтой из советского посольства при дворце Святого Иакова<sup>4</sup>. Сэр Эсмонд Овей справедливо заметил, что мужская мода зависит от преобладающих политических идей, что есть мода либерального и консервативного времени. “Разумеется, Уильям Питт не одевался как Уильям Фокс, а Гладстон — как Роберт Пиль”<sup>5</sup>. Сэра Овея удивляло, что Карахан одевается по английской моде, не осознавая, что таким образом примеряет на себя английские политические идеи. Карахан прекрасно играл в теннис и каждый день появлялся на кортах особняка на Спиридоновке или английского посольства, одетый в безукоризненный комплект из белой фланели, в теннисных туфлях — белых, на красной резиновой подошве, которые недавно вошли в моду и которые называли *japanese shoes*<sup>6</sup>. Играл он легко, свободно, раскованно, *souple*<sup>7</sup>, с улыбкой.

3 Сэвил-роу — улица в Лондоне, на которой расположены дорогие мужские ателье.

4 Дворец Святого Иакова — официальная резиденция британских монархов, позднее эту роль стал выполнять Букингемский дворец. (Примеч. науч. ред.)

5 Уильям Питт (1759–1806) в общей сложности двадцать лет был английским премьер-министром, сторонник охранительной политики и непримиримый противник революционной Франции и Наполеона; Уильям Фокс (1812–1893) четыре раза был премьер-министром Новой Зеландии (в составе Великобритании), придерживался либеральных взглядов; Уильям Гладстон (1809–1898) несколько раз становился английским премьер-министром, постоянный лидер английских либералов; Роберт Пиль (1788–1850) дважды был английским премьер-министром, умеренный консерватор. (Примеч. науч. ред.)

6 Японские туфли (англ.).

7 Главно (фр.).

Все дамы из дипломатического мира, все актрисы, все *beauties* высшего коммунистического общества, жены наркомов, крупных чиновников и советских генералов прибегали на корт и толпились вокруг сетки, чтобы увидеть игру Карахана. В нем было что-то звериное, когда он носился по рыжему песчаному корту, когда вытягивал или стигбал руку, когда размахивался и с силой бил. Играл он только мячами, которые ему присылали из Лондона. С улыбкой, словно извиняясь, он объяснял, что советские теннисные мячи жесткие: “В России, — говорил он, — все, что коснется земли, уже не отскочит”. Наверное, он хотел сказать “не поднимется”. Затем он, улыбаясь, поворачивался к леди Овей и с задорной дерзостью, с беспечностью, которую дарит чувство собственного превосходства, с идеальным оксфордским произношением заявлял: “Маркс не предвидел, что английские теннисные мячи окажутся лучше советских. Маркс жил в Сохо и в Ист-Энде. В лондонском Ист-Энде не играют в теннис, *isn't it?*!”

Честно говоря, подобные разговоры, подобные *bon mots*, подобное нахальство меня раздражали. Мне бы хотелось, чтобы и Карахан глубоко презирал Европу. Я приехал в Москву, уверенный, что найду здесь анти-Европу или просто другую Европу, а теперь с горечью убеждался, что советская знать испытывает к Европе (*pour n'importe quelle Europe*<sup>2</sup>, как говорил французский посол Эрбетт) безоговорочное восхищение. В Москве, как и в любом провинциальном городе мира, только и говорили, что о Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Вене, о театрах, кинотеатрах, ресторанах, парижских и лондонских и прочих *night clubs*<sup>3</sup>. Мадам Скьяпарелли,

1 Не так ли? (англ.)

2 Неважно, к какой Европе (фр.).

3 Ночные клубы (англ.).

Лелонг, Пакен, Мэгги Руфф, Молино<sup>4</sup> в Москве знали лучше, чем Жироду, Поля Валери и Клоделя. В Москве куда больше судачили о мадам Скьяпарелли, чем о Сталине, и вовсе не потому, что судачить о мадам Скьяпарелли было менее опасно, чем о Сталине. Так или иначе, в Карахане меня раздражали не столько снобизм, *engouement*, восхищение Европой, изящной европейской жизнью, сколько циничная, наглая, показная, нарочитая, как мне казалось, независимость от чужого мнения. В этой его независимости от чужого мнения мне виделось нечто более глубокое и горькое, чем простое нахальство. И мне от этого было больно.

Во время игры в теннис в нескольких шагах от Карахана, следя за каждым его жестом, за каждым движением, бесстрастно, слегка прищуриваясь, оценивая каждый его удар, стоял тренер со Спиридоновки, знаменитый Ульянов\*, один из самых известных персонажей тогдашней советской Москвы: красивый высокий мужчина, блондин с голубыми глазами. За ним открыто ухаживали все русские дамы Москвы и все супруги иностранных дипломатов — лишь бы уговорить его дать им несколько уроков тенниса. Карахан не удостоивал внимания небольшую толпу щебечущих поклонниц. Впрочем, казалось, он не смотрит даже на Семенову в те редкие дни, когда знаменитая балерина ненадолго появлялась в Английском посольстве или на Спиридоновке, а ведь он, как говорили, был в нее безумно влюблен. Я наблюдал за Караханом, пока он играл с советником английского посольства сэром Уильямом Стэнгом\* или с секретарями посольства. Я смотрел на него, и мне чудилось, будто за спиной его — словно Карахан нарисован на холсте —

4 Мэгги Руфф (1896–1971) — французский модельер. Эдвард Молино (1891–1974) — британский модельер.

возникал пейзаж Новочеркасска, описанный Пушкиным в "Путешествии в Арзрум": Европа постепенно переходит в Азию, леса постепенно уступают место высоким травам, степям, сухим и ветреным долинам, на кочках вдоль проезжих дорог сидят орлы, словно охраняя врата Азии. Я смотрел на Карахана и в эти мгновения ощущал себя молодым Пушкиным, в английской коляске с сиденьями из мягкой блестящей кожи, направлявшимся в Армению, в Арзрум, чтобы увидеть, как князь N<sup>1</sup> воюет против турок. Я видел, как Европа постепенно переходит в Азию, леса постепенно уступают место степи, сухим и ветреным долинам, как под бескрайним бледным небом Азии открывается бесконечный желтый горизонт. И все это был Карахан. Как и все, я испытывал к нему любопытство, которое не получалось удовлетворить: порой я спрашивал себя, не является ли главной чертой характера Карахана безудержная амбициозность или бесконечное, наглое и одновременно ленивое презрение к людям, причем не только к советским людям; не прячет ли он за саркастическим презрением болезненную страсть, горькую тоску по вольной жизни, по Западу. Я думал, что, возможно, его характер определяет типичный для славян нарциссизм, которым болен всякий персонаж русской литературы, особенно у Достоевского, всякий русский литературный герой — самый униженный, нищий, презренный, развращенный. Я, как и все, ощущал таинственную силу, исходящую от этого человека, которого считали крайне жестоким и о котором даже высшие советские сановники, даже его приятели говорили как о загадочном и таин-

1 Имеется в виду русский военачальник И.Ф. Паскевич (1784–1856). В 1828 г. он носил титул графа, а в 1831 г. возведен в княжеское достоинство. Он командовал армией во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. (Примеч. науч. ред.)

ственном существе. “Он — сам дьявол”, — говорила, например, мадам Буденная, жена маршала: она употребляла это слово не в том смысле, в котором употребляет его Сологуб<sup>2</sup> в “Мелком бесе” или Алеша в “Братьях Карамазовых”, а в байроническом смысле, как Пушкин, или в простонародном понимании, как в “Петербургских повестях” Гоголя. Меня удивляло, что в коммунистическом обществе мог возникнуть такой необычный, такой загадочный человек, совершенно далекий от задуманного и подготавливаемого марксизмом идеала. Меня удивляло, что в коммунистическом обществе, которое на расстоянии, из Парижа, казалось мне воплощением классицизма и рационализма, возник романтический персонаж, достойный лорда Байрона или Пушкина.

Чтобы судить о человеке, нужно внимательно рассмотреть его портреты. На портрете человек предстает таким, какой он есть, безоружным, ничего не подозревающим. Я долго и тщетно искал портрет Карахана — не обычную фотографию из газетных архивов или официальных изданий, а именно портрет. Однажды я находился в актерской уборной Семеновой в Большом театре, в антракте между двумя актами “Красного мака” — великого балета, рассказывающего о коммунистической революции в Китае: во время одной из сцен сотни танцовщиков в красном — маки — наводняют сцену и сталкиваются с армией цветов лотоса — танцовщицами в желтом.

Я попросил у Семеновой показать мне портрет Карахана.

Она взглянула на меня удивленно:

— Зачем?

2 У Малапарте ошибочно — Соллогуб, т.е. не псевдоним русского писателя Серебряного века, а аристократическая русская фамилия; в московской усадьбе Соллогубов после революции размещались различные учреждения. (Примеч. науч. ред.)

— Чтобы увидеть, каким ему нравится представлять перед вами, — ответил я.

— Он никогда не бывает самим собой, — грустно сказала Семенова, глядя в зеркало.

— Даже перед вами?

— Почему вы об этом спрашиваете? — сказала Семенова. — Перед мной еще меньше.

Она открыла ящик трюмо, достала большую фотографию в серебряной рамке и небрежно бросила мне на колени.

— Посмотрите внимательно, — сказал она, — наверняка вы его не узнаете.

На портрете Карахан был в толстовке — мужицкой рубаше с застёжкой сбоку, на плече, названной так в честь Льва Толстого. Вид у него был бледный и даже неряшливый; шея в широком воротнике рубахи казалась тонкой, как у Бодлера<sup>1</sup>. Карахан сидел на берегу озера. Озерный пейзаж — бледный и тусклый под сияющим, почти фарфоровым небом с целой гаммой оттенков серого, так накладываются друг на друга слои кожи (у русского неба цвет, рисунок, поры, как у человеческой кожи) — придавал лицу, взгляду, всему выражению Карахана романтическую печаль, контрастирующую с впечатлением от его высокого роста, узких бедер, тонкой талии, широких плеч. Да еще немного нахальной, полной благородства и достоинства манеры держать голову, поворачивать ее с неспешной горделивостью, со спокойным презрением, осторожно и недоверчиво, “словно, — как говорил польский посол Патек\*, — он несет на плечах ребенка”. На фоне этого пейзажа он казался потерявшимся в пустыне одиночества — вернее, он сам наполнял пейзаж одиночеством. Это был первый “одинокий” человек, которого

1 Братья Гонкур как-то сказали про него: “Без галстука, шея голая, голова бритая, одет как для гильотины”.



я видел в советской России, где одиночество считается роскошью, проявлением буржуазного разложения, интеллектуального отклонения от марксизма.

Конечно, мне не по силам, хотя я и пытаюсь это сделать, написать портрет человека и общества, рассказать о страстях, терзающих людей в этом обществе, не будучи его частью, не принадлежа к нему. На мой взгляд, одна из характерных черт Стендаля — то, что он не принадлежит (и сам осознает это) к обществу, о котором пишет. Возможно, Стендаль сумел бы написать портрет разложившегося, прогнившего советского общества — которое поначалу возглавило пролетарскую революцию и создало коммунизм, а потом, как и общество, рожденное термидором, стало наслаждаться властью. Он мгновенно почувствовал бы себя глубоко чуждым: не как якобинец, а уже как бонапартист.

Чувство одиночества, исходящее от этого человека и передающееся пейзажу, произвело на меня странное впечатление. Я ожидал, что встречу в России тип коммунистического лидера, воспламенившегося жаром пролетарских масс, тип нового интеллектуала, не оторванного, как в Европе, от глубинной, животной жизни, а полностью проникшегося ею, столько же далекого от одиночества европейского интеллектуала, сколь далек интеллектуал на Западе от жизни масс, я бы даже сказал, от жизни своего биологического вида. А передо мной был тип человека, который уже встречался у Пушкина, Гоголя, а чаще всего у Достоевского, — одинокого, наслаждающегося одиночеством, словно злостным пороком, человека, который предается особому славянскому нарциссизму, заставляющему любоваться собой, своей гнусностью, своим ничтожеством, своими грехами. И это самая типичная черта упадка прежнего русского общества, сметенного коммунистической революцией.

“Красивый, правда?” — спросила Семенова у моего отражения в зеркале. Она подняла руки, поправляя волосы, и внезапно я увидел, как у нее под мышкой, из зеркальной глубины, медленно возникает Карахан, как поднимается из глубины озера отражение, вырисовываясь на его поверхности. Я вздрогнул и резко обернулся. Между платяным шкафом и стеной висел еще один портрет Карахана, который я прежде не заметил. Карахан глядел на меня с портрета тяжело и враждебно. На нем была кожаная куртка, какие носили коммунисты во время восстания и Гражданской войны (их и прозвали кожанками). На лоб надвинута папаха, на ремне — маузер в кобуре, на левом боку — кривой кавказский кинжал с серебряной рукояткой. За спиной виднелись высокие дымящиеся трубы, подъемные краны, стальные мостики и стальные турбины, резко выделяющиеся на затуманенном черном горизонте. Пейзаж Путиловского завода в Петербурге или завода N в Москве. Это был один из официальных пропагандистских портретов: вождям Октябрьской революции нравилось, когда их изображали на романтическом фоне с дымящимися трубами, подъемными кранами и зубчатыми колесами, словно подчеркивая принадлежность к пролетарской революции.

Я улыбнулся, но Семенова пригвоздила острым, словно булавка, взглядом мою улыбку к блестящей поверхности зеркала.

— Нет, — ответил я, — он не просто красавец. Это больше чем красота. Я боюсь за него.

— Вы очень любезны, — ответила Семенова с ироничной улыбкой.

Этот Карахан был совсем не похож на того, кого в один прекрасный день показала мне мадам Бубнова\*, директор Торгсина\* — магазина для иностранцев, в них

можно расплачиваться валютой. Портрет Карахана написал китайский художник во времена, когда Карахан с Бородиным принесли пламя революции в Китай. Все восточное, едва заметное, что есть в каждом русском, — загадочная интонация, тихо звучащая во всяком движении, не в разрезе узких и немного косых глаз, а в том особенном свете, которым вспыхивают эти крупные и неторопливые глаза, — на портрете Карахана казалось донельзя наглым. Безымянный китайский художник из Кантона изобразил Карахана в манчжурском костюме, в шелковом кафтане с волчьим воротником — он выглядел более атлетичным и хищным, чем на портрете, который возник в глубине зеркала в уборной Семеновы.

Эти портреты говорили о многом: что революционное общество, заполучившее власть через насилие Октябрьской революции, было неоднородным, состояло отнюдь не из чистых марксистов, как они себя называли. В те годы коммунистическая аристократия была совсем не похожа на то, что появится спустя несколько лет, после больших чисток и после успехов первых пятилеток. Там присутствовали старорежимные элементы — дипломаты, интеллектуалы, офицеры, спешно перешедшие в коммунизм, а также искатели приключений из самых отдаленных азиатских провинций Российской империи. Рабочих было мало, они почти не принимали участия в жизни советской знати. Их было не встретить на балах, обедах, *parties*<sup>1</sup>, теннисных кортах или на Николаевских холмах<sup>2</sup>, где в Москве занимались зимни-

<sup>1</sup> Вечера, праздники (англ.).

<sup>2</sup> Имеется в виду Николина гора — поселок в Одинцовском районе Московской области. Николина гора — одно из самых известных стародачных мест Подмосковья. Расположен на 22 км Рублево-Успенского шоссе. (Примеч. науч. ред.)

ми видами спорта, а летом на берегах Москвы-реки, в \*\*\*<sup>1</sup>, где коммунистической бомонд с женами и любовницами катался на лодках вдоль зеленых берегов под розоватым московским небом. Я прибыл в Москву, полный воодушевления, но герои Октябрьской революции оказались совсем не похожими на героев, которых я воображал себе издавна! Я видел разложившихся, ничтожных, полных личных амбиций людей, искателей приключений, прибывших из азиатских степей, или бывших царских унтер-офицеров — чванливых, какими бывают *sous-off*<sup>2</sup>, видел злобных, высокомерных, безудержно амбициозных интеллектуалов, борющихся между собой за верховную власть. Я ехал в Москву не развлекаться. Но что мне оставалось делать, как не развлекаться? Общество разложившихся и амбициозных парвеню желало наслаждаться властью. Так пусть себе пляшут и развлекаются. Однако при мысли о Карахане на меня накатывала глубокая грусть. Я боялся за него. А еще? В глубине души я был обижен на него за то, что и он предстал передо мной разложившимся амбициозным парвеню. Я был обижен на него, словно он меня предал.

Венский вальс, который в это время играл оркестр, не был вальсом Штрауса: это был один из тощих, оголодавших, костлявых вальсов, предвещавших конец Дольфуса, Шушнига и аншлюс\*. Вся жировая ткань габсбургской венской традиции, весь романтический пафос Вены растаяли в 1905–1914 гг., и взгляду открылись кости вальса — голые, белые, гладкие. В эту минуту советник английского посольства сэр Уильям Стрэнг вышел из буфета и предложил руку Семеновой. Рядом с высо-

ченным сэром Уильямом Стрэнгом Семенова казалась особенно маленькой и хрупкой.

— Сегодня я узнала, — сказала мадам Бубнова, стоя в углу буфета, у выхода на террасу, в компании актеров и актрис театров Станиславского и Мейерхольда, — я узнала, что дирекция Ковент-Гардена на самом деле пригласила Семенову в Лондон.

— Сталин, — возразила супруга маршала Буденного\*, — никогда не разрешит ей уехать из Москвы.

— Семенова в Лондоне! Ха! Ха! Ха! — воскликнула мадам Бубнова, подняв руку и шлепнув себя по щеке. Это была женщина атлетического сложения с густыми черными волосами и круглым упрямым лбом, полными руками, громким голосом — низковатым, но без хрипотцы, — густым, звонким, как голос постаревшей и давно не выступающей контральто. Она была женой Бубнова\* — злобного, хитрого и коварного интригана, который каждый день вслух мечтал о смерти Анатолия Луначарского. Когда Луначарский умрет от туберкулеза (странного русского туберкулеза, который не убивает больного, а сопровождает его, словно верный друг, до преклонных лет, когда ему перевалит за восемьдесят, до самой могилы), Бубнов займет его место.

— Почему бы и нет? — возразила мадам Егорова, жена генерала Егорова, начальника Генштаба Красной армии, очень красивая, невысокого роста брюнетка; округлая полнота придавала ей сходство с жемчужиной, покоящейся в бархатной коробочке, у нее были и подobaющие жемчужине холодная и влажная томность, и неприступная хрупкость, и полная переливов серого отстраненность и безучастность, делавшая ее рассеянной и далекой. — Почему бы и нет? Семенова не лучше и не хуже многих других.

— О, многие хуже нее! — сказала мадам Бубнова.

— А я нахожу ее прелестной! — наивно заметила мадам Буденная.

Мадам Бубнова рассмеялась, Егорова искоса взглянула на нее. Она глубоко презирала *beauties* советского общества, особенно жену Луначарского, имя которой ежедневно мелькало в светской хронике и в скандалах. Лишь к Семеновой и мадам Буденной мадам Егорова относилась снисходительно — вероятно, чтобы презрение к остальным казалось еще беспощаднее и оправданнее.

— Она завоюет Лондон, как завоевала Москву, — сказала Егорова, следя глазами за Семеновой и сэром Уильямом Стрэнгом, скользившими по мраморному полу в медленном вальсе.

— Дорогая, — сказала мадам Бубнова, — пусть завоевывает кого угодно, мне до этого нет дела, я не ревную, потому что сама не танцую.

— Я тоже, — наивно ответила Буденная, — хотя я часто ревную Семенову. Она так красива, изящна, так хорошо танцует! Она... она как...

— Бабочка! — подсказала со смехом мадам Бубнова.

— Верно, бабочка, — согласилась мадам Буденная, смеясь. В этой брюнетке с крупными формами была какая-то притягательная вульгарность. Говоря о ней, Флоринский ехидно посмеивался, выставляя ладонь, чтобы показать, какая она маленькая, и раскрывая пальцы, чтобы показать, какая кругленькая и толстая.

“Маршал Буденный” любит лошадей, — говорил он и смеялся, втягивая, как черепаха, маленькую рыжую голову. — Хи! Хи! Хи!” Впрочем, в самой невысокой и незаметной мадам Буденной не было ничего смешного. Она так и оставалась простой женщиной: за свою го-

ловокружительную карьеру от нижнего чина царской армии до маршала красной кавалерии, от *sous-off* до Мюрата\*, маршал Буденный не смог заставить свою жену подняться ни на ступеньку выше по лестнице гордости, чванства, вульгарности. Она относилась ко всему с недоверием и искренне восхищалась безвкусными драгоценностями, которые украшали ее уши, шею и пальцы. Мадам Буденная до сих пор удивлялась тому, насколько повезло ее мужу.

— В Лондоне у нее не будет успеха, — вещала мадам Бубнова грубоватым громким голосом, — в Лондоне до сих пор жив дух божественной Павловой. Вы бывали в Лондоне? — спросила она, поворачиваясь ко мне? — Помню, я видела в Музее Лондона, недалеко от Сент-Джеймс-стрит, реликвии, связанные с именем Павловой. Семеновой никогда не победить ее призрака.

— Я тоже видел пуанты Павловой, — сказал я, — те самые, в которых божественная балерина танцевала лебедя. Весь Музей Лондона медленно ходит вокруг этой пары туфелек из белого атласа. Однако Павлова приносила в Лондон, к трону Святого Иакова, гиперборейский блеск царского престола из белоснежного Санкт-Петербурга, блеск ее легенды невероятный, ледяной, чистейший, но ему не выдержать сравнения с красным, кроваво-рубиновым блеском балета Семеновой. Павлова была царской танцовщицей. Семенова — танцовщица пролетариата, пролетарка.

— Ха! Ха! Ха! — рассмеялась мадам Луначарская, подходя к нам со свитой молодых офицеров и молодых артистов-таировцев. — Семенова не должна вас услышать, а не то она вам глаза выцарапает! Божественная Семенова — пролетарская балерина! Ха! Ха! Ха!

— Простите, — начал я, — я хотел сказать...

— Не надо извиняться, — сказала мадам Егорова, — в России слово “пролетарский” еще не стало оскорблением. Просто не всем оно нравится.

— Ошибаетесь, дорогая, — возразила мадам Луначарская, — мне очень нравится, когда меня называют пролетаркой. Ха! Ха! Ха!

— Ха! Ха! Ха! — засмеялась Бубнова.

— Ха! Ха! Ха! — засмеялись молодые офицеры и артисты.

— Разве это не должно нам нравиться? — наивно спросила мадам Буденная. — К счастью, мы все пролетарки! Что тут смешного?

— Ха! Ха! Ха! — засмеялась Бубнова. — Что смешного? Но, дорогая...

— Вы находите это забавным, господин Малапарте? — неожиданно спросила меня Егорова.

— Весьма забавным, — ответил я. — В Европе женщины, которым повезло иметь кольцо с бриллиантами, тоже стесняются своего пролетарского происхождения. Здесь, слава богу, — прибавил я, — ни одна из вас не стыдится своего происхождения. Это говорит о хорошем вкусе, что приятно.

— Дядите, какое красивое жемчужное ожерелье! — сказала мадам Бубнова. — Она его надела впервые. Клянусь, что куплено не в Торгсине.

— Оно из Парижа, — сказала мадам Луначарская, — ожерелье от Картье.

— И вы называете ее пролетарской балериной? — произнесла Бубнова со смехом, слегка похлопывая себя ладонями по щекам — так она обыкновенно выражала изумление.

— Угостите виски? — попросила Егорова, опираясь на мою руку.



Мы отделились от *beauties* и, осторожно проскользнув вдоль стен бального зала, зашли в буфет. Я заметил, что тем вечером не было Литвинова, Луначарского и маршала Тухачевского\*. За одним из столиков бара сидели итальянский посол Черрути\*, польский посол Патек, фон Штейгер\*, чиновник Комиссариата иностранных дел, и латвийский министр Н\*. Мы с мадам Егоровой уселись за столик, бармен принес нам два виски "Антиквари".

— Вы не знали? — спросил нас латвийский министр, вставая со своего места и подходя к барной стойке. — Каменев арестован\*.

Мадам Егорова и бровью не повела. Но я заметил, что она побледнела и медленно поставила бокал на мраморный столик.

— Что тут странного? — спросил я.

— Ничего странного, — ответил латвийский министр немного удивленно, — но это очень важно. Вы знаете, кто такой Каменев?

— Один из старейших товарищей Ленина, — ответил я, — ну и что?

— Это пугает! — воскликнул латвийский министр.

— Все эти дамы и господа, — сказал я, оглядываясь, — окажутся в тюрьме.

— Вас это забавляет?

— Все они — предатели, — сказал я, — карьеристы, парвеню, воспользовавшиеся революцией. Они получают по заслугам.

— Но ведь Каменев — один из вождей революции! — воскликнул латвийский министр.

— Правда! Поделом ему, — сказал я и засмеялся.

Латвийский министр несколько мгновений смотрел мне в лицо, потом повернулся к Егоровой и, склонившись, тихо произнес:

— *C'est à vous que je donnais cette nouvelle!*<sup>1</sup>

— Я разделяю мнение Малапарте, — равнодушно ответила Егорова и холодно повернулась к бальному залу.

В эту минуту сэр Эсмонд Овей подошел к сэру Уильяму Стрэнгу и что-то зашептал ему на ухо. Сэр Уильям Стрэнг почти рывком оторвался от Семеновой и, что-то нашептывая ей, кланяясь и словно прося прощения, подал ей руку и, пробираясь среди танцующих пар, повел в бар. Из всех дверей в зал заглядывали удивленные и словно напуганные мужчины и женщины. Посол Черрути, посол Патек, Штейгер, Таиров, латвийский министр, французский посол Эрбетт, немецкий посол барон фон Дирксен\* и другие дипломаты поднимались из-за столиков, со своих кресел и сбегались отовсюду, выглядывали в двери, выходившие на террасу, в двери бара, в двери *fumoir*<sup>2</sup>. Образовывались и сразу же распадалась группы людей, другие отходили в сторону, тихо переговариваясь, однако постепенно все поворачивались в сторону бледного Флоринского, который, замерев посреди зала, с улыбкой глядел на Семенову: опираясь о стойку бара, Семенова стояла одна и то и дело подносила бокал к губам, не отрывая глаз от дверей, которые вели из зала в переднюю.

Медленно, словно повинуюсь инстинкту, Луначарская, Бубнова, Буденная, все советские *beauties* собрались вместе, постепенно к ним присоединились молодые офицеры и артисты. Зал опустел, оркестр продолжал негромко играть, в открытые окна залетал теплый ветер, пахнувший листьями и травой. Московская весна

1 Эту новость я хотел рассказать вам! (фр.)

2 Курительная комната (фр.).

врывалась в зал с нежной силой, со сладким запахом беременной женщины. За деревьями парка, влажными и словно распухшими от неясных звуков и смутных ароматов, виднелись купола церквей, освещенные электрическими прожекторами башни Кремля, над Оружейной палатой развевались красные знамена. Небо было бездонным, розовым и зеленым, его наводнял напоминавший старинное серебро свет луны. Каменев — товарищ Ленина, триумвир, которого Ленин привел к власти вместе с Зиновьевым\* и Бухариным, арестован. Начиналась большая чистка. Террор начинался с миролюбивого Каменева с седой бородкой, близорукими глазами, скрытыми за блестящей ширмой очков. После Троцкого — Каменев. Оркестр нежно играл мелодию венского вальса. Драгоценности сияли на шеях и толстых пальцах советских *beauties*.

Внезапно дверь распахнулась и на пороге возник Карахан. Он был бледнее обычного. Карахан замер с высоко поднятой головой, затем медленно направился к бару, подошел к Семеновой. Склонившись, поцеловал ей руку, притянул к себе, и они отдались медленным волнам вальса. Казалось, они одни в огромном зале. Егорова дотронулась до моей руки и прошептала с улыбкой:

— *Qu'ils sont beaux!*<sup>3</sup>

В это время ко мне подошел улыбающийся Флоринский:

— *Vous ne trouvez pas,* — сказал он, — *qu'il ressemble...*<sup>4</sup>

Постепенно и другие пары начали танцевать. Мадам Луначарская, высоко подняв голову и раздувая ноздри, беззаботно смеялась в объятиях молодого офицера. Сэр

3 Какие они красивые! (фр.)

4 Вы не находите, что он похож... (фр.)

Эсмонд Овей склонился перед мадам Егоровой и повел в центр зала. Ко мне подошел Штейгер и предложил покурить.

— Хочу подышать свежим воздухом. Можно проводить вас до гостиницы?

— Какая прекрасная ночь! — сказал я и направился к выходу вместе со Штейгером, побелевшее лицо которого было покрыто каплями пота.

Курцио Малапарте.  
Фото Fondazione Biblioteca  
di via Senato.





Москва. Триумфальная арка на площади Белорусского вокзала (вверху)  
и памятник Пушкину на Тверском бульваре (внизу). 1931 г. Фото *Branson DeCou*.





Вид на Кремлевскую набережную (вверху) и Иверские ворота (внизу).  
1931 г. Фото *Branson DeCou*.





Гостиница "Savoy" (вверху) и интерьер ресторана гостиницы (внизу).







Внизу: Вид на гостиницу "Метрополь".

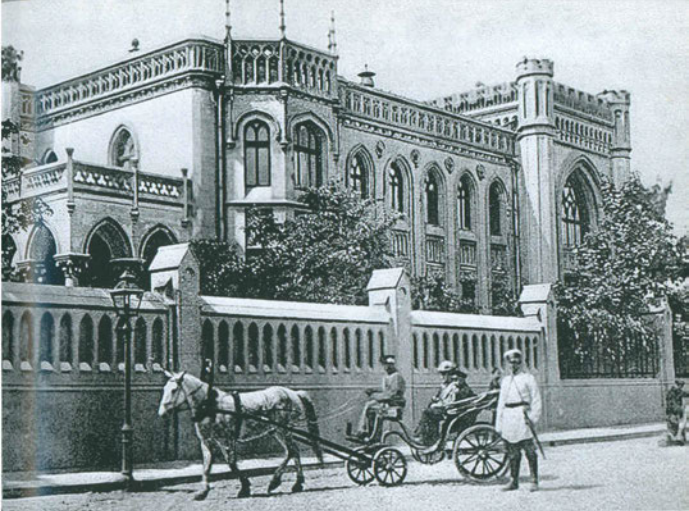




Вверху: Особняк Гагариных на Новинском бульваре. Ныне не существует.

Внизу: Английское посольство на Софийской набережной, 14. Особняк П.И. Харитоненко.





Вверху: Особняк Морозовых на Спиридоновке, 17.

Внизу: Посольство Италии в Москве. Денежный переулок, 5. Особняк С.П. Берга.







Торгсин на Покровке (вверху) и его интерьер (внизу). Фото Branson DeCou.





Вверху: Оружейная палата. Царская золотая посуда. Фото *Branson DeSou*.



Вверху: Князь Георгий Евгеньевич Львов.  
Внизу: Феликс и Ирина Юсуповы.





Новодевичий монастырь (вверху) и вид с него на Москву (внизу).







Кладбище Новодевичьего монастыря. Могила А.Н. Скрябина и А.П. Чехова.





Иностранец с фотоаппаратом на улице Москвы (вверху)  
и киоск "Союзпечати" (внизу). 1931 г. Фото Branson DeCou.







Чистильщик обуви, точильщики ножей (вверху)  
и продавец скобяных изделий (внизу). 1931 г. Фото *Branson DeCou*.





Московские винные магазины. 1931 г. Фото Branson DeCou.





Демонстрации трудящихся на московских улицах. 1931 г. Фото Branson DeCou.







Вверху: Сталин и члены правительства в ложе Большого театра. 1938 г.  
Внизу: Сцена из спектакля "Дни Турбиных". МХАТ. Москва, 1926 г.





Внизу: Балерина Марина Семенова в балете "Баядерка". Большой театр. 1930 г.





Марика Чимишкиан



Ольга Каменева, жена Льва Каменева  
и сестра Льва Троцкого, глава ВОКС



Балерина Марина Семенова



Балерина Анастасия Абрамова



Актриса Наталья Луначарская-Розенель,  
жена наркома А.В. Луначарского



Певица Ольга Михайлова,  
жена маршала С.М. Буденного



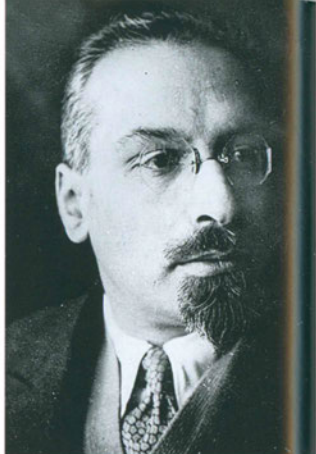
Актриса Галина Цешковская,  
жена маршала А.И. Егорова



Ольга Бубнова, жена начальника  
политуправления РККА А.С. Бубнова



Георгий Чичерин, нарком  
иностранных дел



Лев Карахан, заместитель наркома  
иностранных дел



Максим Литвинов, заместитель  
наркома иностранных дел



Дмитрий Флоринский, заведующий  
протокольным отделом Наркомата  
иностранных дел





Максим Литвинов, посол Италии в СССР Витторио Черрути и Лев Карахан (?) во время дипломатического приема в Москве.



Дмитрий Флоринский встречает посла Германии в СССР Рудольфа Нацкого на вокзале в Москве. 1933 г.



Эсмонд Овей,  
посол Великобритании в СССР



Уильям Стрэнг, советник посольства  
Великобритании в Москве



Жан Эрбетт,  
посол Франции в СССР



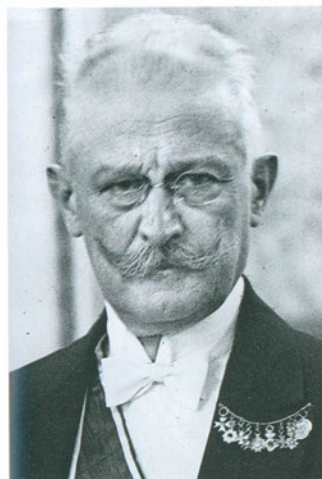
Герберт фон Дирксен,  
посол Германии в СССР



Юргис Балтрушайтис,  
посол Литвы в СССР



Эрик Юлленшерна,  
посол Швеции в СССР



Станислав Ян Патек,  
посол Польши в СССР



Константы Скирмунт,  
посол Польши в Великобритании



Анатолий Луначарский, нарком просвещения до сентября 1929 г.



Борис Штейгер,  
уполномоченный Коллегии  
Наркомпроса по внешним сношениям



Андрей Бубнов, начальник Политического  
управления РККА. С сентября 1929 г.  
нарком просвещения

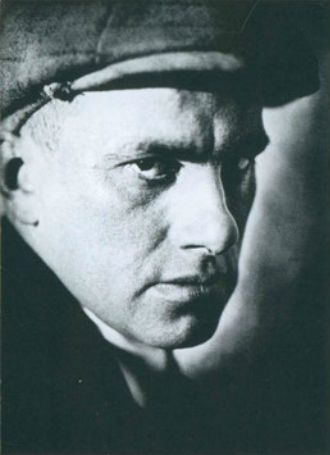


Шаржи Н.Э. Радлова на А.В. Луначарского. 1920-е гг.

На рисунке с балериной надпись Н. Радлова карандашом: "Очень прошу не помещать моего имени под этим рисунком, пишите рис. Н. Э. У меня уже был скандал с Ан. Вас. за карикатуру. Он обидчив, как балерина. Н. Радл."







Владимир Маяковский



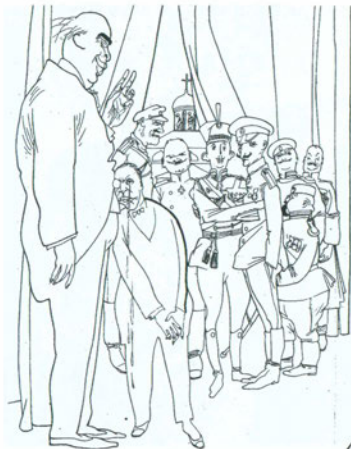
Михаил Булгаков



Александр Таиров



Демьян Бедный



Станиславский: "Прошли золотые дни Турбиных!.." Булгаков: "Да, но зато сколько раз и при каких сборах!.." Карикатура Д. Моора.



Обложка книги "Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна".



Шарж на В.В. Маяковского. Кукрыниксы. 1929 г.



Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин. 1924 г.



Справа налево: Михаил Томский, Лев Каменев, через одного Лев Троцкий, Михаил Лашевич. Красная площадь, 1 мая 1922 г.





Михаил Калинин, Георгий Димитров, Климент Ворошилов, Иосиф Сталин на Мавзолее во время физкультурного парада. 1936 г.



Советские маршалы: Михаил Тухачевский, Семен Буденный, Климент Ворошилов, Василий Блюхер и Александр Егоров. 1935 г.



Вверху: Институт Ленина. Большая Дмитровка, 15.

Внизу: Вид на Красную площадь и собор Покрова на Рву (Василия Блаженного).





Деревянный Мавзолей Ленина во время праздничных мероприятий (вверху)  
и голова мумии Ленина (внизу).



Курцио Малапарте с таксой Пуччи. 1940-е гг.  
Фото *Fondazione Biblioteca di via Senato*.





Занимался рассвет, весна уже укорачивала ночи, белое сияние уже разливалось на востоке — вдали, за кремлевскими башнями. Я шагал рядом со Штейгером и глядел на далекую белую кромку неба, на первых птиц, рассекавших непрозрачный предрассветный воздух, — молчаливых птиц, которые словно боялись крикнуть и быстрыми стрелами носились с крыши на крышу, то собираясь в стаи, то рассеиваясь: я видел, что небо, как бывает на рассвете, неспешно поднимается с крыш домов, словно наклеенный на них сверху огромный лист бумаги, и отдаляется, поднимается: так бывает в фильмах, когда кинокамера взмывает вверх и видишь, как крыши уходят вниз, берега неба отдаляются, а между крышами и объективом кинокамеры течет, становясь все шире и шире, река света, пространства, времени, звуков. Между домов, словно лезвие ножа, проникающее между строениями и раздвигающее их, открывалось полное света пространство, город просыпался и, просыпаясь, обретал форму, начинал осознавать себя:

здесь возникал гребень крыши, там — дерево, там — купол, там — башня, пока огромное племя крыш, окон, башен и куполов мало-помалу не собралось под белым небом — высоким и далеким, и я не услышал птичьих крики и шум реки, что неспешно течет себе среди берегов, угадывающихся по зелени деревьев и угольной черноте.

Мы стояли на холме перед храмом Христа Спасителя: под белым небом расстилалась Москва — расплывчатая, бескрайняя. Перед нами, чуть ниже, возвышался Кремль; звон трамвая, с трудом карабкавшегося к нам по широкой улице, отчасти нарушал спокойствие и неподвижность пейзажа, казалось, будто железная пила пилит башни и купола, которые скатываются друг за другом в поднимающийся с реки сизый туман, в шафрановое кружение первых лучей новорожденного солнца. Отсюда, с высоты, Москва-река обычно кажется намного шире, чем на самом деле: Кремль, его зубчатые стены из красного кирпича, его возвышающиеся над воротами башни, купола его церквей — зеленые, желтые, красные, лазуревые — не отражаются в воде, будто Москва-река — полоса тусклого металла, цинка. Все это придает открывающейся глазам картине суровость, как на старых немецких гравюрах: замки, селенья, города и горы никогда не отражаются в реках, словно люди со своими творениями и природа испокон веков ненавидят друг друга, не способны жить вместе, словно в глазах художника люди и река, башни и вода созданы из разного вещества.

Холмы, что высятся за рекой, — Воробьевы горы и Поклонная гора, — мало-помалу выступали из волн ночного прибоя: твердый черный хребет, закрывавший горизонт на севере и на юге, мало-помалу мягчел, из черного становился розовым (черный Мане и розовый

Мане), пока нежное трепетание зеленого не проникало в этот розовый и в этот черный, пока не появлялись разрастававшиеся в небе рощи берез и акаций. Видны были первые трамваи, бегущие по набережным Москвы-реки, на противоположной стороне, в районе Дорогомилова; грохот первых проезжавших по мостам грузовиков разносился далеко, поднимая почти не видимую глазу зеленоватую и розоватую пыль с серого камня набережных, с красных кирпичей домов, с блестящего асфальта улиц. Рядом проехала машина, до нас донесся пронзительный смех, и я едва успел увидеть, как в компании офицеров пронеслась мадам Луначарская.

— Вы знакомы с Каменевым? — неожиданно спросил меня Штейгер.

Город дышал глубоко, словно больная корова. Горячее, тяжелое дыхание, отдававшее травой и влажной листвой. Огромный пролетарский город спал, спал сном рабочих. У спящего рабочего особый запах, и это не запах грязи, скопления людей, нищеты. Это запах снов. У сна, как и у бодрствования, есть свой запах. Спящий человек пахнет не так, как бодрствующий. Сны рабочих не похожи на сны буржуа. Рабочему не снятся машины, хлеб и шикарная жизнь. Все это мещанские мечты и сны. Мещане — те, кто переживают из-за того, что их жизнь не стала шикарной и легкой. Бедному человеку — тому, кто работает, трудится, страдает, борется, — снятся не американские киноленты и не шикарная жизнь. Ему снятся трава, деревня, луга — простое, человеческое существование. Или снятся машины. Снится бедная жизнь, но не такая, как у него, — жизнь, где он не раб, а хозяин. Снится бедный, а не богатый мир. Бедный мир, в котором царит справедливость. Что делать со свободой, рабочий не знает. Она ему не нужна. Для

рабочего свобода лишена смысла: смысл имеет лишь справедливость. Рабочий стремится к власти, а не к свободе. Он мечтает о власти, о справедливости, о простой, детской, знакомой бедности — бедности, которая и есть его достояние, которую он может упорядочить, превратив в собственную цивилизацию, в цивилизацию, в образ жизни. Западный рабочий мечтает о богатстве. Его революция носит личный характер. В снах русского рабочего нет ничего личного. Его сны коллективные, массовые. Всем рабочим одновременно снится одно и то же. Трудящимся колхозов снится колхозная жизнь, словно поднятая на более высокую ступень. Сон рабочего сознательнее его бодрствования. Он похож на сон солдата. Солдату снится война. Во сне он чувствует большую ответственность, чем когда бодрствует.

Я ощущал солидарность со сном огромного пролетарского города. Рассвет распускался, словно пушистый цветок ворсянки, на стене горизонта, город постепенно пробуждался. Что с того, что его бдение полно жестокости, насилия, страшной борьбы? Мне хотелось найти в жизни народа, в его дневной жизни честность, цельность. Страх предательства — вот такая тревога терзает рабочих. Мы на Западе не понимаем, что бессознательно связывает рабочих, массы, с вождями революции. Тревога, которая терзает массы во время революции, связана с одержимостью предательством. Революционные массы похожи на солдат: солдаты всегда боятся, что командиры их предадут. Когда враг берет верх, солдаты первым делом кричат: "Предательство!" Им кажется, что их предали собственные командиры, а не враг одержал победу. Но чувство подозрения испытывает лишь одна сторона. Командиры никогда не боятся предательства. А массы — да. У народа надежное, тонкое, острое чутье: столкнувшись с предательством, он мгновенно все чувст-



вует. Русский народ чувствовал, что правящий класс его предал. Разложение этого революционного класса было очевидно. Когда жена Луначарского в дорогой шубе и украшениях выходила из автомобиля перед Большим театром, народ чувствовал, видел за сиянием драгоценностей блеск предательства. Я чувствовал, что весь этот прогнивший, разложившийся класс, сборище дорогих шлюх, педерастов, актеров, актрис, жуиров, спекулянтов, нэпманов, кулаков, торговцев с черного рынка, советских чиновников, которые одевались в Лондоне и Париже и подражали нью-йоркским и берлинским манерам (в моду входили толстые сигары — такие же, какие держат в пухлых ртах капиталисты в Гамбурге, на Уолл-стрит, на карикатурах Гросса<sup>1</sup>), обречен. Я знал, что демократическая, интеллектуальная, буржуазная Европа будет лить крокодиловы слезы о судьбе этого разложившегося класса; про себя я смеялся, воображая, как этот класс ставят к стенке, как с мадам Луначарской срывают украшения и шубу и отправляют выступать в рабочих клубах где-нибудь в окраинных районах Азии. Про себя я смеялся, думая об изгнании Троцкого\*. А с чего мне было плакать? Чего еще мог ожидать Троцкий в случае поражения? Для меня отвратительно было не то, что он убил тысячи буржуа, контрреволюционеров, царских офицеров, а то, что он убивал их, движимый дурными чувствами. С хорошими чувствами хорошую революцию не сделать. Я винил его в том, что он возглавил политическую группировку, которая, как это ни странно, отождествляла себя с советским правящим классом в 1929–1930 годы. За полемикой Троцкого стояли педерасты, шлюхи, разбогатевшие мещанки, низшие

1 Георг Гросс (1893–1959) — немецкий живописец и карикатурист. (Примеч. ред.)

офицерские чины — все, кто нажился на Октябрьской революции. В этом состояла вина Троцкого: он возглавил не пролетарскую фракцию, а самую разложившуюся фракцию революционных эксплуататоров пролетариата. Конечно, Каменев был человеком безобидным, но никто не имеет права быть безобидным, если ты один из вождей революции. Каменев, как и Троцкий, помешал бы рождению нового пролетарского класса, пуританского класса, он бы стремился оставить у власти тех, кто любит роскошь и наслаждение. В этом весь троцкизм.

Спустя двенадцать лет, когда свежим, нежно пахнущим июньским утром мы вошли в Россию с автоматами в руках, я почувствовал, что советская Россия проиграет войну, только если во главе немецких войск будет идти некто, напоминающий Троцкого на коне, а за ним будет тянуться шлейф из размахивающих хоругвями, несущих святые иконы и распятия попов, и неважно, настоящие попы или нет. Ведь народ ожидал нечто, отличное от коммунистов, торжественное, зрелищное возвращение старой Руси, которую при этом представляют новые люди, марксисты, коммунисты, революционеры, а не те, кто внешне походил на коммунизм, т. е. нацизм.

Сталин выиграл войну против Гитлера в тот день, когда Жак Морнар\* убил Троцкого, ударив его по затылку ледорубом. В тот день Гитлер проиграл войну. Войну выиграл Морнар, а не маршал Жуков. Вернись Троцкий в Россию в июне 1941 года, войди он в те чудесные теплые дни на Украину во главе армии попов в парадных одеяниях, распевающих старинные песнопения, в сопровождении толпы солдат и офицеров, ему бы вышел навстречу весь украинский народ. Потому что Троцкий воплощал контрреволюцию, а только контрреволюция может или могла одолеть коммунистическую Рос-

сию. Весь московский правящий класс встал бы на сторону Троцкого. Потому что при коммунистическом режиме бюрократия была и всегда будет троцкистской. Мы бы увидели, как всё невероятным образом становится с ног на голову: народ пошел бы за Троцким. А Россия, оставаясь советской по названию, стала бы фашистской Россией, в ее главе стоял бы похожий на Муссолини еврей — любитель разглагольствований и полемики, милитарист, напыщенный, высокопарный, самодовольный, наслаждающийся жизнью, со свитой сверкающих галунами и драгоценностями придворных. Потому что троцкизм — это фашизм, и обусловлено это прежде всего тем, что коммунизм не может родиться в стране, где, как в Европе, есть старинные города, коммунизм не может зародиться вокруг города. Поскольку высшая цель коммунизма — общество без государства, его целью должна стать нация без городов. Там, где есть города, коммунизм быстро угасает. Превратите Париж, Лондон, Рим в столицу коммунизма, и коммунизм быстро выродится в фашизм, в троцкизм.

Размышляя так, я шагал рядом со Штейгером. Мне не было дела до его минутных забот, до того, что Каменева отправили в ссылку. Мне не было дела до того, что всех этих разложившихся людей в один прекрасный день отправят в ссылку или похоронят в общей могиле. Меня интересовало очевидное возникновение нового революционного класса: я удивлялся слепоте троцкистов, которые полагали, будто способны воспрепятствовать возвышению этого нового класса — пуританского, беспощадного, жесткого, нестибаемого, чудовищного.



В то время Москва еще оставалась святым для Руси городом, древним и благородным стражем восточной границы, Третьим Римом, столицей бескрайнего “континента” крестьян, солдат, служащих, студентов, евреев, казаков, татар, правила которым малочисленная армия бледных и немногословных рабочих-коммунистов. В Кремле, на древнем престоле православных государей, восседал невысокий человек с короткими руками и блестящими черными глазками. Звали его Сталин. У трона Сталина толпилась новая марксистская знать — клан алчных, безжалостных и разнузданных коммунистических бояр, парвеню и всех, кто нажился на революции, а вместе с ними балерины, актрисы, пролетарские *merveilleuses*<sup>1</sup>, занявшие место старорежимной аристократии, те, кому вскоре, после страшных и загадочных процессов, предстояло упасть во дворе на Лубянке от свинца расстрельных команд.

На Красной площади, у Кремлевской стены, в спроектированном Щусевым большим деревянном мавзолее\* медленно разлагалась мумия Ленина\* — застывшая, крохотная, словно мумия ребенка. Периодически из Берлина приезжали специалисты — выпотрошить, выскоблить, продезинфицировать панцирь этого драгоценного ракообразного, священной мумии, белое фарфоровое личико которой, расцвеченное рыжими веснушками, покрывал зеленоватый, похожий на плесень пот. “У Ленина череп такой же формы, как у Бальфура”, — написал Г. Уэллс\*. В хрустальном гробу\* (его спрятали там от мышей, которые успели погрызть ухо и пальцы одной из ног) Ленин спал, улыбаясь в холодном и беспощадном свете электрических прожекторов, левая рука покоилась на груди, ладонь правой касалась бедра. Он спал, прикрыв глаза, с ироничной усмешкой на подкрашенных помадой губах, среди красных знамен Коммунистического интернационала и Парижской коммуны 1871 года. Днем и ночью русский народ проходил, рыдая, перед хрустальным гробом.

В те годы Москва еще оставалась древним православным городом тысячи церквей\*. Во влажной, зеленой тени среди тысячи куполов, выложенных зелеными, желтыми, красными, лазуревыми изразцами, еще прятались старинные деревянные дома, которые пощадил пожар 1812 года. Новые, гигантские здания из железобетона, стали, стекла, гордость советской архитектуры, еще не вытеснили дома бояр и богатых московских купцов. Недалеко от Арбата, вокруг Собачьей площадки<sup>2</sup>, еще стояли дома, в которых жили герои “Войны

2 Собачья площадка — площадь, уничтоженная в 1962 г. при прокладке проспекта Калинина (ныне — улица Новый Арбат).

и мира”, семейство графа Безухова, князя Волконского, князя Курагина, Марьи Дмитриевны. На Поварской, которая теперь называется улица Воровского, еще стоял дом князей Долгоруких — дом № 52, превратившийся у Толстого в дом графов Ростовых. Однако бригады рабочих уже начали ломать кайлами, орудия с глухой и яростной ненавистью, купола церквей и стены древних монастырей. Несколько дней назад было торжественно объявлено о начале работ по первому пятилетнему плану<sup>1</sup>, и в зеленом воздухе к теплomu запаху весны уже примешивался запах пятилетки — запах угля и железа.

Я часто бродил московскими улицами в поисках домов Андрея Болконского, Пьера Безухова или Марьи Дмитриевны (Марья Дмитриевна проживала на Старой Конюшенной улице, вблизи Подновинской<sup>2</sup>) или отправлялся поздороваться с бледным призраком Скрябина\* в доме № 11 по Николо-Песковскому переулку, или беседовал с печальной тенью Гоголя\* в доме № 7 по Пречистенскому бульвару, который теперь называется Гоголевским, или оставлял визитную карточку милому призраку княгини Гагариной в ее прекрасном особняке на Новинском бульваре, построенном по проекту Бове\*. Порой я часами просиживал в седьмом зале Музея Толстого на Кропоткинской<sup>3</sup>. Эта комнатка называлась “астаповской”: она точно воспроизводила комнатушку на станции Астапово, в которой Толстой, когда

1 Первый пятилетний план вступал в действие 1 октября 1928 г. (Примеч. науч. ред.)

2 Подновинская улица — вероятно, Новинский бульвар; в любом случае топоним указан неверно. Анастасия Дмитриевна Офросимова (или Афросимова), прообраз героини Л. Толстого, жила в Старой Конюшенной слободе (дом № 5), ныне — Чистом переулке. (Примеч. науч. ред.)

3 Музей Толстого на Кропоткинской был основан в 1911 г. на улице Пречистенка, в 1921 г. переименованной в Кропоткинскую. (Примеч. науч. ред.)

он почувствовал приближение смерти и бежал из Ясной Поляны, провел долгие часы агонии в ожидании, говоря словами Горького, последнего поезда. Я любил подолгу сидеть в комнатке, где умер Толстой, на маленькой станции без железнодорожных путей и начальника и ждать поезда, последнего поезда, расписание которого не знал даже музейный смотритель. Порой ночами я присаживался у фонтана, расположенного в центре Собачьей площадки, перед домом № 12, где по возвращении из ссылки в Бессарабию долго жил Пушкин<sup>4</sup>. Я глядел на закрытое окно его комнаты и видел, как бледный призрак поэта приподнимает занавеску тонкой прозрачной рукой.

В то время над московскими улицами висели тяжелые белые облака пыли, разрезали которые глухие удары кайла, скрежет железных цепей подъемных кранов и хриплое пыхтение машин. Я шагал сквозь облака пыли и твердил про себя выученное на днях русское слово — старинное русское слово, которое слышал от всех: “наплевать”, “наплевать”, — твердил я про себя и улыбался. “Наплевать”, — говорили мне все вокруг с грустной улыбкой.

В облике города и его обитателей ощущался грандиозный героический порыв к современности, глубоко изменивший с тех пор русский дух. Весь русский народ медленно поворачивался лицом к Западу — бледным, изнуренным, мокрым от пота лицом. Над улицами растянули огромные полосы красной ткани, на которых крупными белыми буквами написали: “Да здравствует Ленин! Да здравствует Коммунизм! Да здравствует Пятилетка!” На лицах людей, слеплен-

4 В доме № 12 Пушкин никогда не жил. В доме № 14 на Собачьей площадке жил его близкий друг С.А. Соболевский, которого поэт там посещал. (Примеч. науч. ред.)

ных из мягкого сероватого вещества, словно тушки осьминогов, по-прежнему были заметны следы ужасных страданий прошедших лет, “голых лет”, как называл их Борис Пильняк<sup>1</sup>, лет Гражданской войны, голода, эпидемий, резни. А еще было заметно, как в глазах рождается страх перед ужасными страданиями, которые обещала русскому народу пятилетка во имя победы коммунизма.

Мысль о том, что русский народ страдает и ради меня, была мне мучительна. Я твердил “наплевать” и сплевывал, чувствуя, что унижено мое человеческое достоинство, достоинство цивилизованного человека, европейца: унижено потому, что русский народ страдает и ради меня, ради меня он готов терпеть голод, ужас, рабство, смерть — ради меня, моей свободы, моего будущего, моего здоровья. Я никогда не мог смириться с тем, что кто-то страдает ради меня. Я христианин, потому что принимаю то, что за меня страдает Христос, но только Христос. Только Христу я позволяю страдать за меня. Христианин вынужден принять, что ради него страдают другие, и это не нравится мне в христианстве. Тогда, в Москве, мне впервые стало тяжело оставаться христианином. Мне была невыносима мысль, что русский народ, русские дети, мужчины и женщины всей России, страдают и ради меня. Огромная гордость русского народа меня глубоко унижала, как привилегия, которую я не мог принять. Впервые в жизни я воспринял как нечто естественное и само собой разумеющееся абсурдную для христианского сознания мысль, что страдание — нечто благородное, чистое, полезное, только если оно бессмысленно, только если оно не помогает ничему и никому (даже тому, кто страдает), только если



страдание является самоцелью, если оно совершенно бесполезно. Порой, когда мне не удавалось избавиться от необходимости страдать из-за русской революции, как из-за чего-то, что имеет отношение к моей совести, к моему собственному, личному опыту, накатывали сомнения, нет ли в коммунизме отчасти христианской истины. Но всякий раз меня охватывало отвращение, как непременно бывает со мной при мысли, что во всяком человеке, страдающем ради других, скрыт Христос. В голове звучал странный вопрос: “Как зовут Христа в Советской России? Где прячется Христос в СССР? Как зовут русского, коммунистического Христа?” Я твердил про себя “наплевать” и сплевывал. Среди всех вопросов, возникавших перед человеком с христианским сознанием в Советской России, тяжелее всего было понять, в каком обличье, под каким именем скрывается Христос. Чуть ранее этот вопрос задал и попытался дать на него ответ в своем духовном завещании патриарх Тихон\*, так же поступил и митрополит Нижегородский Сергей в знаменитом послании к верующим православным христианам\*. Русского Христа, коммунистического Христа звали “наплевать”.

В основном я проводил свои дни в Институте Ленина\*, который тогда еще не был открыт для посетителей: этой возможностью я был обязан Луначарскому. Моя юная секретарша Марика Ч. — грузинка из Тифлиса, которую порекомендовала мне мадам Каменева, сестра Троцкого и директор “Интуриста” — облегчала и ускоряла мою работу. Она переводила неопубликованные труды и письма Ленина, официальные документы об Октябрьской революции, о роли Ленина и Троцкого в этих памятных событиях, помогала мне собрать драгоценный материал, который позднее пригодился в работе над книгами “Техника государственного переворо-

та” и “Дедушка Ленин”<sup>1</sup>. Тогда я не мог предвидеть, что из-за этих книжек в Италии меня на несколько месяцев посадят в римскую тюрьму “Реджина Чели” и отправят на пять лет в ссылку на остров Липари. Сумей я это предвидеть, я бы все равно их написал. Люди всегда расплачиваются за свои поступки и за свои мысли, за все добро и зло, которое они творят, даже если их страдание ничему и никому не помогает, в том числе им самим. От этого закона не уйти: страдание не нужно, оно совершенно бессмысленно, и именно поэтому люди должны страдать.

“Быть христианами не нужно ни для чего. И все же нужно быть христианами”, — часто повторял я Михаилу Афанасьевичу Булгакову, знаменитому автору драмы “Дни Турбиных”, с которым мы вместе любили бродить по городу.

— *Pas la peine*<sup>2</sup>, — отвечал Булгаков.

— И все же люди должны страдать, — говорил я, — христианство — это страдание.

— Не только страдание делает нас христианами, — возражал Булгаков, — христианами нас делает отказ от бессмысленного страдания. Страдать надо ради чего-то. Прежде всего ради других.

— Значит, ты полагаешь, что коммунисты тоже христиане? Что достаточно страдать ради других, чтобы быть христианами?

— Разумеется, они тоже христиане. Эти проклятые коммунисты и христиане *тоже*, — говорил Булгаков.

— Люди становятся христианами, соглашаясь на бессмысленные страдания, — возражал я, — разве люди не захотели появления Христа, разве не они призвали его

1 Об этих книгах («*Tecnica del colpo di Stato*», «*Le bonhomme Lénine*») подробнее см. в статьях С. Гардзонио. (Примеч. ред.)

2 Не стоит (фр.).

на землю? Тогда пусть страдают! Но страдают бессмысленно, раз хотят быть до конца христианами.

— *Pas la peine*, — повторял Булгаков, поглаживая ладонью бледное одутловатое лицо.

Вся проблема в этом: призывали ли люди Христа, просили ли они его спуститься на землю, или Христос спустился на землю без призывов людей. Вопрос о коммунизме сводится к тому же самому: призывали ли его люди, хотели ли они его на самом деле или нет. Насколько было бы справедливее и осмысленнее, если бы люди его не хотели, если бы коммунизм пришел на землю против воли людей. Страдание, которого не желали, испытание, которого боялись и которое не призывали. Неизбежное, но не желанное. Фатальная необходимость.

— *Pas la peine*, — повторял Булгаков.

Как раз в эти дни в театре Станиславского шла пьеса Булгакова “Дни Турбиных” по его знаменитому роману “Белая гвардия”. Пискатор\* недавно поставил пьесу в Берлине, где она имела огромный успех. Действие последнего акта происходит в Киеве, в доме Турбиных: братья Турбины и их друзья, верные царю офицеры, в последний раз собираются вместе, прежде чем отправиться на смерть. В последней сцене, когда издали доносится пение “Интернационала”, которое становится все громче и сильнее, как все громче и сильнее звучат шаги входящих в город большевиков, братья Турбины с друзьями запевают гимн Российской империи “Боже, Царя храни!”. Каждый вечер, когда на сцене братья Турбины с товарищами запекали “Боже, Царя храни!”, зал вздрагивал, то здесь, то там в темноте раздавались с трудом сдерживаемые рыдания. Когда занавес опускался и вспыхивал свет, заполнявшая партер пролетарская толпа резко оборачивалась взглянуть в глаза зрителям.

У многих глаза были красными, у многих по лицу текли слезы. Из партера доносились громкие оскорбления и угрозы: “Ах, ты плачешь, да? Плачешь по своему царю? Ха! Ха! Ха!” — по театру пробежал злобный смех.

— В котором из персонажей твоей пьесы спрятан Христос? — спрашивал я у Булгакова. — Кого из персонажей зовут Христом?

— В моей пьесе у Христа нет имени, — отвечал Булгаков дрожащим от страха голосом, — нынче в России Христос — никчемный персонаж. В России ни к чему быть христианами. Христос нам больше не нужен.

— Ты боишься назвать мне его имя, — говорил я, — ты боишься Христа.

— Да, я боюсь Христа, — тихо отвечал Булгаков, глядя на меня с испугом.

— Вы все боитесь Христа, — говорил я Булгакову, с силой сжимая ему запястье, — но отчего вы боитесь Христа?

Булгакова я любил. Любил с того дня, когда я увидел, как он тихонько плачет, сидя на лавочке на площади Революции, а перед ним течет московская толпа — нищая, оборванная, бледная, грязная толпа, люди с мокрыми от пота лицами, влажными и мягкими лицами моллюсков. Высоко над крышами, в небе цвета старинного серебра, как оклад на иконе, вставала бледная, безжизненная луна, которая напоминала и бледное сияние лика Богородицы, и поднимающееся из прозрачных глубоких вод лицо утопленника. У проходивших перед Булгаковым людей были такие же серые, бесформенные лица, потухшие, водянистые глаза, как у монахов, отшельников, нищих, толпящихся на иконах за Богородицей. <...>

— Христос нас ненавидит, — негромко повторял Булгаков.

Стояли пасхальные дни, однако колокола молчали. На колокольнях тысяч московских церквей колокола висели молча, свесив распухшие языки, словно вывешенные вялиться на солнце коровьи головы. На белом с зелеными и голубыми прожилками небе, которое уже пошло трещинами, словно льдина на первом теплом весеннем ветерке, постепенно открывалось огромное зеленое око весны. Я шагал рядом с Булгаковым и чувствовал этот взгляд, пристальный взгляд большого зеленого ока, которое постепенно открывалось на небе, чувствовал, что на меня смотрит весна, ощущал затылком ее горячее коровье дыхание.

Небо над Москвой было не похоже на небо на старинных иконах Симона Ушакова из церкви Грузинской Божьей Матери\* — где морщинистые, похожие на стариков ангелочки толпятся вокруг Христа, у которого осунувшееся, одеревенелое лицо. Спаситель Ушакова напоминает испанских Христов с человеческими волосами и бородой, с настоящими человеческими зубами, с человеческими ногтями на деревянных пальцах, со стеклянными, блестящими, словно человеческие, глазами. Московское небо не похоже на зеленое небо древних народных икон, где красные и желтые ангелы порхают вокруг желтого солнца, у которого, как у человеческого глаза, есть ресницы. Зато оно напоминает весеннее небо Шагала, когда теплое дуновение весны постепенно растапливает стеклянный, ледяной зимний воздух вокруг домов, деревьев, животных. Над Москвой-рекой, на Поклонной горе, на Воробьевых горах небо превращается в пейзаж с белыми облаками и зеленой травой, с лазурными коровами, осликами-скрипачами, лошадьми с огромными, косыми, распахнутыми до самого горизонта глазами: горячее дыхание коровы-весны освобождало из стеклянного плена дома, деревья, холмы,

животных, застывших в холодном сверкающем воздухе, как застывает во льду рыба.

Высоко над куполами собора Василия Блаженного нагой Христос, разливая вокруг себя то же бледное сияние, что исходит от раков в прозрачной воде весенних ручьев, медленно поднимался на небеса, шевеля бледными жабрами, словно спаривающийся рак. Это был Христос русской Пасхи, добрый и нежный, с хрупким панцирем, который на иконописном портрете митрополита Алексия в церкви Николая Чудотворца в Хамовниках<sup>1</sup> медленно поднимается из зеленых небесных вод над башнями Кремля. Это был Христос-рак, окруженный зелеными рыбами с человеческими лицами, как на древних иконах в церкви Преображения Господня в Новодевичьем монастыре. Запах воды, травы, рыбы — запах русской весны — придавал сладость воздуху на площадях и улицах Красной Пресни, Хамовников, Дорогомилова, Замоскворечья.

Деревья уже были усыпаны нежными зелеными листочками, которые робко шелестели, смеясь и перешептываясь на поднимавшемся с реки теплом ветру. В сладковатом воздухе раздавались резкие, хрупкие крики, женский смех, долгие стоны, жужжанье пчел, пронзительные вздохи скрипок, шуршанье голых ног в траве, голоса, оклики и отзывы на ленивом, певучем простонародном московском говоре; внезапно заводила свою беспощадную песнь гармонь, врываясь, словно вспыхивающие алым губы, словно ломтик арбуза в пейзаже Брака или Пикассо, в похоронную процессию, идущую за молодой еврейкой, что лежит, улыбаясь, в крашеном черном гробу в объятиях жениха. На

1 В храме Николы в Хамовниках один из приделов освящен во имя митрополита Московского Алексия. (Примеч. науч. ред.)

крышах, на балконах, на подоконниках сидели, свесив ноги в пустоту, парочки рыжеволосых влюбленных и смеялись, лущая семечки и сплевывая черную шелуху в воздух цвета арбузной мякоти. На дальнем конце улицы шумно взрывались свадебные торжества, с яростным звоном колокольчиков галопом проносились коляски, запряженные белыми, зелеными, желтыми, красными лошадьми. Стаи голубей летали, оглушительно хлопая крыльями, вокруг куполов собора Василия Блаженного, собора Христа Спасителя, Сухаревской башни, зубчатых стен Кремля.

Из громкоговорителей, висящих на электрических столбах перед воротами церквей, громко раздавался густой голос Демьяна Бедного, главы Союза безбожников и автора Евангелия от Демьяна\*, в котором рассказана история некоего Христа, родившегося в доме терпимости у молодой проститутки по имени Мария: “Товарищи! Христос — контрреволюционер, враг пролетариата, саботажник, грязный троцкист, продавшийся международному капитализму! Ха! Ха! Ха!” На стене рядом с часовней Иверской Божией Матери, стоящей на входе на Красную площадь, под крупной надписью “Религия — опиум для народа” болталось повешенное пугало в терновом венце, похожее на Христа, на груди — табличка: “Шпион и предатель народа”. Густой голос Демьяна Бедного вопил из громкоговорителя на колонне Большого театра, на площади Свердлова: “Христос не воскрес! Христос не воскрес! Когда он возносился на небеса, его сбила славная красная авиация. Ха! Ха! Ха!” Хриплый смех Демьяна Бедного отдавался, словно удар хлыстом, от стен Китай-города. В трамваях молодые рабочие с издевкой показывали руками на небо и кричали: “Вон он, вон он! Дядите, летит!” Люди поднимали глаза, вглядывались в небо, многие говорили: “Наплевать!”

В универмагах на огромных подносах стояли круглые, обложенные льдом чаши со свежей икрой — от них пахло смолой и илом, как пахнет от крупных русских рек. Свежая икра — серовато-розовая, почти что крем из масла и крови, почти что гора склизких окровавленных жемчужин. Юные продавщицы погружали в икру широкие деревянные ложки, и вокруг разливался сладковатый запах крови. “Товарищи! — выкрикивал голос Демьяна Бедного из громкоговорителя на фасаде московского Дворца Советов на Советской площади. — Товарищи! Сегодня утром в переулке, неподалеку от Болотной площади, в Замоскворечье, обнаружен труп шестилетней девочки, которую лишили невинности и задушили. Убийцу, заявившего, что он Христос, задержали, когда он пытался подняться на небеса. Ха! Ха! Ха!” Я думал о свежей икре, о креме из масла и крови, о горе склизких окровавленных жемчужин, о белых фартуках продавщиц, напоминающих фартуки няnek. Пробегавшие стайками мимо девчонки говорили: “Христос воскрес!” — и хохотали, глядя на меня с вызовом. Демьян Бедный тоже хохотал: “Ха! Ха! Ха!”, и его грубый хриплый смех перелетал от одного громкоговорителя к другому, с одной улицы на другую, с одной площади на другую по всему городу.

Женщины на тротуарах Тверской и Покровки казались одеты в “мягчайшие и тончайшие хитоны, словно из луковой шелухи”, как хитон Одиссея, когда он покидает поле кровавой битвы у Трои<sup>1</sup>. От них шел сладкий и крепкий запах лука, голые руки и ноги легко шелесте-

<sup>1</sup> “Хитон, я заметил, носил он из чудной / Ткани, как пленка, с головки сушеного снятая лука, / Тонкой и светлой, как яркое солнце; все женщины, видя / Эту чудесную ткань, удивлялись ей несказанно”. (Гомер. “Одиссея”. Перевод В. Жуковского.) (Примеч. науч. ред.)



ли шелком, как шелестит луковая шелуха. Я шагал рядом с Булгаковым и чувствовал, что на меня смотрит зеленое око весны, чувствовал затылком горячее дыхание коровы-весны и то и дело оборачивался.

— Ты зачем оборачиваешься? — спрашивал Булгаков. — Неужели надеешься увидеть, что сзади кто-то плачет?

Небо сияло зеленью, словно луг. Трава все шире разрасталась на изогнутом небесном лугу, нежное сияние травы отражалось от стен, от окон домов, от камней мостовой, от лиц людей. Москва постепенно приобретала красивый зеленый цвет старинной меди, поросшего плесенью дерева — цвет русской весны, цвет икон в криптах древних монастырей, цвет серебряных самоваров в полумраке комнат, цвет копыт лошадей, пасущихся на лугах вдоль Москвы-реки, цвет прудов на окраине города — Красной Пресне, красивый зеленый цвет — цвет колокольного звона на русскую Пасху. Но колокола молчали. Воздух наполняли ясные, сияющие взгляды, женский смех, шелест луковой шелухи и долгий стон, напоминающий переливчатый свист камыша на ветру, — потаенный голос русской весны. “Наплевать”, — твердил я про себя и сплевывал.

— Ты зачем оборачиваешься? — спрашивал Булгаков.

Я то и дело оборачивался и вглядывался в красные глаза толпы, в красные глаза на влажных и мягких лицах моллюсков.

## IV

Однажды воскресным утром я отправился с Булгаковым на блошинный рынок, который располагался на Смоленском бульваре\*. Каждое воскресенье на его тротуарах собиралась уцелевшая московская знать, милые, нищие призраки аристократии, чтобы продать иностранным дипломатам или тем, кто разбогател на революции — нэпманам, спекулянтам, новой марксистской знати, женам, дочерям, любовницам новых русских бояр, — свои жалкие сокровища: последнюю табакерку, последнее кольцо, последнюю икону, серебряный медальон, расческу, у которой не хватало нескольких зубчиков, дырявую и полинявшую шелковую шаль, ношенные перчатки, казачий кинжал, старую обувь, серебряные браслеты, русский и немецкий фарфор, старые турецкие сабли, французские книжки в обложках с гербами, старые, романтические женские шляпки времен Анны Карениной — с пышными перьями, нелепые, наивные, кажущиеся совсем не к месту. Сидя на раскладных табуретках на аллее, тянущейся посередине Смоленского

бульвара, или стоя под зелеными деревьями у края тротуара, печальные призраки часами беседовали между собой, подробно обсуждая события каждого дня и каждого часа своей жизни: свадьбу, траур, развод, помолвку, деньги, самоубийства, интриги, скандалы, сплетни, словно они сидели в гостинной построенного по проекту Бове неоклассического особняка в Белом городе в волшебные годы своей юности, своей славы, своего счастья. Они болтали друг с другом на французском мадам Дюдеффан<sup>1</sup> с легким московским акцентом графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной<sup>2</sup>, ежеминутно кланяясь друг другу, обращаясь то к одному, то к другому, сопровождая беседу изящными движениями рук и головы, словно в танце кукол на сцене придворного театра, и то и дело прерываясь, чтобы громко и жалобно обратиться к прохожим: *“Regardez cette breloque, Monsieur. Un souvenir de Moscou, Monsieur. Un joli souvenir de la Russie, Monsieur”*<sup>3</sup>.

На Арбате мы встретили старика — невысокого, коренастого и в то же время хрупкого, с густыми седыми бакенбардами, который шел, согнувшись, и нес на голове громадное позолоченное кресло. Кресло эпохи Луи-Филиппа, с красной камчатой обивкой, на кресле лежала старинная английская шляпа черного цвета, с узкими, загнутыми вверх полями, времен Эдуарда VII, вызывающая в памяти стиль Бата<sup>4</sup>. Приверженностью шляпам эпохи Эдуарда VII и, пожалуй, только этим царская Рос-

1 Мари Дюдеффан (1697–1780) — хозяйка парижского салона философов, состояла в переписке с Вольтером.

2 Софья Ростопчина (в замуж. графиня де Сегюр, 1799–1874) — автор книг для детей.

3 Взгляните на этот брелок, месье! Сувенир из Москвы, месье. Милый сувенир из Москвы, месье. (фр.)

4 Город в Англии, знаменитый курорт. В XVIII–XIX вв. здесь собиралось аристократическое общество.

сия выдавала смутное предчувствие скорого конца. Человек с креслом на голове напоминал одну из старух из “Капричос” Гойи, которые тоже несут стулья на голове. Булгаков подошел к нему и поздоровался — сердечно, но без фамильярности. “*Bonjour, bonjour*”<sup>1</sup>, — ответил старик резким ехидным голосом. Это был князь Львов, последний председатель Государственной думы в 1917 году.\* Лицо старика блестело от пота — видно было, что он изнурен тяжкими усилиями. Он поставил кресло на тротуар и со вздохом опустился в него, вытирая лоб грязным платком. Старик сообщил, что направляется на Смоленский бульвар, потому что уверен: наконец-то он продаст кресло. “Позолоченные кресла опять входят в моду”, — сказал он. Дома у него осталось еще пять кресел: настоящее сокровище, прибавил он, благодаря которому можно протянуть еще пару лет. “А потом видно будет! Хи! Хи! Хи!” — смеялся он, прикрывая глаза и подергивая плечами, согнувшись, словно в приступе кашля.

Вдруг он открыл глаза и, обратившись ко мне, спросил, знаком ли я с \*\*\*, который незадолго до революции был послом Италии в Петербурге. Он говорил со мной, улыбаясь, называл меня “*jeune homme*”<sup>2</sup> и удивленно разглядывал мои ботинки, костюм, шляпу. “А что, в Европе все одеваются, как вы? Странная манера. Видать, ваши портные совсем голову потеряли. В мое время...” — и он принялся пересчитывать пуговицы у меня на пиджаке, удивляясь, что пуговиц всего три. Затем пересчитал пуговицы на собственном пиджаке и объявил:

— Четыре! Это непреложное правило, *jeune homme*! Даже коммунистическая революция не сумела оторвать у меня с пиджака четвертую пуговицу.

1 Добрый день! (фр.)

2 Молодой человек (фр.).

Он презрительно покачивал головой, разглядывая мои ботинки на толстой подошве и низком каблуке, со шнурками из тонких полос кожи, и вскоре с победным видом заявил, что не променяет свою обувь на мою за все сокровища в мире. На нем были черные сапожки с боковой застежкой на пуговицах, стоптанные и рваные.

— Вы знакомы с полковником Марсенго? — спросил он меня.

Полковник Марсенго незадолго до революции был в Петербурге военным атташе. Князь Львов удивился, что я с ним не знаком. “Он так замечательно пел, — сказал он, — подыгрывал себе на гитаре, как настоящий цыган. *C’était un homme délicieux, un homme tout à fait charmant*”<sup>3</sup>. Прохожие бросали рассеянные взгляды на старика, развалившегося в позолоченном кресле посреди тротуара Арбата — одной из самых оживленных улиц Москвы. Старушка в линялой и рваной зеленой блузке и длинной белой юбке с потрепанным подолом, лицо закрыто соломенной широкополой шляпой, какие носила Мария-Антуанетта, но без ленты и с неровными краями, напоминающей шляпу садовника, остановилась напротив него и по-своему окликнула по имени, помахивая рукой в черной перчатке до локтя. “*Bonjour, bonjour!*” — воскликнул князь Львов, вскакивая с юношеской прытью, снимая шляпу и глубоко кланяясь. “Бедняжка! — сказал он с жалостью и пренебрежением, когда старушка ушла, растворившись в толпе. — Бедняжка! *Elle est un peu toquée!*”<sup>4</sup> Думает, что царь еще жив!” — и он расхохотался, скаля крупные желтые зубы. “Вы с ней не знакомы? Это княгиня Голицына. Торгует сигаретами у гостиницы «Метрополь»”. Он вздохнул,

3 Превосходный, совершенно очаровательный человек (фр.).

4 Она немного свихнулась (фр.).

вновь уселся в кресло нога на ногу и спросил, умный ли человек итальянский посол в Москве Черрути. Я ответил, что, вне всякого сомнения, Черрути — лучший из наших послов. “*J'en suis heureux*<sup>1</sup>, — сказал он, — в мое время иностранные послы...” Внезапно он осекся, посмотрел по сторонам и, покачивая головой, сказал, что очень жалеет о том, что они не могут познакомиться лично, что для советских граждан чрезвычайно опасно приближаться к иностранным дипломатам. “*Oui, jeune homme*, — добавил он тише, — *en Russie on a peur. Nous avons tous peur*”<sup>2</sup>. Он оглянулся с беспокойством, снял шляпу, внимательно ее рассмотрел, вертя в руках, потом опять надел на голову и спросил, который час. Было десять. “*Jolie montre*<sup>3</sup>, — сказал он, хватая меня за руку и внимательно разглядывая часы у меня на запястье. Он трогал их пальцем, постукивал ногтем по стеклу, надувая губы и задерживая дыхание, как ребенок. Глаза под насупленными бровями внезапно заблестели, словно наполнившись слезами. Мне захотелось спросить его, не обменяет ли он кресло на мои часы, мне хотелось унижить его, я был уверен, что для него это будет страшное, горькое унижение, предложи я часы в обмен на кресло. “Хотите...” — начал я, но замолчал, кусая губы. Я отвернулся, чтобы не видеть, как старый князь Львов, последний председатель Государственной думы, восседая в позолоченном кресле в позолоченном, украшенном лепниной просторном зале Думы, поднимает белую, мягкую, слабую руку и поглаживает густые седые бакенбарды, пока Ленин с балкона дворца балерины Кшесинской призывает народ повесить всех, кто сидит

1 Я этому рад (фр.).

2 Да, молодой человек, в России людям страшно. Нам всем страшно (фр.).

3 Милые часы (фр.).

в позолоченных креслах в Думе, в Сенате, в Адмиралтействе, в Зимнем дворце, повесить всех, кто сидит в позолоченных креслах во всей России, в Европе и в целом мире.

Вдруг Львов откинулся в кресле и захохотал. *“Ridicule, tout à fait ridicule! —* повторял он, задыхаясь от смеха. *— Est-ce que vous me voyez avec ça? Avec cette montre à la poignée? Ah! Ah! Ah! ridicule! Un signe des temps! On a vraiment perdu la tête, en Europe... Pouvez-vous imaginer una chose pareille, chez nous, en Russie soviétique?”*<sup>4</sup> На этом он умолк и стал испуганно оглядываться вокруг, провожая глазами то случайного прохожего, то со скрежетом несущийся по путям на противоположной стороне Арбата трамвай (4-й трамвай, который идет в Дорогомилово), то перебегающего дорогу парнишку; наконец он испуганно уставился на рабочего, который быстро шагал в нашу сторону. “Десять! — сказал Львов, словно вспомнив о том, что его тревожит, — десять!” — он резко вскочил и нагнулся, чтобы ухватить кресло обеими руками. Я предложил помощь и, не дожидаясь ответа, поднял кресло и водрузил себе на голову. *“Doucement, jeune homme, doucement”*<sup>5</sup>, — повторял Львов, странно глядя на меня. Не поднимая головы, он направился к Смоленскому бульвару.

Я шел чуть позади и на ходу разглядывал сторбленного старика с густыми седыми бакенбардами, в сдвинутой на затылок шляпе, шагавшего, сложив руки за спиной, слегка подпрыгивая и словно заваливаясь на одну сторону, как ходят хромые. Он то и дело оборачи-

4 Смешно, совсем смешно! Неужели Вы думаете, что я могу их носить? Носить такие часы на запястье? Ха! Ха! Ха! Как смешно! Вот так знамение времени! Вы в Европе и правда совсем голову потеряли... Разве можно вообразить нечто подобное у нас, в советской России? (фр.)

5 Осторожно, молодой человек, осторожно (фр.).

вался, повторял по-французски: "*Doucement, jeune homme, doucement!*" — и сердито тряс головой. Этот шедший впереди прыгающий старик раздражал. Меня злило (злиться было несправедливо и подло, кто, как не я, понимал это?) то, что в каком-то едва уловимом, нехорошем, смутно ощущаемом смысле граф и кресло являлись соучастниками. В России вновь наступала эпоха кресел, и уж, конечно, не по вине князя Львова. На картине пролетарской революции позолоченные кресла вновь становились необходимыми, приобретали не только декоративную, но и моральную ценность, были столько же нужны для придания достоинства картине коммунистической жизни, сколько были нужны для придания достоинства картине старого режима. Времена, когда позолоченные кресла вызывали презрение, ненависть, ярость советского народа, прошли: возвращалось время уважения и восхищения ими как предметом национальной гордости. Фабрики, машины, доменные печи, прокатные станы, электростанции пятилетки постепенно бледнели рядом со старорежимными позолоченными креслами. Я злился на князя Львова, потому что воспринимал его кресло эпохи Луи-Филиппа как обман, как коварное искушение, как злые козни. Вся Советская Россия казалась мне теперь призраком гигантского кресла, одиноко возвышающегося на фоне убогого пейзажа коммунистической революции с зубчатыми колесами и дымящимися трубами. Мне чудилось, будто в этом гигантском кресле восседает крохотная мумия ребенка со светящимся фарфоровым личиком, с изгрызенными мышами левым ухом.

Князь Львов обернулся и спросил, не был ли я знаком в Риме со старой княгиней Д.<sup>1</sup> Я ответил, что, разу-



меется, с ней знаком. “Почему «разумеется»? — поинтересовался Львов с сердитым видом. — *La Princesse D. n'est pas une femme que l'on connaît naturellement*”<sup>2</sup>.

— Княгиня Д. — прелестная женщина, — ответил я с улыбкой.

— *Vous voulez dire un vieux chateau*, — сказал Львов.

— *Oui, naturellement, un vieux chateau*<sup>3</sup>.

— Ха! Ха! Ха! — с победным видом расхохотался князь Львов, хлопая в ладоши и подпрыгивая на своих коротеньких ножках. — *Un vieux chateau! Voilà! Voilà!* Вот во что превращаются в Европе! Не только у нас! Не только в России! — И, вперив в меня горящие злой радостью глаза, прибавил: — *Tous des vieux chateaux, en Russie, des vieux chateaux comme en Europe, comme partout!*<sup>4</sup> Как вы думаете, во что превратятся Семенова, Егорова, Буденная, Бубнова, Луначарская, все красавицы Советской России? *Des vieux chateaux comme la Princesse D., des vieux chateaux elles aussi, comme tout le monde! Ah! ah! ah! Et Staline? Un vieux chateau comme moi, lui aussi, un vieux chateau comme tout le monde, ah! ah! ah!*<sup>5</sup> — Он хохотал, топая ногами, и мотал головой, фырча, словно кот. — Что вы на меня так смотрите? — вдруг спросил он, перестав смеяться.

Я ответил, что пытаюсь вспомнить, на кого он похож.

— Ах да, на князя Адама Чарторыйского<sup>6</sup>.

2 Княгиня Д. не из тех женщин, знакомство с которой является чем-то само собой разумеющимся (фр.).

3 Вы хотите сказать “старая дура”. — Да, разумеется, старая дура. (фр.)

4 В России все они превращаются в старых дур, как в Европе, как и повсюду! (фр.)

5 Старые дуры, как княгиня Д., все они — старые дуры, как и все на свете! Ха! Ха! Ха! А Сталин? Старый дурак, как и я, старый дурак, как все на свете. Ха! Ха! Ха! (фр.)

6 Адам Чарторыйский (1770–1861) — русский и польский государственный деятель, министр иностранных дел Российской империи; после восстания 1830–1831 гг. эмигрировал, проживал во Франции.

— *À ce vieux drôle?*<sup>1</sup> Странно, — сказал князь Львов, словно ему было диковинно и прискорбно это слышать, — очень странно... Впервые слышу. — Он глядел на меня с тоскливой ненавистью, покачивая головой.

— *On ressemble toujours à quelqu'un*<sup>2</sup>, — сказал Булгаков, словно желая его утешить.

— *Pas chez nous, en Russie*, — ответил князь Львов, сердито оборачиваясь к Булгакову, — *pas chez nous*. — И он пошагал дальше, то и дело повторяя: — *Ce pauvre Adam! Quelle idée*<sup>3</sup>.

Когда мы свернули на Смоленский бульвар, мне почудилось, будто я попал в парижский салон княгини Марии Дмитриевны Т., на прием для тех, кто хранит верность царизму. На обрамленной зелеными деревьями аллее было собрано все, что еще оставалось в Москве от старорежимной знати. Разложив на грязных полотенцах, прямо на земле, свои жалкие сокровища, безо всякого стыда и сожаления, с нахальной ребяческой гордостью и наглостью восседали на раскладных табуретах пожилые дамы в порванных и полинялых платьях, в белых, зеленых, желтых блузах с пышными рукавами и высокими кружевными воротничками на китовом усе, на лоб падала тень грустных шляпок, казавшихся из-за перьев и искусственных цветов больше, чем на самом деле. Дамы болтали между собой по-французски с едва заметным налетом взаимного презрения, взаимной обиды, читавшимся в повороте головы, в жестах, в улыбках. На них были длинные и очень широкие юбки, на шее — всклоченные полысевшие боа, лица закрывала плотная, спешно, но аккуратно заштопанная вуаль, под которой, словно за запотевшим стеклом, вид-

1 На этого чудного старика? (фр.)

2 Мы все на кого-то похожи (фр.).

3 У нас в России — нет. Бедный Адам! Что за дикая мысль (фр.).

нелись раскрывающиеся и закрывающиеся рты, тревожные, подозрительные глазки. Здесь, под этими зелеными деревьями, под высоким белым московским небом, которое, как у блондинок, усыпано рыжими веснушками, на фоне пейзажа с древними монастырями и гигантскими зданиями из стекла и бетона, французский звучал, как тот мертвый язык, каковым современный читатель воспринимает французский героев “Войны и мира”. Внезапно, со смутной тревогой, ты понимал, что Маркс никогда бы не написал “Капитал” на этом изысканном и усталом языке, полном грамматических ошибок и устаревших слов. Злорадство, подозрительность, обида, недоверие, зависть, старческая жестокость превращали французский в нечто трогательно древнее и прекрасное, в драгоценный нечеловеческий, бестелесный, далекий язык — восхитительно абстрактный и прозрачный, полный усталой и сладостной греческой мелодии александрийского стиха, что звучит из уст Андре Шенье в “Юной пленнице” или из уст Шатобриана, этого Пруста, двигавшегося “по направлению к Германтам”, чья печальная грация сохраняла, словно последнее воспоминание, гордый вкус смерти. Под деревьями собирались стайки по большей части пожилых мужчин с большими картонными коробками, которые висели на шее и покачивались перед животом, в них были аккуратно разложены некрупные предметы: трубки, табакерки из слоновой кости, бритвы, кольца, галстуки из выцветшего шелка; жесты, горделивые движения головы и плеч выдавали в продавцах царских офицеров или важных чиновников. Эти люди в униформе без погон, в казацких кафтанах с широкими рукавами, в белых парусиновых пиджаках обращались к пожилым дамам, жеманно кланяясь, нарочито вежливо, с почтением, называя их по имени и подчеркивая тем са-

мым близкое знакомство, это смягчало ощущение общей нищеты и общих страданий. Легкий, теплый, прозрачный ветерок, в котором, словно в ясном ручейке, отражались дома, деревья, люди, пролетал по бульвару, увлекая в свой поток образы и звуки, дрожь и шепот зеленой листвы, людские голоса, напоминавший крики ласточек скрип бегущих по рельсам трамвайных колес, щебетание птиц в кронах деревьев.

У входа на Смоленский бульвар князь Львов склонился в глубоком поклоне, снял шляпу, широко взмахнув рукой, и, громко повторяя *"bonjour, bonjour"*, принялся водить глазами, словно высматривая хозяйку дома. Пожилые дамы отвечали ему, улыбаясь и склоняя голову, изящно помахивали ручкой, пронзительно выкрикивали: *"Vous voilà enfin, cher Prince"*<sup>1</sup>; мужчины отвечали на приветствие, кланяясь и говоря в свою очередь *"bonjour, bonjour"*. Я тоже поклонился, придерживая обеими руками позолоченное кресло, которое по-прежнему нес на голове. Поклонился и улыбнулся, громко сказав по-итальянски (не из осторожности, чтобы никто не понял этих слов, а потому, что эти слова сложились у меня на губах на родном языке): *"Andate al diavolo, andate tutti al diavolo!"*<sup>2</sup> Мне было стыдно, но я не смог удержаться и не произнести их. Я больше стыдился их звучания, чем смысла, мне казалось, будто они полны сострадания и уважения. Мы ответственны не за то, как звучат наши слова, а за то, какой они несут смысл. В это мгновение я не сумел найти слов, которые вернее выразили бы жалость и симпатию. *"Andate tutti al diavolo!"* — повторил я громко и замер посреди улицы, придерживая на голове кресло.

1 А вот наконец-то и вы, милый князь! (фр.)

2 Идите к черту, идите все к черту! (итал.)

Вдруг на углу, под большим зеленым деревом, я заметил еще молодую, красивую женщину в выцветшей помятой форме Красного Креста. Она стояла, неподвижная и суровая: держа руки перед собой, словно благочестивая Вероника<sup>3</sup>, она показывала женские трусы из белого шелка с кружевной оборкой и пожелтевшими лентами. Увидев ее, я покраснел. Я не мог отвести глаз от этой Вероники, от шелковых трусов, висевших на тощих смуглых руках, как на железных крюках. “*Vai al diavolo, vai al diavolo anche tu!*”<sup>4</sup> — громко сказал я по-итальянски, дрожа от стыда и возмущения, потому что мне казалось верхом позора, что женщина публично торгует своими трусами. Мне казалось верхом подлости (не подлости этой женщины, вовсе нет, а подлости всех нас, включая меня, Булгакова, князя Львова, всей России, всей Европы), что еще молодая, еще красивая женщина вынуждена торговать своим трусами публично, на улице. “Наплевать”, — сказал я про себя и, повернувшись спиной к Веронике, поставил кресло на тротуар.

— *Merci, vous êtes bien aimable*<sup>5</sup>, — сказал мне князь Львов, разваливаясь в своем позолоченном кресле. Он снял шляпу и протирал ладонью кожаную ленту в основании тульи. Внезапно он поднял лицо и с яростью уставился на меня. — Что вы улыбаетесь? — спросил он. — Уж не находите ли вы меня смешным? Уж не находите ли вы, что кресло в Советской России — смешной и бесполезный предмет? Ленин-то умер в кресле.

Я рассмеялся.

— Вы правы, — ответил я, — Ленин умер в кресле.

3 Вероника — святая, с которой связано чудесное явление Спаса Нерукотворного. (Примеч. науч. ред.)

4 И ты иди к черту! (итал.)

5 Спасибо, вы очень любезны (фр.).

— Вы бывали в Горках?\* — поинтересовался князь Львов. — Вы видели кресло, в котором умер Ленин?

— Да, я бывал в Горках и видел его кресло, — ответил я.

— Помните его? — спросил князь Львов. — Старое домашнее кресло, какие имелись в доме у каждого русского буржуа. С выцветшей, рваной обивкой, с засаленными спинкой и подлокотниками. Конечно, не такое, как это кресло. Ленин умер слишком рано. Умер в буржуазном кресле, словно герой Золя. Потерпи он еще несколько лет, он бы умер, как герой Бальзака, в кресле Луи-Филиппа.

— Мне больше нравится то, что Ленин умер в старом буржуазном кресле с выцветшей, рваной обивкой, — сказал я.

— Не каждому дано умереть в позолоченном кресле, — сказал князь Львов, вытирая лоб грязным платком. — Хе! Хе! *Jeune homme!* Скажу вам, что позолоченные кресла вновь входят в моду. Вскоре все герои революции захотят сидеть в таких креслах. Вечно одно и то же!

Удивительно, насколько старой была его рука. Старше лба, рта, носа, бледных и впалых щек, покрытых паутиной кровеносных сосудов и лиловыми морщинами. Маленькая дряхлая ручка, смуглая и волосатая, двигалась по лицу, словно огромный паук по паутине.

Меня раздражало, что он все время твердил о своем кресле. Я отвернулся, чтобы скрыть досаду, которую вызывали у меня его слова и ехидное самодовольство, и увидел перед собой застывшую на краю тротуара женщину, державшую руки, как Вероника.

Женщина взглянула на меня и улыбнулась. Я покраснел и опустил глаза, чтобы не смотреть на ее тусклые волосы.

— *Cinquante roubles, Monsieur!*<sup>1</sup> — тихо сказала женщина.

Я ответил:

— *Trop cher, cinquante roubles*<sup>2</sup>.

— *Non, ce n'est pas cher*<sup>3</sup>, — возразила Вероника, делая шаг вперед, — они не новые, но еще в хорошем состоянии. Выгодная покупка. За эту цену вы не найдете других таких во всей Москве. *Regardez-les de près, Monsieur*<sup>4</sup>.

— Я иностранец, — ответил я, — мне не нравится быть иностранцем в Москве.

— Это не дорого, — сказала женщина, делая еще один шаг, — *cinquante roubles ce n'est rien, avec le change. Pour un étranger ce n'est pas cher. Regardez-les de près, Monsieur*<sup>5</sup>, — с этими словами она поднесла трусы к моему лицу.

Трусы пахли старой пыльной тканью. Я отступил на шаг и сказал с улыбкой:

— Москва — благородный город. В Москве все благородно. Жаль, что в этом чудесном городе я иностранец.

— *Touchez l'étoffe, Monsieur. C'est de la vraie soie*, — проговорила Вероника, — *c'est pas du tout cher, pour cinquante roubles*<sup>6</sup>.

То, что она говорила только о своих трусах, огорчало и унижало меня. Мне хотелось сменить тему, незаметно подтолкнуть ее завести речь о другом, но я не знал, как быть, у меня не получалось отвлечь ее от трусов, да и сам я был словно зачарован этим трусами, не мог думать ни о чем другом. Я чувствовал, что краснею от стыда и унижения, думая, что эта женщина вынуждена, в том числе по моей вине, а возможно, только по моей вине, торговать трусами прямо на улице. У нее было

2 Пятьдесят рублей слишком дорого (фр.).

3 Нет, не дорого (фр.).

4 Рассмотрите их поближе, месье! (фр.)

5 Пятьдесят рублей — это не дорого при таком обменном курсе. Для иностранца это не дорого. Рассмотрите их поближе, месье! (фр.)

6 Пощупайте ткань, месье! Настоящий шелк. Пятьдесят рублей — это вовсе не дорого (фр.).

увядшее лицо, под глазами темные круги, но она была еще красива, еще молода. Ее красота, которую усталый и увядший вид делал еще драгоценнее, оскорбляла меня, словно проявление бесстыдства, словно не деликатность.

— *Achetez-les, Monsieur*<sup>1</sup>, — сказала женщина, униженно улыбаясь.

— Нет, — ответил я, — я не стану покупать ваши трусы.

Я отвернулся. Чтобы упереться коленями в позолоченное кресло, в котором восседал князь Львов, потребовались три шага: ноги отяжелели, я с огромным усилием отрывал их от земли; казалось, будто я тащу на спине тяжелые каменные трусы.

Я резко обернулся и прибавил:

— Даже за тридцать рублей.

— *Trente roubles*, — проговорила женщина, — *achetez-les pour trente roubles*<sup>2</sup>.

Сойдя с тротуара и приблизившись ко мне с вытянутыми руками, она с улыбкой вложила мне в руки свои несчастные трусы. Я почувствовал, что бледнею, что становлюсь белый как мертвец. Я стоял, держа в руках трусы, перед улыбавшейся мне женщиной, и дрожал.

— *Allez-vous en, allez-vous en*<sup>3</sup>, — пробормотал я сквозь зубы. Я дрожал от стыда. Мне казалось, будто женщина, которая стоит передо мной, голая, совсем голая, с головы до пят. Я не мог ей дать ни пятьдесят, ни тридцать рублей, не мог дать ни копейки. У меня не было права дать ей даже копейку. Не было права давать деньги стоящей посреди улицы голой женщине.

1 Купите их, месье! (фр.)

2 Тридцать рублей. Купите их за тридцать рублей! (фр.)

3 Идите, идите! (фр.)



— *Prenez vos culottes*, — пробормотал я сквозь зубы, — *et allez-vous en, vous comprenez? Allez-vous en!*<sup>4</sup> — закричал я дрожащим от стыда голосом.

Женщина взяла трусы, которые я ей протянул.

— *Je vous demande pardon, Monsieur*<sup>5</sup>, — сказала она.

Теперь она стояла передо мной, униженно улыбаясь, но больше не голая. Я вновь заметил, что на ней форма Красного Креста: на груди, на уровне сердца, приколата английская булавка.

Я улыбнулся, достал из кармана сторублевую бумажку и, протянув ей, сказал:

— Вы не отдадите мне булавку? Не отдадите за сто рублей?

— *Non, Monsieur*, — ответила женщина. — *cela ne vaut même pas un kopek. Je ne vous la donnerais même pas pour mille roubles. Je regrette. Vous comprenez, Monsieur?*<sup>6</sup> — Она униженно и ласково улыбалась.

Тогда я отвернулся и ушел, даже не попрощавшись с ней, даже не попрощавшись с князем Львовым. Шел медленно, ноги дрожали.

Булгаков догнал меня на пересечении Смоленского бульвара и Арбата.

— *Pas la peine*, — сказал Булгаков.

— *Pourquoi, pas la peine? De quoi, pas la peine?*<sup>7</sup>

— Не стоит сердиться из-за подобной глупости, — сказал Булгаков, — гордость тут ни при чем.

— Дело не в гордости, а в стыде.

— Все равно, — сказал Булгаков, — *pas la peine d'avoir de la pudeur, pour si peu*<sup>8</sup>.

4 Забирайте ваши трусы и уходите, вы поняли? Уходите! (фр.)

5 Простите меня, месье! (фр.)

6 Нет, месье, она не стоит и копейки. Я не отдам вам ее и за тысячу рублей. Мне очень жаль. Вы понимаете, месье? (фр.)

7 Почему не стоит? Что не стоит? (фр.)

8 Не нужно стыдиться подобной ерунды (фр.).

— Она была голая, — сказал я.

— Да, голая, — ответил Булгаков, — но она знала об этом.

— Нет, она не знала, что голая, — ответил я, — на ней из одежды одна булавка. Без булавки она бы почувствовала себя голой.

— *Quand on a faim on se sent habillé*, — сказал Булгаков. — Голод — одежда бедняков. *On ne se sent jamais nu, quand on a faim*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Голодный человек чувствует себя одетым. Голодный человек никогда не чувствует себя голым. (фр.)

# V

Тем же вечером я отправился на банкет, устроенный Профсоюзом писателей-коммунистов Москвы.\* Во время ужина сотрапезники допрашивали меня через стол с видом судей. Я сидел, словно обвиняемый, перед тарелкой и бокалом, а судьи глядели на меня из-за стола:

— Чем занимаются писатели в вашей проклятой Европе?

Я отвечал:

— Проедают золото Мидаса, купаются в капиталистическом изобилии.

— Ха! Ха! Ха! — хохотали все.

— Простите нас, дорогой Малапарте, это правда, что в Европе писатели разложились до мозга костей?

Я отвечал:

— Правда, священные дети благородных блудниц сгнили и воняют!

— Ха! Ха! Ха! — вопили все сидящие вокруг длинного стола, громко смеясь и испепеляя меня взглядами.

Демьян Бедный, глава Союза воинствующих безбожников, враг Бога, спрашивал меня, придерживая руками толстый трясущийся живот:

— Как живут поэты в Европе? Правда, что их похоронили заживо в капиталистических тюрьмах?

Я отвечал:

— Какие поэты?

— Настоящие поэты, — кричал Демьян Бедный, — пролетарские поэты, воспевающие бедняков, несчастных, отверженных.

Я отвечал:

— В Европе поэты не воспевают бедняков, несчастных, отверженных. Они воспевают то, что всегда воспевали поэты, начиная с Гомера: облака, цветы, женские глаза, соловьев, роковую красоту Елены и сверкающее оружие Ахилла.

— Ах, мерзавцы! — кричал Демьян Бедный.

— Мерзавцы, мерзавцы! — подхватывали сидевшие за столом.

А я отвечал:

— Да, мерзавцы, мерзавцы эти буржуазные поэты, воспевающие Александра, Цезаря и Августа, воспевающие Лесбию и Лауру, дорические колонны и коринфские капители, Венер и Амуров, драгоценности, духи, французские и испанские вина, расписанные золотом и пурпуром трупы королей и королев, нежную древесную листву и сияющий лик Господа.

Все развязно хохотали, похлопывая друг друга по плечу. Я же смотрел на бледное и печальное лицо поэта Маяковского, сидящего на дальнем конце стола.

— А что воспевают поэты в России? — громко спросил я.

Все замолчали. Поднялся высокий худощавый юноша. У него были черные курчавые волосы, высо-

кий белый лоб, широкий рот с тонкими красными губами.

— Мы воспеваем запах резки металла, — сказал он, — запах пота на советских заводах, где полно пьяных от усталости рабочих, воспеваем мозолистые руки, небритые бороды, горящие глаза голых людей, стоящих перед пастью доменной печи. Мы воспеваем пятилетний план, тракторы, механические плуги, молоты, наковальни, кувалды, гений Сталина и развевающиеся на фабричных трубах красные стяги.

— Ха! Ха! Ха! — развязно рассмеялся я. — А еще? А еще? Что еще воспевают поэты в России?

Маяковский поднялся и сказал:

— Мы воспеваем сияющее лицо Ленина, огненных людей, которых Уильям Блейк видел над волнами Атлантики.

— Ха! Ха! Ха! — Демьян Бедный протянул руку к Маяковскому. — А что ты воспевал, путешествуя по Америке? Ты воспевал нью-йоркские небоскребы, чикагских свиней, буксиры на Гудзоне, негров Гарлема! Ха! Ха! Ха!

— Я воспевал небоскребы, которые Ленин незадолго до смерти дрожащей рукой рисовал на больших листах бумаги, — ответил Маяковский.

— Ошибаешься, — крикнул я, — Ленин рисовал громадные Эйфелевы башни!

— Нет, нет, — закричали все, — Ленин рисовал небоскребы!

— Ха! Ха! Ха! — крикнул я. — Значит, и Ленин воспевал и славил Америку? Так вот что воспевают поэты в России: они славят Америку?

— Нет! — крикнул Демьян Бедный, вскочив на ноги. — В Советской России поэты воспевают рабочих, зубчатые колеса, приводные ремни, поршни, горячий

чугун, закаленную сталь, города без Бога, людей без Бога, смерть Бога, тех, кто проклинаяет Бога!

Я смеялся, откидываясь на спинку кресла:

— Что за мерзавцы эти поэты — все поэты, буржуазные и пролетарские, Гомер и Вергилий, Данте и Петрарка, Шекспир и Расин, Блок и Сергей Есенин, и ты, Демьян Бедный, и ты, Маяковский, и ты... — я посмотрел на сидящего напротив молодого поэта, — и ты... как тебя зовут?

Юноша взглянул на меня и ответил:

— Иван Коровий\*.

— Ты тоже мерзавец, Иван Коровий, все поэты — мерзавцы, все буржуазные поэты, которые не воспевают пятилетний план, голых людей, стоящих перед пастью доменной печи, развевающиеся на фабричных трубах красные стяги, пролетарские поэты — мерзавцы, и вы, поэты ленинской России — мерзавцы, вы не воспеваете облака, цветы, соловьев, драгоценности, роковую красоту Елены и копье Ахилла, шикарные автомобили и алые губы Барбары Хаттон<sup>1</sup>. Все поэты — мерзавцы!

Все вокруг смеялись, испепеляя меня взглядами, а Демьян Бедный поднял бокал:

— За здоровье гнивающей Европы, Европы-проститутки!

Я тоже поднял бокал и крикнул:

— За здоровье гнивающей Европы!

Все засмеялись, а Маяковский пристально и грустно посмотрел на меня с дальнего конца стола.

Когда мы вышли на улицу, уже светало. Мы с Маяковским шагали молча, небо было белое и вдали, над куполами Василия Блаженного, немного помятое: казалось, будто небо из веленовой бумаги. Алые стяги над

кремлевскими башнями бледнели в усталом свете электрических прожекторов, которые мало-помалу гасило нежное, розовое пламя зари. Деревья зеленели, в блестящей от росы листве отражалось белое небо, в девственной весенней зелени пели птицы, и я сказал Маяковскому:

— Послушай, это поэты поют в листве деревьев.

— Уильям Блейк видел сидящих на древесных ветвях ангелов, — ответил Маяковский.

— Замолчи, в России запрещено говорить об ангелах.

— В Европе тоже запрещено говорить об ангелах? — спросил меня Маяковский.

— Да, и в Европе тоже, — ответил я.

Мы шли через Китай-город, наши шаги грустно отдавались от пустынной мостовой. Проходя на Никольской перед церковью Николая Чудотворца, покровителя Святой Руси\*, я сказал:

— Святой Николай — из Бари, из Апулии, это итальянский святой.

— У святых нет родины, — возразил Маяковский.

— Родина святых — пролетариат. Разве родина святых не пролетариат? — сказал я.

— Да, — ответил Маяковский, — их родина — рабство, нищета, голод, грязь, страдания пролетариата, — и он рассмеялся, сплюнув на землю.

— На днях, — сказал я, — я зашел в церквушку на Никольской. Дяди, что мне дал бедный поп! — и я показал ему медальон с образом Николая Чудотворца. — Когда я сказал ему, что я итальянец, он заплакал. Я обещал поехать в Бари и поставить за него свечку на могиле святого покровителя Руси.

— И ты поедешь? — спросил Маяковский с ироничной улыбкой.

— Поеду. Я обещал.

— Надеюсь, за меня на могиле своего Николая Чудотворца ты свечку ставить не будешь, — сказал Маяковский, — я не верю, что святые могут нам помочь. Никто не может помочь другому. Молиться за других, страдать за других, умереть за ближнего — все это бессмысленно, бесполезно. — Он остановился и пристально посмотрел на меня блестящими глазами. — Ты думаешь, я не устал страдать за других, за человечество? Думаешь, человечество что-нибудь выиграет, если я умру ради него? Думаешь, я хочу умереть ради человечества? А ты хочешь умереть ради других? — прокричал он, хватая меня за запястье.

— Нет, я не хочу умирать ради других, — ответил я.

— Значит, ты хочешь умереть ради себя, ради себя самого?

— Нет, я не хочу умереть ради себя, даже ради себя самого. Но я согласился бы умереть ни за что. Ни за что — да. Но за других, ради других или ради себя — нет. Нет, нет, и все. Я не хочу умирать ради кого-то или чего-то.

— Ха! Ха! Ты тоже не хочешь умирать ради кого-то или чего-то, да? — прокричал Маяковский, с силой сжимая мне запястье.

— Ты думаешь, что в Европе, — спросил я, — люди не задаются вопросом, справедливо ли умирать ради других?

— *Tas d'ignobles chrétiens!*<sup>1</sup> — крикнул Маяковский.

— Нам тоже, — сказал я, — надоело жить как стадо гнусных христиан. Надоело страдать за других, умирать за других, за человечество, за родину, за революцию, за пролетариат, за демократию, за свободу, страдать и умирать за благородное и святое дело.

— Вам тоже, да? — крикнул Маяковский, — Отчего бы вам не попробовать умереть ни за что? Вам страшно



умирать ни за что, вот в чем дело, вам страшно, *tas d'ignobles chrétiens!*

Он пристально поглядел на меня горящими глазами, потом повернулся и молча зашагал вперед — немного сутулясь, размахивая руками. Мы оказались на Красной площади, как раз перед Мавзолеем Ленина. На дальнем краю площади из зеленого тумана, окутывавшего берега Москвы-реки, медленно выступали купола Василия Блаженного. У Иверских ворот нам встретились первые группы рабочих, которые шли на работу, другие бежали за трамваями, со скрипом пересекавшими площадь Революции. В розовом утреннем свете сверкали черепичные крыши, желтая, зеленая, красная, лазуревая майолика куполов церквей, стена Китай-города, высокие башни Кремля, латунная ручка двери отеля “Савой”.

У дверей отеля Маяковский протянул мне руку и с улыбкой тихо сказал:

— Все мерзавцы!

Я согласился:

— Все мерзавцы!

Я долго следил за ним глазами, пока он неспешно уходил — высокий, элегантный, немного сутулый, размахивая руками, — а потом пробормотал сквозь зубы:

— И ты мерзавец!

Я смотрел, как он уходит по Пушечной, и сжимал губы, чтобы не окликнуть его, не попросить остановиться, не уходить. Мне хотелось догнать его, положить ему руку на плечо, тихо и ласково сказать: “И ты, Маяковский, мерзавец!”

Несколько дней спустя Марика открыла дверь и объявила, что Маяковский покончил с собой, что он выстрелил себе в рот из пистолета у себя в комнате, на рассвете.

Я сказал:

— Он устал от обязанности страдать ради других.

— Нет, — ответила Марика, — он покончил с собой, потому что не чувствовал себя достойным страдать ради победы коммунизма.

Я сказал:

— Марика, не говори глупости!

— *Maïakowski n'était qu'un sale bourgeois*<sup>1</sup>.

— Не говори глупости, Марика!

— *You pig*, — сказала Марика, — у Маяковского не было права покончить с собой.

— Ты права, Марика, — сказал я, — в России запрещено убивать себя из-за ничего.

— В ленинской России, — сказала Марика, — нет слова “ничего”.

— Возможно, он убил себя, — сказал я, — как раз из-за того, что в России нет слова “ничего”.

— *You pig, you dirty pig*<sup>2</sup>, — сказала Марика.

Днем мы сели в 9-й трамвай и поехали на улицу, пересекающую Сухаревский переулок, где стоял дом Маяковского<sup>3</sup>.

— Разрешение у вас есть? — спросил привратник, недоверчиво глядя на нас. — Чтобы попасть в квартиру Маяковского, нужно особое разрешение милиции.

Тем же вечером я отправился к наркому Луначарскому, чтобы он попросил милицию выдать мне пропуск и я смог побывать в комнате, где покончил с собой Маяковский.

— Зачем вам осматривать комнату, в которой умер Маяковский? — удивился Луначарский. — Вы случайно

1 Маяковский был просто грязным буржуа (фр.).

2 Ты свинья, ты грязная свинья (англ.).

3 Адрес вымышлен, как и весь эпизод посещения квартиры В.В. Маяковского, который покончил с собой в 1930 г. (Примеч. науч. ред.)

не романтичный буржуа? Меня бы это страшно удивило, — он говорил медленно, на холодном и жестком итальянском.

— Я однажды бывал у Маяковского, — сказал я, — у него простая, светлая комната, где царит порядок. Я хочу спросить у его бумаг, у его личных вещей, у его комнаты, что подтолкнуло его к самоубийству — страх или надежда, убил ли он себя оттого, что не верил в Бога, или оттого, что верил в Него.

Луначарский странно посмотрел на меня, поглаживая короткую козлиную бородку. Это был мужчина лет пятидесяти–шестидесяти, весь поросший густыми черными волосами, то там, то здесь они начинали седеть и редеть: среди растительности на тыльной стороне ладоней проступали лиловые пятна, среди козьей шерсти надо лбом — густой и курчавой, как настоящая шерсть, — были рассыпаны лысые островки. Кожа была бледной, лишь щеки красные. Щеки чахоточника. Мягкий широкий воротничок обнажал белое горло с поросшей грубыми седыми волосками дряблой кожей. Он говорил, вцепившись руками в подлокотники кресла, и периодически откидывался на спинку резким движением — тучный живот подпрыгивал под жилетом. Крупные советские чиновники питают нездоровую страсть к жилетам — вероятно, более сильную, чем их знаменитая страсть к кожаным портфелям. Как раз в эти дни в одном из московских театров с огромным успехом шла комедия под названием “Портфель”, высмеивавшая любовь советских бояр к этому чиновничьему атрибуту. В СССР жилет и кожаный портфель под мышкой — знаки власти, символ советской бюрократии. Это было отмечено в юмористическом журнале “Крокодил”. Из карманов бархатного жилета Луначарского бутылочно-зеленого цвета с крупными перламутровыми

пуговицами (такому позавидовали бы Теофиль Готье и Бальзак) торчали пять-шесть разноцветных карандашей, пара авторучек, расческа, зубная щетка, блокнот и пачка “Герцеговины Флор”<sup>2</sup> — любимых папирос высшей московской марксистской знати, *upper ten thousand* Кремля<sup>1</sup>.

Луначарский вызывал у меня большую симпатию. Среди коммунистических *highbrows*<sup>3</sup> он один не осуждал буржуа, контрреволюционеров, врагов народа, писателей и художников и не рассматривал свободу творчества как страшную опасность для государства. Во время революции, в октябре 1917 года, он спас большую часть художественных сокровищ России, выставив красных часовых не только у дверей музеев, но и у дверей дворцов, где хранились частные собрания. Хотя он был человеком слабохарактерным и больше всего на свете боялся себя скомпрометировать, попасть под огонь критики коммунистических якобинцев, он никогда не отказывал советским художникам в покровительстве. Злые языки говорили, что он защищал только тех, чью судьбу принимала близко к сердцу его жена, актриса театра Мейерхольда<sup>4</sup>, одна из самых элегантных женщин Москвы и самая знаменитая в СССР *cuisse légère*<sup>5</sup>. Возможно, это было просто злорадством, как невинным злорадством объяснялось звание *Sov-cocu*<sup>4</sup>, под которым Луначарский был записан в московскую *Blue Book* — *a red-covered Blue Book*<sup>5</sup>, как называл ее английский посол сэръ Эсмонд Овей.

1 Высшие десять тысяч (англ., досл.). Так называли в XIX веке богатейших жителей Нью-Йорка.

2 Интеллектуал (англ.).

3 Доступная женщина (фр.).

4 Советский рогоносец (фр.).

5 Букв. “Синяя книга” — официальный справочник (англ.); “Синяя книга в красной обложке”.

Но Луначарский слишком боялся оскорблений, чтобы обращать внимание на злые языки, слишком боялся удара в спину, чтобы замечать булавоочные уколы. Тем самым он доказывал, что обладает обостренным чутьем, характерным для аристократов из парвеню, каковыми и были представители высшей московской марксистской знати, у которой на кону стоит только голова, в отличие от подлинной аристократии, у которой на кону стоит все, кроме головы. (Светловолосый, розовый Флоринский, самый знаменитый московский гомосексуалист, выражал эту мысль почти так же, как это делали во Франции в XVIII веке: он говорил, что у подлинной знати *“il y a parfois des morts, mais jamais des cadavres”*<sup>6</sup>).

Самоубийство Маяковского в каком-то смысле оказалось для Луначарского ударом в спину. В последнее время, особенно после поездки в Соединенные Штаты, Маяковский стал мишенью для острой критики со стороны молодых коммунистических писателей, которые не только обвинили его в капиталистическом разложении, эстетстве и буржуазном нарциссизме, но и открыто называли его поэзию актом контрреволюционного “саботажа”. Вступился за него один Луначарский, и уж, конечно, не потому, что московское коммунистическое *smart set*<sup>7</sup> считало Маяковского одним из любовников мадам Луначарской. Встав на защиту поэзии Маяковского, нарком Луначарский в каком-то смысле выступил гарантом отношения Маяковского к коммунизму и советскому государству. В СССР самоубийство — типично контрреволюционный шаг, акт “саботажа” советской морали, не имеющий серьезных политических последствий для того, кто его совершает, но бросающий

6 У знати бывают мертвецы, но не бывает трупов (фр.).

7 Фешенебельное общество (англ.).

тень на его родных, друзей, а если самоубийца — писатель или человек искусства, то на его поклонников и критиков, благосклонно отзывавшихся о его литературном труде. Самоубийство ведь не спонтанное, единичное решение, а результат воздействия среды, в которой жил самоубийца, плод дерева, одной из ветвей которого он являлся.

Трагическая кончина Маяковского слишком напоминала громкое самоубийство поэта Сергея Есенина, который после брака с Айседорой Дункан, “бегства” из Москвы и причуд, коим он предавался во время долгого изгнания в Европе и Америке, в один прекрасный день залез на самый высокий небоскреб Нью-Йорка, на самый высокий балкон на Западе, — как однажды вечером, незадолго до смерти сказал Маяковский\*, — и бросился вниз головой в пустоту, разбившись о московскую мостовую. Словом, это все слишком беззастенчиво повторяло главную причину самоубийства Есенина — отвлечение к стране, где нет Бога, чтобы нарком Луначарский, один из старейших соратников Ленина, один из двенадцати его апостолов, не оказался в итоге в весьма щекотливом положении. Разумеется, Луначарский не нес ответственности за самоубийство поэта Маяковского: его вина перед партией состояла в том, что он официально покровительствовал тому, кто долгое время замышлял и готовил столь серьезный акт контрреволюционного “саботажа”.

Луначарский пристально глядел на меня, и приглушенное сиянье близоруких глаз причудливо отражалось в стеклах очков.

— В комнате Маяковского, — сказал он, — вы не увидите ни капли крови. Милиция уже успела убрать все следы преступления.

— Преступления?

— В комнате, где умер Маяковский, было совершено преступление, — сказал Луначарский.

Я поглядел на него и рассмеялся.

— В Советской России, — сказал Луначарский, — ни у кого нет права уклоняться от общей работы, от общих жертв, покидать место работы, страданий, борьбы, ни у кого нет права предавать дело революции. Маяковский предал революцию.

— Маяковский устал страдать ради других.

— Он устал от обязанности страдать, — сказал Луначарский, — вы это имели в виду?

— От обязанности страдать ради других.

— Вы полагаете, что обязанность страдать ради других пробуждает отвращение к страданию? — спросил Луначарский. — Вы же не хотите сказать, что в Европе все совсем иначе, чем здесь, у нас?

— В Европе, — сказал я, — мы тоже устали страдать ради других.

— В Европе вы тоже обязаны страдать? — спросил Луначарский, склоняясь над столом и глядя на меня поверх очков.

— Нет, не обязаны, — ответил я, — поэтому мы и страдаем, не возражая против страданий. Но мы устали страдать ради других.

— Надеюсь, вы сейчас не заговорите о Боге, — тихо сказал Луначарский.

— Маяковский верил в Бога, — сказал я.

— Зачем вы говорите мне о Боге? — спросил Луначарский, поглаживая ладонью лицо.

— Он убил себя, потому что верил в Бога. Разумеется, это не веский повод, чтобы убить себя, но может ли верующий предоставить более убедительное доказательство веры в Бога, живя в Советской России, стране без Бога?

— Вы рассуждаете, — со смехом сказал Луначарский, — как человек, который никогда не выберет самоубийство, даже в России, чтобы доказать свою веру в Бога. Но вы действительно уверены, что верите в Бога? Все иностранцы, стоит им ступить на землю советской России, мгновенно осознают, что верят в Бога!

— То, что вы говорите, весьма печально для советской России.

— Возможно, — ответил Луначарский, — в любом случае я не знаю и не желаю знать, верил ли Маяковский в Бога. Ясно только то, что в коммунизм он больше не верил. Из Америки он вернулся совсем другим. Он говорил о внутреннем кризисе, о своих буржуазных убеждениях, о смешной тоске по индивидуализму. Он говорил, что в Америке перешел в иную веру. Скажите на милость, в какую веру может перейти в Америке умный человек? Я никогда не воспринимал всерьез его духовный кризис. И оказался неправ. Неправ, что пожалел его. Его поступок не имеет никакого отношения к вере в Бога. Это не проявление христианской веры, а типичный пример буржуазного пессимизма. Это буржуазный поступок, вот и все.

— В советской России, — сказал я, — самоубийство обладает взрывной силой чуда.

— Но это не чудо. Я понимаю, к чему вы клоните. Нет, для нас самоубийство — не чудо, не доказательство существования Бога. В СССР чудес не бывает. У нас Бог не имеет никакого значения, не имеет никакого отношения к тому, что происходит в советской России.

— Все, что происходит в советской России, — сказал я, — дело рук Господа. Нищета, голод, слезы, кровь, все, что русский народ терпит ради победы коммунизма, — следствие не материальных трудностей, которые нужно преодолеть ради построения коммунистическо-



го государства, а нравственных трудностей, которые Бог создает тем, кто пытается построить человеческое общество, основанное на отрицании Бога. Вы должны признать, что Богу нет дела ни до капитализма, ни до коммунизма. Бог озабочен лишь тем, чтобы утвердить Свое присутствие в мире людей, среди людей, в их сердцах. Бог не чурается преступления, худшего из преступлений, если преступление необходимо, чтобы доказать людям Его присутствие. Бог не всегда побеждает зло добром: нередко он побеждает зло злом, преступление преступлением. Порой он побеждает добро злом — если добро творится не в Его имя. Этот Бог точно не стыдится того, что его руки запачканы кровью. Из всего, что служит Его целям, из самого жалкого человека, из самого обыкновенного события, из самого грубого предмета, даже из человека, засунувшего в рот дуло пистолета, даже из банки сардин Бог умеет извлечь Христа, орудие искупления, свидетельство Своего присутствия.

— Значит, единственный, кто на самом деле ответствен за смерть Маяковского, — это Бог? Значит, кровь Маяковского лежит на Боге? — пронзительно вскрикнул Луначарский. — Вы это хотите сказать?

— Нет, — ответил я, — я не это хочу сказать.

— Значит, это Бог его убил, вы это хотите сказать.

— Не стоит так говорить. Бессмысленно говорить, что Бог — убийца, — сказал я тихо.

— Да, — пробормотал Луначарский, поглаживая лицо. — Бог — убийца.

Сказав это, он откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на зеленом бархатном жилете с перламутровыми пуговицами, прикрыл спрятанные за толстыми стеклами очков глаза и замолчал. Казалось, он уснул. В комнате жужжала огромная муха, то и дело принимавшаяся биться головой об оконное стекло. В эту ми-

нута Луначарский казался мне старым, усталым, больным, униженным человеком, столько раз одиноко сидевшим в сторонке на приемах в иностранных посольствах и на торжественных вечерах, которые Наркомат иностранных дел устраивал в залах дворца на Спиридоновке. Высшая коммунистическая знать Москвы предпочитает не бывать в людных местах. В баре гостиницы “Метрополь”, в *tabarin*<sup>1</sup> “Скала”<sup>2</sup>, в *fumoirs* Большого театра или театров Мейерхольда, Таирова, Станиславского редко встретишь советскую аристократию: она боится показываться на людях в мутном блеске своего могущества, своей власти, своего шика — вульгарного и одновременно *sophisticated*<sup>3</sup>. Лишь на обедах иностранного дипломатического корпуса или Наркоминдела, на теннисных кортах особняков на Спиридоновке и английского посольства, на льдженях рядом с Никольским<sup>3</sup>, на катке британского посольства, или в Гребном клубе, или в Коломенском можно увидеть высшую коммунистическую знать в сборе.

На обедах и балах Луначарский обычно бывал вместе с мадам Луначарской, к которой он испытывал болезненную супружескую страсть: казалось, что его терзает обостренная стыдливость, печальная ревность, но одновременно он получает удовольствие от глубокого переживания собственного публичного унижения — это вообще характерно для русских, а у него это было заметно невооруженным глазом. На балах дипкорпуса Луначарский нередко сидел в уголке, прикрыв глаза, сложив руки на белом пикежном жилете, словно прислушиваясь в тревожном и полном подозрений сне к хрипловатому, ласковому голосу мадам Луначарской,

1 Ночной клуб (фр.).

2 Изысканный (англ.).

3 Видимо, Малапарте имеет в виду Николину гору. (Примеч. науч. ред.)

к ее резкому смеху, шелесту ее шелкового платья. Она носила настоящие платья от Скъяпарелли, которые заказывали в Париже за счет государства; как все советские актрисы, она не имела права носить их вне сцены, но брала в гардеробе театра Мейерхольда, чтобы блистать на обедах и балах, к великому возмущению бесчисленных мелкобуржуазных катонов<sup>4</sup> из Компартии. Ловя переливчатые, нежные звуки ее голоса, не открывая глаз, с усталостью на лице, словно против воли отзываясь на причиняющий наслаждение и боль призыв, он следил за ее жестами, за соблазнительными движениями изящного тела, за выражением глаз, за ртом, за руками. Мадам Луначарская смеялась в окружении своей свиты — молодых иностранных дипломатов, актеров, кавалерийских офицеров, партийных чиновников, порой кто-нибудь с иронией поглядывал на *Sov-cosi* и усмехался. Советник английского посольства сэра Уильям Стрэнг, относившийся к советской аристократии с жалостью и презрением, не скрывал симпатии к Луначарскому. “Нужно быть слепым, — говорил он, — чтобы смеяться над Луначарским. Из всех представителей высшей коммунистической знати в Москве лишь он предчувствует смерть”.

— Бог — убийца, — повторил Луначарский. Порошкие черными волосками, сложенные на зеленом бархатном жилете руки едва заметно дрожали.

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошли двое — я уже видел их на ужине, устроенном в мою честь Профсоюзом московских писателей-коммунистов. Один из них — Демьян Бедный, возглавлявший Союз безбожников: говорили, что он опасный фанатик и пользуется двусмысленным авторитетом среди молодых писателей.

4 Марк Порций Катон — древнеримский политик и писатель; прославился строгостью нравов. (Примеч. науч. ред.)

Второй — поэт-безбожник с холодным взглядом сплетника. Луначарский вздрогнул, открыл глаза и удивленно посмотрел на вошедших. Внезапно покраснев, он вскочил, гневно отодвинул кресло и, повернувшись ко мне, словно продолжая разговор, прерванный неожиданным появлением непрошенных гостей, сказал с насмешкой: “Почему бы вам не повторить перед моими друзьями все, что вы говорили мне о Маяковском? У меня лично нет причин уважать Христа больше, чем Маяковского, но мне кажется смешным сравнивать их. Ха! Ха! Ха!” Затем, повернувшись к вошедшим, он сказал: “Тем не менее Малапарте считает, что Христос — консервная банка”. Ха! Ха! Ха! Банка сардин!” Тон, интонация, жесты Луначарского внезапно изменились: он побледнел, губы дрожали.

— Банка сардин? Ха! Ха! Ха! — хохотали вновь пришедшие, похлопывая себя по коленям.

— А почему банка сардин? — крикнул Луначарский. — Почему не старые ботинки или старая задубевшая шляпа? Вы не замечали, что старая задубевшая шляпа напоминает Христа?

— Ха! Ха! Ха! Старая задубевшая шляпа! — оба смотрели на меня с нескрываемым презрением.

— Из самого жалкого человека, — сказал я, — из самой бесполезной вещи Бог может сделать Христа.

— Даже из паршивого пса? — прокричал поэт-безбожник.

— Даже из паршивого пса, — ответил я.

— Маяковский и был таким паршивым псом, вы поэтому сравнили его с Христом? — крикнул со смехом Луначарский, прижимая руки к зеленому бархатному жилету.

— Я явился к вам просить разрешения посетить комнату, где умер Маяковский, — сказал я, глядя Луначарскому в лицо.

— Маяковский был предателем, — кричали эти двое, глядя на меня с гневом и презрением, — грязным саботажником, он предал революцию!

— Маяковский был поэтом, — сказал я.

— Он был предателем! — крикнул Луначарский. — Поразительно, что вы...

— Он был великим поэтом, — сказал я.

— Великим поэтом? — крикнул Луначарский с неподдельным удивлением. — Великим поэтом? Ха! Ха! Ха! — И он, побледнев еще больше, зашелся смехом, словно в сильном приступе кашля.

— Великим поэтом? Ха! Ха! Ха! — корчились от смеха двое.

— Почему бы вам не повторить перед моими друзьями все, что вы говорили о Маяковском? — крикнул Луначарский, опираясь руками о стол и глядя на меня со смесью ярости и страха. — Разве вы не говорили мне, что его убил Бог? Что Бог — убийца?

— Бог — убийца? Ха! Ха! Ха!

Я молча смотрел в лицо Луначарскому.

— Вы получите разрешение, — вдруг хрипло сказал Луначарский, — как вы могли подумать, что я не дам вам разрешения? Разрешение доставят вам в гостиницу. Сегодня же вечером. Когда вы хотите побывать в комнате Маяковского?

— Завтра, — ответил я.

— В котором часу?

— На рассвете.

— На рассвете? — отозвался Луначарский с глубоким удивлением.

Следующим утром, на рассвете, мы с Марикой отправились посмотреть комнату, в которой покончил с собой Маяковский. Марика дулась на меня. *"Toujours des idées*

*ridicules*"<sup>1</sup>, — ворчала она, пока мы ехали на трамвае к Сухаревой башне. Дом, где Маяковский жил после возвращения из Америки и до самой смерти, представлял собой одно из громадных, мрачных и неприглядных зданий, в огромном количестве выросших в Москве и Петербурге во второй половине прошлого века и населенных сонмом неприметных людей — по большей части госслужащими и рабочими. Ледяной свет июньской ночи — призрачный свет московских "белых ночей" — постепенно уступал место нежному, розовому пламени дня. Я показал привратнику разрешение, и он молча проводил нас вверх по лестнице. На третьем этаже он остановился и отпер дверь собственным ключом. Мы вошли в коридор. "Спасибо, вы мне больше не нужны", — сказал я привратнику. Из-за дверей, выходивших в длинный коридор, где царила тусклая и мутная полутьма, доносились шум копошения людей, тихие разговоры. Это были жилыцы огромной квартиры, каждую комнату которой занимала отдельная семья. Комната Маяковского была последней справа по коридору. Я толкнул дверь и вошел.

Комната была маленькая и светлая, на стене — бледно-голубые веленевые обои, выцветшие, местами в газетных заплатах. Между дверью и окном у стены стоял письменный шкаф. У противоположной стены — постель, на которую было наброшено хлопковое покрывало — желтое, линялое, рваное. На стенах стальными кнопками приколоты виды Нью-Йорка и Чикаго, снятые с моря небоскребы Манхэттена, портреты Пушкина и Бодлера, фотографии молодых актрис "Совкино". У окна — стол, на столе — бронзовая чернильница и куча бумаг, придавленных тяжелой бронзовой пепельницей.

На всю комнату был один стул. Марика уселась на постель и закурила. Я сел у окна, опираясь локтями о стол, и стал смотреть на небо.

Был рассветный час — в этот час и убил себя Маяковский. Розовый свет дня проникал в белую летнюю ночь, как река впадает в море. Легкие волны утра бежали друг за другом до дальних берегов неба, проносясь по крышам с долгой, зеленоватой дрожью водорослей. Здесь, сидя на этом стуле, перед этим распахнутым окном, убил себя Маяковский. Занимался рассвет. Он опустил голову, лег щекой на стол. Из раны в глубине рта вытекло несколько капелек крови. У водосточных желобов щебетали птицы, резкие крики ласточек расчерчивали бледное небо. Он улыбался окровавленными губами. Вдали, где кончается город, на востоке (у неба было лицо ребенка — бледно-розовое), из речного тумана постепенно выступали красные башни Кремля. Так близко, что казалось, рукой подать, в прозрачном воздухе покачивался купол церкви, покрытый голубыми и зелеными изразцами, которые переливались в первых лучах солнца. Внезапно в самом центре двора я заметил большое дерево.

Оно походило на дуб, но это не мог быть дуб. У дерева были темные листья — густого, с блеском, зеленого цвета, в черной кроне дрожали молодые листочки — прозрачные, серебристые, словно створки морских раковин. “Наверное, это лавр”, — подумал я. Нет, на севере России лавр не растет. Да и разве мог Маяковский убить себя, сидя перед лавром, глядя из окна на такое дерево? Мало-помалу трепетный дневной свет проникал в ясную ночь, мало-помалу легкие волны утра проникали в белые створки неба, зеленовато-золотистое свечение, напоминающее нежное свечение янтаря, рождалось в высоком и далеком небе, по которому бро-

дили туда-сюда с потерянным видом белые облачка. Крыши и купола церквей покрывались золотой патиной, вдали сверкала река глубокого медового цвета. Листья высокого дерева в центре двора тоже становились золотистыми после нежной победы утра, неяркое янтарное сияние проникало в темную и глубокую зелень листвы, и та постепенно бледнела, словно в небе рождалась серебристая луна.

“Это не дуб, — подумал я, — и не лавр, наверное, это олива”. Зрелище волновало и пугало меня, словно чудо, словно волшебство, потому что мне было известно, что под этими жестокими небесами оливы не растут. Покачивая головой, я твердил про себя: “Нет, это не олива”. Я не мог оторвать глаз от большого одинокого дерева в центре двора, мне чудилось, будто оно превращается в громадную, раскидистую оливу: я думал о Маяковском, о том, как он медленно поднимает руку, о холодной тяжести пистолета в теплой руке, и мне хотелось молиться, молиться за него, глядеть на небо и молиться. Однако слова, которые вертелись у меня на языке, не были словами молитвы, это были слова хора из “Эдипа в Колоне” Софокла, которые Маяковский продекламировал мне однажды вечером, на берегу реки, перед Поклонной горой: “Есть тут дерево несравненное, — не слышал о нем я ни в Азии, ни на острове на Пелоповом, у дорян, — оно и не сажено, и не сеяно, самородное устрашение копий вражеских”<sup>1</sup>. Я дважды или трижды повторил про себя “устрашение копий вражеских”, оглядывая комнату; я видел на стене снимки молодых актрис Совкино, портреты Пушкина и Бодлера, небоскребы Манхэттена, видел книги на полках, сидящую на кровати Марику, цвет зари, неспешно наполнявший



комнату теплым медом. Я сжимал губы, слыша в коридоре голоса и шаги жильцов, — сжимал губы, чтобы не окликнуть вслух Маяковского, не попросить его остановиться, вернуться назад, я еле сдерживался, чтобы не побежать к нему, не взять его за руку, не сказать ему тихо и нежно: “Мерзавец, ты тоже мерзавец!”

В это мгновение я услышал, что дверь отворилась и в комнату кто-то вошел. Я сдерживался, чтобы не обернуться, я слышал, что кто-то ходит по комнате, слышал глухой шум, с которым на пол поставили что-то тяжелое, услышал, как кто-то снимает пиджак и швыряет его на постель: внезапно я увидел, как к столу приближается толстая, поросшая светлыми волосками рука и швыряет на него рыжую кожаную сумку. Я обернулся. Передо мной стоял высокий, сильный мужчина в одной рубашке. На краю постели, рядом с Марикой, сидела бледная, растрепанная женщина с мокрым от пота лицом.

Мужчина взглянул на меня и показал бумагу:

— Товарищ, мне очень жаль. Тебе придется уйти. У меня имеются все документы. Теперь эта комната моя.

— Да, твоя, — согласился я.

— Ну, тогда иди, — сказал мужчина, — чего ты ждешь?

— Пошли, Марика! — сказал я.

— *Toujours tes idées ridicules*, — проворчала Марика, когда мы спускались по лестнице.

Я не ответил. Про себя я повторял тихо и ласково: “И ты, Маяковский, мерзавец!”

## VI

На площади Свердлова мы сели на 32-й трамвай<sup>1</sup> и отправились в Новодевичий монастырь\*, расположенный в самом конце длинного полуострова, который образует огибающая низину Москва-река. Трамвай лениво катил, вскоре мы оказались в пригороде, в Хамовниках, и проехали перед длинной чередой современных больниц из стекла и бетона. Хамовники — больничный район\*, в воздухе пахло карболкой. Марика была счастлива. Ей нравилось подолгу кататься через весь город на трамвае, ездить на автобусе от какого-нибудь рабочего клуба на экскурсии в старинные подмосковные усадьбы, нравились пикники на Воробьевых горах, откуда можно любоваться огромным городом с бесчисленными куполами — золотыми или выложенными красными, желтыми, зелеными, лазуревыми изразцами, любоваться зубчатыми стенами и башнями Кремля, развешивающимися алыми стягами, следить, как из золотистой дымки,

из золотой пыли — пыли Азии — надвигается пыльная буря.

На конечной остановке мы сошли и пешком направились в Новодевичий монастырь — обитель для девиц благородного происхождения, в которую заточил свою сестру Петр Великий, приказав повесить на оконных решетках восставших стрельцов. Здесь Москва, прежде чем окунуться в зелень полей и лесов, превращается в окраину, в деревню. Вокруг Новодевичьего монастыря разбросаны бедные домишки у прудов и болотин, растилающихся вдоль берегов Москвы-реки. В воздухе стоял запах сена и мокрой травы, а еще сладковатый и сухой запах горящих березовых дров. Мелкие рыжие собачонки с покрытыми струпами мордами и красными глазками, напоминающими человеческие (такие глаза бывают у людей лет сорока-пятидесяти, чувственных и разочарованных), шли за нами на расстоянии, останавливаясь, когда останавливались мы с Марикой. Рядом с Новодевичьим монастырем есть небольшое кладбище\*, обнесенное стенами. Мы вошли на кладбище, и Марика повела меня к могиле Скрябина, великого русского музыканта. Мы сели на скамейку рядом с надгробием — на русских кладбищах такие деревянные скамейки ставят рядом с надгробиями, чтобы можно было посидеть, помолиться, выпить чаю и поболтать рядом с покойными родными, обращаясь с ними по-свойски, как умеют только русские.

— Вот бы здесь был похоронен кто-нибудь из моей родни! — сказала Марика. — Я бы приходила сюда каждый день на несколько часов. Мои похоронены далеко, на Кавказе. Мы из Тифлиса.

Марика была шестнадцатилетней девушкой, почти девочкой: темноволосая, с рыжиной в черных волосах, как у шотландских сеттеров, оттенка жженого черного;

глаза у нее тоже были черные, но женого красного, белок появлялся лишь во внешних уголках глаз — маленькое белое пятнышко, блестящая эмаль. У нее были широкие плечи и маленькая высокая грудь. По тому, как она двигалась, жестикулировала, ходила, выставя вперед, чуть наискосок левое плечо, было ясно, что она много лет играет в теннис. Всякий раз, когда она взмахивала правой рукой, казалось, будто она держит ракетку и собирается отбить мяч на лету. Она носила косы — длинные, мягкие, тяжелые косы, падавшие на плечи с почти дерзкой грацией.

— Ах, Марика, — говорил ей я, — если бы я тебя любил, а ты любила меня, ты бы уехала со мной в Италию?

Марика смеялась, опираясь ногой на низенькую железную ограду могилы Скрябина.

— В Италию? Я не люблю апельсины.

— В Италии нет апельсинов, — заверил я.

— Ах, у вас в Италии даже апельсинов нет? — сказала Марика с лукавой улыбкой.

Я гладил ее косы, а Марика, качая головой, повторяла:

— *You pig.*

— Поехали со мной в Италию, Марика, — твердил я.

Марика выпрямилась и быстро зашагала между могил, словно убегая. Я помчался за ней, догнал и приобнял.

— Видишь? Это могила Чехова, великого русского писателя, — сказала Марика.

— Мне нет дела до Чехова.

— Это — могила историка Соловьева, а там, дальше, — могила Кропоткина.

— Мне нет дела ни до Соловьева, ни до Кропоткина, — ответил я, глядя ей волосы.

— *You dirty pig,* — сказала Марика, глядя на меня большими черными глазами с белыми пятнышками во внешних уголках, у висков.

— Поехали со мной в Италию, Марика!

Марика пристально поглядела на меня и вдруг вздохнула.

— Ах, Италия! — Потом прибавила: — Где в Италии могила Муссолини?

— В Италии живых не хоронят, — ответил я.

— Мне бы хотелось увидеть могилу Муссолини в Италии, — сказала Марика, глядя на меня лукаво и печально.

— Вся Италия — одна большая могила, — ответил я, — вся Италия — могила Муссолини.

Неожиданно Марика отстранилась и с презрением сказала:

— *You pig, you dirty pig.*

Она всегда называла меня так, когда хотела выразить презрение, а иногда употребляла английское слово, которое уже вошло в советский словарь. "*Hooligan*", — говорила она мне, произнося это слово по-русски: "хулиган".

Я отвечал со смехом:

— Вся Россия тоже одна большая могила, вся Россия — могила Сталина.

— Хулиган, — повторяла Марика.

Мы стояли рядом со свежей могилой, земля на которой еще была влажной, могильный холм покрывали большие букеты совсем свежих цветов. Казалось, их только что сорвали, в них отражалось небо, примешивая бледный, серебристо-голубой к розовому, зеленому, теплему белому цвету крупных и нежных лепестков. Букеты, лежавшие на холмике свежей земли, у серой каменной плиты, на которой были написаны лишь имя и дата, казались отдельными от всего, неподвижными и живыми посреди огромной пустыни, брошенными в глубочайшем одиночестве, превратившимися в натортюрморт, в самостоятельный эпизод, в явление, не свя-

занное с мировой историей, с историей живых людей. Некоторые лепестки опали, они лежали на свежем могильном холмике в пронзительном, печальном, отчаянном одиночестве, в абстрактном, первозданном одиночестве, бесконечно далекие от своих букетов, словно эпизоды, в свою очередь оторванные от других эпизодов, не связанные с мировой историей, с историей мертвых людей. Казалось, они сделаны из чего-то твердого и блестящего, словно выброшенные на морской берег раковины: подобно раковинам они выражали брошенность и одиночество самой своей формой, своей вогнутостью, своим отдельным, вогнутым миром, оторванным от истории мира, природы, от жизни природы, и вместе с тем созданным, чтобы вместить в себя всю окружающую вселенную, скрыть ее в своей потаенной архитектуре. Внезапно, подняв глаза на серый могильный камень, я прочитал имя: фон Мекк\*. Я вспомнил эту фамилию, она попадалась в газетах. Так звали начальника советских железных дорог, расстрелянного два дня назад за саботаж. Фон Мекк был честным служащим российских железных дорог с доисторических, царских времен. Его расстреляли за то, что старые паровозы, железнодорожные машины, устаревшие и изношенные войной, больше не выдерживали чрезмерных усилий. Как писали в газетах, паровозные котлы стали подозрительно часто взрываться. Фон Мекка расстреляли, чтобы дать советскому общественному мнению политическое объяснение технических причин плохой работы советских железных дорог. Это был невинный, чистый человек, оказавшийся на путях советской революции и сметенный ею. Он не был ни в чем виноват, не нес личной ответственности за собственную смерть. Газеты сообщили, что в качестве исключения тело фон Мекка выдали родственникам для захоронения. По

сути, обыкновенная история, один из множества эпизодов, больше не имеющий отношения к истории живых людей. Какая разница, что невиновного человека расстреляли ради высших интересов революции? Не он первый, не он последний. Так бывает всегда. Всегда есть некто невиновный, кто умирает ради других. Умрет ли он своей смертью, покончит с собой или его расстреляют — все равно он умрет ради других. Нельзя требовать, чтобы в революционное время умирали только виновные. Еще чего! Кто-то ведь должен умирать. И вообще, смерть невиновного человека куда полезнее смерти виновного. *On est toujours le jacobin de quelqu'un*<sup>1</sup>. Большая честь — стать для кого-то Христом. Большая честь стать якобинцем для якобинца. Жаль, что нельзя стать Христом для Христа.

— Фон Мекк был врагом революции, — сказала Марика, — *un sale type*<sup>2</sup>.

— Он был невиновным, — сказал я. — Ты знаешь, что такое невиновный?

— Он взрывал паровозные котлы, — возразила Марика.

— *Ce n'est plus à la mode*, невиновность<sup>3</sup>, — сказал я.

— *C'est à cause de lui que les trains ne marchaient pas*<sup>4</sup>, — возразила Марика.

— Поезда все равно не будут ходить, — сказал я. — Опасно быть начальником железных дорог, когда поезда не ходят. *Il ne faut jamais être chef de gare, quand il y a une révolution*<sup>5</sup>.

— *Tu dis toujours des bêtises*<sup>6</sup>, — сказала Марика.

1 Все мы являемся для кого-то якобинцами (фр.).

2 Гнусный тип (фр.).

3 Невиновность больше не в моде (фр.).

4 Из-за него не ходили поезда (фр.).

5 Не стоит быть начальником вокзала во время революции (фр.).

6 Вечно ты несешь чепуху (фр.).

— Ну конечно, — ответил я, — *je dis toujours des bêtises*<sup>1</sup>.

Я начинал сердиться из-за бедного фон Мекка. Я сердился, думая, что он оказался прямо на путях революции. Не его вина, что поезда не ходят, что котлы взрываются. *Mais tout de même!*<sup>2</sup> Какая самонадеянность, какое нахальство, какая бестактность быть начальником вокзала во время революции! Он заслужил то, что с ним произошло. Роскошь — оставаться невиновным, когда весь мир взрывается, словно старый паровозный котел. И вообще, на что ему жаловаться? *De quoi se plaignait-il?*<sup>3</sup> Разве он не был христианином, добрым христианином? Вот и стал мучеником.

— Всех их надо безжалостно давить, нельзя жалеть врагов революции, — заявила Марика.

Я начинал сердиться из-за бедного фон Мекка. Что за буржуазная претензия — считать себя невиновным, всегда невиновным. У Христа не было этих глупых буржуазных претензий. Христос не был буржуа. Он прекрасно знал, что невиновен. Он прекрасно знал, что заслуживает смерть, хотя паровозные котлы взрывались не по его вине. Разумеется, между Христом и фон Мекком огромная разница. Христос не был начальником железных дорог. Для него, Христа, это смягчающее обстоятельство. Но и будь он начальником железных дорог, он бы все равно умер на кресте, на Голгофе. Фон Мекка, даже будь он Христом, все равно расстреляли бы за саботаж. Я начинал сердиться на бедного фон Мекка, сердиться из-за того, что я смешивал Христа со всякими глупостями, с самыми обычными происшествиями, из-за того, что, с моей стороны, это тоже было буржуазной претензией. Невозможно так, вдруг, изба-

1 Я вечно несу чепуху (фр.).

2 Но все равно! (фр.)

3 На что ему было жаловаться? (фр.)



виться от буржуазного воспитания, от традиций, от буржуазных предрассудков. Повсюду Христос, *toujours le Christ*, и христианство, и христианская мораль, и христианское чувство правосудия. К черту все это! Нельзя обо всем судить, опираясь на христианскую мораль. Приходит время, когда нужна смелость избавиться от христианской морали. Больше всего я сердился на фон Мекка за то, что его смерть доказывала невиновность Христа. Это было доказательство существования Бога. У фон Мекка не было права предоставлять своей смертью доказательство существования Бога, высшей христианской морали.

Я склонился над могилой фон Мекка, поднял один цветок и протянул его Марике. Протянул, не задумавшись, обрадуется ли бедный фон Мекк, что я подарил его цветок Марике. Почему он не должен обрадоваться, что я подарю его цветок такой красивой, такой молодой, такой чистой девушке?

Но Марика резко оттолкнула мою руку и сказала:

— *You dirty pig.*

— Он мертвый, — сказал я, — это цветок бедного мертвеца, цветок, поднятый с могилы бедного мертвеца.

Я стоял перед Марикой с мертвым цветком в руках, с бедным цветком, расстрелянным за саботаж, и думал, что русская революция неумолима, она не испытывает жалости к цветам-предателям, взрывающим паровозные котлы. Я стоял перед Марикой и улыбался, видя, что Марика покраснела — возможно, от смущения, возможно, от стыда, возможно, от гнева; потом она протянула руку, дотронулась до моих пальцев, погладила бедный цветок, потрогала его лепестки, помятые свинцом расстрельной команды, а я глядел на ее длинные белые пальцы и ждал, что их окрасит невинная кровь бедного цветка.

За спиной у Марики виднелись Воробьевы горы, ограниченные с одной стороны белой зубчатой монастырской стеной, а с другой — зеленой стеной покрытого лесом холма: вдали, за болотистой, поросшей камышом равниной, тянулась железнодорожная насыпь, на которой маневрировал товарный поезд, выпускавший пар и ездивший туда и обратно. Гудок паровоза прорезал, как режут стекло, прозрачный воздух с зелеными и розовыми прожилками. Я видел, что у подножья Воробьевых гор сверкает река, из-за летавших белых голубей воздух над деревьями и над рекой дрожал. На небе с одной стороны виднелось серое пятно — в вышине прямо над стенами монастыря: казалось, будто это замусоленный уголок старой гравюры. Вдоль извилистой тропинки, вторившей изгибу пруда, густо росли кусты с желтыми цветами, похожими на дикие гиацинты. Пейзаж то здесь, то там был разорван пулями винтовок, небо, зеленый холм, белая стена монастыря, в которых зияли дыры от пуль расстрельной команды, казались уставшими и хрупкими, словно старая запылившаяся гравюра: разбросанные по пейзажу детали — товарный поезд, камни, кладбищенские кресты, рыжие собаки с глазами взрослых людей — ясно, четко воспринимались как эпизоды, вырванные из мировой истории, из истории живых и мертвых.

Взяв цветок, Марика принялась крутить его, сдавливать белыми пальцами: невеселое движение руки с цветком казалось частью пейзажа — медленное, как кружение бумажки, которую ветер носит перед раскрытым окном, и настойчивое, как течение реки у подножья холма. Я тихо сказал Марике:

— Это мертвый цветок, цветок, расстрелянный за государственную измену. Он предал революцию и народ,

и его расстреляли. Дяди, кровь до сих пор течет. Твои пальцы запятнаны кровью.

Марика уронила помятый цветок, и я заметил, что она слегка побледнела. Но потом рассмеялась и сказала:

— *Ne dis pas des bêtises*<sup>1</sup>. Думаешь меня напугать? В России таких чудес не бывает. Из наших цветов кровь не течет.

Я негромко ответил:

— Знаю, Марика. В России все цветы бумажные.

Мы вышли из трамвая, из 34-го трамвая, на площади Свердлова, перед двумя арками, которые ведут на Красную площадь. В то время в стене, разделяющей площадь Свердлова и Красную площадь, еще были две арки, там еще стояла часовня Иверской Богоматери, известной во всей России и столь почитаемой народом, что даже Наполеон в знак уважения выставил у дверей часовни почетный караул. Большевики тоже выставили у ее дверей караул. Я сказал Марике: "Мне хочется увидеть Иверскую Богоматерь". Иверская Богоматерь с Кавказа, как и Марика. Марика сказала "Зайдем!" — казалось, она рада возможности поклониться своей Кавказской Богоматери. Мы переступили порог часовни. Внутри было почти холодно. Поначалу я ничего не увидел — так было темно, затем из тени постепенно проступил образ Богоматери на алтаре, в окружении канделябров, в которых не было свечей. Марика остановилась перед иконой, бросила сигарету на пол, погасила ее носком туфли и замерла молча, словно в молитве.

Я сказал:

— Марика, приятно видеть, что ты молишься.

<sup>1</sup> Не говори глупостей (фр.).

— *You pig*, — ответила Марика тихим хрипловатым голосом.

Я рассмеялся:

— Ты молишься за Сталина, верно, Марика?

— *Taisez-vous*<sup>1</sup>, — сказала Марика, поворачиваясь ко мне. Сказав *taisez-vous*, она быстро вышла, побежала по площади и остановилась перед продавщицей сигарет, у которой на шее висела табличка “Моссельпром”\*. Марика рассердилась из-за того, что я намекнул на ходивший тогда по Москве анекдот.

Анекдот был такой: мужик заходит в часовню Иверской Богоматери, падает на колени перед чудотворной иконой и начинает молиться. “Ты молишься за Сталина, правда, товарищ мужик?” — спрашивает его красноармеец, охраняющий вход в часовню. “Конечно”, — отвечает мужик. “Ну да, а до революции ты молился за царя. Ведь правда, ты молился за царя?” — спрашивает красноармеец со смехом. “Конечно, раньше я молился за царя. А что такого?” — отвечает мужик. “Ну да, а ты видел, чего ты добился своими молитвами? Видел, что царь плохо кончил?” — спрашивает красноармеец. “Вот поэтому я и молюсь за Сталина”, — отвечает мужик. Это был один из множества анекдотов, которые ходили тогда по Москве, и все пересказывали их почти шепотом, смеясь. В том, чтобы рассказывать эти анекдоты, не было ничего плохого, но Марику возмутил мой смех, а за несколько дней до этого однажды вечером она рассердилась на то, что я пересказал анекдот про Луначарского и попа. В анекдоте про Луначарского и попа не было ничего обидного, я не понял, почему Марика так разволновалась, словно из-за анекдота могли рухнуть стены Кремля. И вообще, раз Кремль такой

“крепкий”, что может рухнуть из-за анекдота, тем хуже для Кремля.

Анекдот был такой: начинается кампания по борьбе с религией, Демьян Бедный сочиняет памфлеты против Бога, выступает по радио\* против Иисуса Христа (кто скажет, что он неправ? Всем известно, что Иисус Христос — орудие международного капитализма, опасный троцкист), читает лекции, обличая религию. Из громкоговорителей, висящих на электрических столбах, перед дверями церквей, непрерывно доносится карканье антирелигиозных пропагандистов, с утра до вечера они сыпят проклятиями и оскорблениями в адрес православных, в адрес тех, кто верит в Христа. Союз безбожников приглашает наркома Луначарского прочитать антирелигиозную лекцию в одном из московских театров. Дело происходит на Пасху, театр переполнен. Луначарский выступает почти два часа, как всегда, многословно, с гордым видом, и научно доказывает, что Иисус Христос умер, что его похоронили и что он никогда не воскресал. Публика бурно аплодирует, в конце Луначарский, как принято в советской России, спрашивает у зала, не желает ли кто ему возразить. В глубине зала поднимается старенький поп — грязный, оборванный, с длинной нечесаной бородой, нищий поп, которых в то время в советской России еще были тысячи. Он поднимается и говорит, что скажет только два слова. “Говори, товарищ поп”, — обращается к нему Луначарский. Все смеются, глядя на бедного попа, многие кричат ему: “Ты бы лучше помолчал, товарищ поп, неужели ты собрался возразить товарищу Луначарскому?” А поп поворачивается к народу и, подняв руку, произносит два слова, которыми всякий христианин в старой России приветствовал в пасхальное утро своих друзей: “Христос воскрес!”

На что народ хором отвечает: “Воистину воскрес!” И все обнимаются.

— Прости, Марика, — сказал я, — я не хотел тебя обидеть. Я только хотел...

— Я знаю, ты хотел пошутить, — ответила Марика, — но мне такие шутки не нравятся.

— Я не собирался шутить над Иверской Богоматерью, — сказал я.

— Знаю, — ответила Марика. — Я знаю, что ты не собирался шутить над Иверской Богоматерью.

Она посмотрела на меня и улыбнулась. Буркнула “хулиган” и опять улыбнулась. Это была печальная улыбка, увядавшая в уголках рта и придававшая ее серьезно-му лицу детскую растерянность.

— Жаль, что ты не можешь любить меня так, как хотелось бы мне и как хотелось бы тебе самой, Марика, — сказал я. — Жаль, что между нами столько всего живого и мертвого и что у тебя не получается разобрать, что живое, а что мертвое. Отчего ты не уедешь со мной в Италию, Марика? Тебе хочется уехать со мной в Италию?

— *J'aime bien vivre en Russie*, — сказала Марика<sup>1</sup>.

Она говорила по-французски с певучим акцентом швейцарских гувернанток, преподававших до революции французский язык богатым буржуа и мелкому дворянству. Она получила то же воспитание, что и все девушки из хороших семейств до революции, хотя революционные события его немного сгладили, стерли. В 1914 году, когда разразилась война, Марике было три года, в 1917 году, когда Ленин пришел к власти, когда он взошел на престол Петра Великого и уселся на колени царю Николаю, —

шесть лет. Она получила то же воспитание, которое швейцарские гувернантки давали своим воспитанницам — скорее как моду, а не как настоящее воспитание. На Марике до сих пор лежал мягкий отпечаток “*Bibliothèque Rose*”<sup>2</sup>, в ее акценте звучало эхо нежного акцента графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной, который стал акцентом русской богатой буржуазии и знати, вытеснив пушкинский акцент Евгения Онегина и интонацию Лермонтова. Ей нравилось строить из себя “*jeune fille bien élevée*”<sup>3</sup>, благовоспитанную девицу, европейку, сохранившую в суровые революционные годы моральные принципы, которые дала ей семья, нравилось делать вид, будто она не дала себя напугать, испортить нищете этих суровых лет. Но в ней появилась какая-то жесткость, которую сама она, возможно, не замечала, нечто, что не принадлежало ей, не было лично ее, а принадлежало ее поколению, русской истории последнего десятилетия, а не ей, Марике. Однако знание французского, недостатки и пробелы в ее воспитании, даже столь необычное для советской девушки кокетство выдавали ее социальное происхождение, говорили о том, что в ней было настоящим, а что фальшивым, что было ее, а что наложившимся, выученным. В недолгие часы, которые Марика проводила со мной каждый день, она с закрытыми глазами доверялась инстинкту, чувству своего происхождения и своего воспитания, гордости и удовольствию, с которыми она могла показать иностранцу, европейцу, “*sale bourgeois*”<sup>4</sup>, что в пролетарской России, где революция отменила все традиционные нравственные и общественные ценности, все принципы, все семейные традиции, до сих

2 “Розовая библиотека” (фр.) — книги для детей, которые с 1856 г. выпускает издательство “*Hachette*”.

3 Хорошо воспитанную девицу (фр.).

4 Мерзкому буржую (фр.).

пор можно встретить “une jeune fille bien élevée”, “une parisienne russe”<sup>1</sup>, “дочь Ленина”. Но я интуитивно чувствовал какую-то горечь, обиду во всем, что говорила Марика, слышал грусть в ее голосе, когда она называла меня “хулиганом”, когда она твердила “you pig, you dirty pig”, когда обзывала меня “sale bourgeois”. Марика, как и вся молодежь ее поколения, была заражена тревогой, непременно сопровождающей веру, которой нас научили, которая пришла извне, чересчур беспрекословную уверенность, чересчур твердые и неизменные моральные устои. Все, что у Карла Маркса редко, но все же выглядит как уступка надежде, миру, взаимному прощению, любви, у Марики, как и у всех молодых людей ее поколения, ее происхождения, оборачивалось потаенной нежностью, слабостью, которую позволяют себе тайком, горькими сомнениями. Ее болезнь проявлялась в ее поведении, в ее словах настолько внезапно и неожиданно, что Марика краснела, словно невольно, инстинктивно обнажив передо мной тайную рану.

— В России я чувствую себя мертвым, — признался я Марике.

— *Encore des bêtises*<sup>2</sup>, — ответила Марика.

— Мне нужно научиться жить; с тех пор, как я приехал в Россию, я понял, что мне нужно научиться жить. В Европе я чувствовал себя более живым. Европа — мертвая страна.

— *Les Russes son bien vivants*<sup>3</sup>, — сказала Марика.

— Здесь я чувствую себя мертвым, сгнившим, потому что это живая страна.

— Страна живых людей, — сказала Марика.

1 Хорошо воспитанная девушка, русская парижанка (фр.).

2 Опять глупости (фр.).

3 Русские очень даже живые (фр.).



— Мы тоже живые, там мы чувствуем себя живыми, возможно, потому что Европа — мертвая страна, сгнивший континент. Немцы называют это “*totes Leben*”.

— По-русски говорят “мертвая жизнь”, — сказала Марика.

— Если задуматься, — сказал я, — это смешно. Правда смешно. Нас мучают, нас заставляют страдать, нас хоронят в тюрьмах, у нас отбирают свободу думать, быть счастливыми, жить, а все почему? Чтобы научить спасать свою шкуру! Если бы нас пытали, если бы убивали, чтобы научить спасать свою душу, я бы понял. Но шкуру! Человеческую шкуру! И так в Европе повсюду. Что до шкуры, в Европе куда больше лицемерия, чем в России. В Европе все трудятся ради одной цели. В Европе человеческая шкура больше ничего не стоит, она стоит куда меньше души, но при этом там озабочены только тем, как научить людей спасать свою шкуру.

— Представь себе, как там, в вышине, смеется Христос, — сказала Марика. — Если Бог существует, представь себе, как ему должно быть смешно.

— Не говори так, не надо так говорить, Марика! Что ты знаешь о Боге?

— *Que veux-tu que je sache?* — сказала Марика. — *Ici, au fond, on est moins sûr que chez vous, je pense. Mais on nous apprend à être sûr de tout ce qu'on ignore.* Здесь мы ни в чем так не уверены, как в том, в чем мы сомневаемся. *On s'amuse à faire des statistiques*<sup>4</sup>.

— В Европе везде то же самое.

— Они хотят заменить веру статистикой, — сказала Марика. — На днях преподаватель физики в университете потребовал от нас вычислить скорость, с которой

4 А что мне надо знать? На самом деле, я думаю, мы куда менее уверены, чем вы у себя. Но нас учат быть уверенными во всем, чего мы не знаем. Нам нравится собирать статистику. (фр.)

Христос поднялся на небеса, если он на самом деле поднялся на небеса. Он рассказал нам, что со времен Христа моторы самолетов шагнули далеко вперед.

— Конечно, они шагнули далеко вперед, — согласился я.

— Ведь надо во что-то верить, тебе так не кажется? — спросила Марика.

— Конечно, надо во что-то верить, — согласился я. И тихо повторил строки “Зоны” Аполлинера<sup>1</sup>:

*C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs  
Il détient le record du monde pour la hauteur.*

— *C'est joli*<sup>2</sup>, — сказала Марика.

— *C'est aussi joli que les statistiques. Et bien plus sûr*<sup>3</sup>.

— *Les statistiques*, — сказала Марика, — *c'est aussi sûr que la poésie. Elles ne nous trompent pas*<sup>4</sup>.

— *Non, elles ne nous trompent pas*<sup>5</sup>, — согласился я, — мы даже сумели вычислить, сколько раз за тридцать секунд дважды два будет четыре.

— *Il ne faut pas se moquer des statistiques*<sup>6</sup>, — сказала Марика.

— *Oh non, il ne faut pas nous moquer des statistiques*, — сказал я. — В Европе у нас больше не осталось ничего надежного.

— У вас в Европе то же самое? — спросила Марика.

— Конечно, — ответил я, — то же самое. Та же мораль, та же философия, та же религия, та же наука. Мо-

1 Взмывает в небо Иисус Христос на зависть всем пилотам / И побивает мировой рекорд по скоростным полетам. (Перевод М. Бычкова.)

2 Мило (фр.).

3 Так же мило, как и статистика. И куда надежнее. (фр.)

4 Статистика не менее надежная вещь, чем поэзия. Статистика нас не обманывает. (фр.)

5 Нет, не обманывает (фр.).

6 Не стоит смеяться над статистикой (фр.).

раль, философия, наука, религия — все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы. Флаги раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи — человеческой шкуры. Ты не боишься смерти, Марика?

— Наплевать, *j'y crache dessus*, — сказала Марика, грубо сплевывая на землю, как принято у русских.

— Не говори "*j'y crache dessus*", Марика, лучше говори по-русски — "наплевать". Во Франции не говорят "*j'y crache dessus*". Это неправильно.

— Наплевать, — повторила Марика, сплевывая на землю.

— Вот так, по-русски, "наплевать", так хорошо. Во Франции не говорят "*j'y crache dessus*". Французы вежливые. Они знают, что можно плевать на все, даже во Франции, но что это бесполезно. *Et puis, tu sais, ça rend triste, au fond, de cracher sur tout*<sup>7</sup>. А французы не любят грустить.

— *Est-ce qu'ils sont vraiment gais, les Français? Chez nous, en Russie, on dit "gai comme un Français"*<sup>8</sup>.

— О нет, — ответил я, — *les Français ne sont pas gais. Non, ils ne sont pas gais. Il voient très clair. Ils voient terriblement clair. Comment peut-on être gai, quand on voit terriblement clair? Tout de même, ils n'aiment pas être tristes*<sup>9</sup>.

— Мы не видим ясно, — сказала Марика, — русские не видят ясно.

7 И вообще, знаешь, плевать на все — это грустно (фр.).

8 Французы правда веселые? У нас в России говорят "весел, как француз". (фр.)

9 О нет, французы вовсе не веселые. Нет, не веселые. Они все ясно видят. Они видят все с ужасающей ясностью. Как можно быть веселым, когда ты видишь все с ужасающей ясностью? Но все-таки они не любят грустить. (фр.)

— Верно, — согласился я. — Зато они видят далеко.

— *Est-ce que les Russes voient très loin?*<sup>1</sup> — спросила Марика.

— *Oh oui, très loin,* — сказал я, — *très, très loin. Même trop. Mais ils ne voient pas clair*<sup>2</sup>. Есть лучший способ видеть далеко: это предчувствие. Но у русских не бывает предчувствий.

— *Tais-toi, tu commences de nouveau à dire des bêtises*<sup>3</sup>, — сказала Марика и дотронулась до моего предплечья.

Я почувствовал, что ее рука дрожит, и сказал:

— *Il ne faut pas voir trop loin, Marika*<sup>4</sup>.

— *You pig,* — проговорила Марика, — *you dirty pig,* — я чувствовал, как ее рука слегка подрагивает.

На следующее утро я отправился навестить мадам Каменеву. В московской дипломатической среде все звали ее “мадам” — полагаю, в знак уважения, а может, из жалости. Мадам Каменева была сестрой Льва Троцкого. Всего несколько недель назад ее муж, Каменев, исчез. Поговаривали, что его сослали на Волгу, а Троцкого депортировали на Кавказ. Все знали, что ссылка предшествует смерти. Мадам Каменева осталась на своем месте, за столом директора “Интуриста”: всякий раз, когда открывалась дверь, она поднимала глаза. Так, в ожидании, она прожила уже несколько недель. Невесело в такое время быть сестрой Троцкого и женой Каменева. Когда я открыл дверь, мадам Каменева взглянула на меня и улыбнулась. Это была женщина лет сорока, среднего роста, бледная, уже поседевшая, уже утасшая, уже сторбившаяся. Нет, не сторбившаяся: у нее была особая манера

1 Русские видят очень далеко? (фр.)

2 О да, очень далеко. Даже слишком. Но они не видят ясно. (фр.)

3 Замолчи, ты опять начинаешь нести чепуху (фр.).

4 Не стоит заглядывать слишком далеко, Марика (фр.).

смотреть на входивших, вглядываться в лицо собеседнику, — так она защищалась, сидела в засаде, наклонившись вперед и словно опасаясь удара в спину. У нее были светлые с проседью волосы, но виски совсем белые. Глаза — светлые, окруженные плотной паутиной мелких морщинок; разговаривая, она по-кошачьи щурилась. Руки маленькие, чуть припухшие и такие белые, что вены казались татуировкой. По-французски она говорила с правильным произношением, но в выборе слов проявляла неуверенность. Казалось, она думала о другом, наверняка думала о другом. Впрочем, когда разговариваешь с русскими, всегда создается подобное впечатление. Кажется, будто все думают о чем-то, не имеющем ни малейшего отношения к теме беседы. О чем-то древнем, далеком. Персонажи Достоевского, Толстого, Гоголя, Гончарова, Чехова говорят со страстью, и все равно чувствуется, что они думают о другом, всегда об одном и том же, все об одном и том же: о смерти, о самом верном способе стать Христом. Это ясная мысль: они думают о смерти как о каком-то отдельном предмете, освещенном светом так, что этот предмет не отбрасывает тени, думают о смерти как о пустом предмете в огромном пустынном мире, как о предмете, который заполняет целый мир. Чувствуется, что их мучает мысль о смерти, как мучают угрызения совести, раскаяние, обида, страх — древний, животный страх. Они никогда не думают о жизни, о тайнах жизни, и это верный знак того, что в населенном смертью мире они живы.

И сегодня, в советской России, всегда возникает подозрение, что люди думают о другом, что их одолевают возвышенные, неотступные мысли, от которых они не могут отвлечься. Они привязаны к этим мыслям, как осужденный на смерть привязан к столбу: на глазах повязка, руки связаны за спиной. Нет, конечно, о, нет, ко-

нечно, они не думают о смерти. Не думают о смерти как о брошенном предмете, как о пустоте в пустынном мире: возможно, они думают о пустоте, которую оставляет в мире этот предмет, о пустоте, которую оставляет смерть. О пустоте, которую оставляет грех, оставляет Христос. Впрочем, нет, они не думают о грехе, о Христе, о пустоте, которую оставляют грех, Христос, смерть. Они исследуют мыслью — напряженной, сосредоточенной, колючей, печальной и острой мыслью — пустой мир, пустой ад, совершенно пустой мир, где нет ни единого зеленого листочка, где даже насекомым не выжить, где все живое, будь то растение или животное, умерло бы из-за невозможности дышать. Мадам Каменева улыбалась, погруженная в свои колючие и печальные мысли. А мне вспомнилась средневековая *joke*<sup>1</sup>, ходившая в былые времена в немецких университетах: “Что не едят мертвые? А если это съедят живые, они умрут. Ответ: *nichts*, ничто”. Я чувствовал неловкость, сидя перед мадам Каменевой, размышляя о *nichts* и о старой немецкой философии.

— Ну что? Вы еще больны? — спросила меня мадам Каменева.

Я не был болен. Мадам Каменева говорила “больны”, намекая на неловкость, которую я испытывал с тех пор, как оказался в России. Я приехал в СССР не для того, чтобы бежать из Европы, перелезть через *ses anciens parapets*<sup>2</sup>, скрыться от западной цивилизации, обрести в Советской России человеческую свободу и счастье. Я приехал в СССР лишь для того, чтобы собрать документальный и библиографический материал для книг “Техника государственного переворота” и “Дедушка Ле-

1 Шутка (англ.).

2 Древний парпет (фр.). Слова из стихотворения Ш. Бодлера “Пьяный корабль” (“О, Европа! Твой древний парпет запомнил я навек”. Перевод В. Набокова).

нин”: когда я пересекал русскую границу, у меня не было ощущения, что я перелезаю через *les anciens parapets* Европы, мне казалось, что я пересекаю обыкновенную границу, одну из множества административных границ, разделяющих европейские нации. Когда я протянул паспорт со всеми нужными визами и ключи от багажа, я не был растроган. Я был раздражен, как и всякий путешественник, которого посреди ночи будят на пограничной станции. Но через несколько дней после прибытия в Москву появилась неловкость. Не потому что я ощущал, что нахожусь в стране, которая не относится к Европе, в стране, живущей вне европейской морали, христианской морали. И не потому, что, пересекая границу СССР, я пересек границы христианского мира. Мне было неловко из-за чего-то более глубокого, потаенного, из-за чего-то лично “моего”, только “моего”, что я не мог выразить, чем не мог поделиться с другими. Среди толпы в Москве, Ленинграде, Киеве, Смоленске, Нижнем Новгороде, Иванове, Вознесенске, Казани, Самаре я не испытывал неловкости, какую испытываешь, ощущая себя потерянным среди чужих. Мне казалось, будто я смешиваюсь с толпой рабочих в каком-нибудь пригороде какого-нибудь крупного европейского города. Отель “Савой”, в котором я жил в Москве, прямо напротив стен Китай-города и зубчатых башен Кремля, вполне мог находиться в рабочем пригороде какой-нибудь европейской столицы или на главной улице какого-нибудь рабочего города — Гессена, Манчестера, Лодзи, Шпандау. Я вовсе не чувствовал себя иностранцем, не ощущал неловкости среди толпы девушек и рабочих самого разного возраста, по большей части молодых, которые к вечеру, когда закрываются конторы и фабрики, с боем садятся в трамвай или выстраиваются в колонны на мостовых, спеша в театры, кино, спортзалы, бассейны, на

стадионы, теннисные корты, в рабочие клубы. Это была та же толпа, что и в пригородах Лондона, *ceinture rouge*<sup>1</sup> Парижа, на востоке Берлина в час окончания работы. Эти десятки и десятки тысяч человек, эти легионы голоногих девушек в хлопковых юбках, в холщовых блузах, в завязанных под подбородком платочках, которые шли, держа в руках ракетки и помахивая ими, эти молодые рабочие в лазуревых спецовках или в голубых, белых, красных или цвета хаки толстовках, в фуражках с блестящими кожаными козырьками и в резиновых калошах внешне ничем не отличались от толпы девушек и молодых рабочих из пригородов крупных европейских городов. Они смеялись, разговаривали, шагали, смотрели вокруг так же, как и толпы западных рабочих в конце тяжелого рабочего дня. Подобное современное общество потребовало от русского народа огромных жертв: больно было думать о том, сколько страданий, сколько жертв, сколько борьбы, сколько голода, сколько крови стоило *enfantement*<sup>2</sup> подобных образцов современного рабочего общества. Все это, вне всякого сомнения, являлось замечательным результатом марксистского воспитания. "*Tout ça nous a coûté horriblement cher*"<sup>3</sup>, — с гордостью говорила мадам Каменева. Но я не испытывал неловкости, думая о крови, о жертвах, ценой которых были достигнуты столь замечательные результаты. Напротив, я испытывал жестокую гордость, жестокое удовлетворение и зависть, думая, что все это — результат труда, результат жертв русского народа, а не доставшееся легко наследство западной цивилизации, как у европейских народов. Я устал от наследств, которые ложатся грузом на совесть, на благополучие западных народов.

1 Красный пояс (фр.) — рабочие предместья Парижа.

2 Принятие, усвоение (фр.).

3 Мы дорого заплатили за все это (фр.).



Грустный серый блеск, который я видел в глазах молодых рабочих, сидящих вечерами в трамваях или на скамейках в парках и погруженных в чтение, рабочих, которые стояли и о чем-то беседовали, опираясь на парапет набережной в самом конце Островов в Ленинграде, в парке за Невой — там, где ласково бьются бледные, янтарные волны Финского залива, где далекий и туманный горизонт, как чугуны, цвета мертвого серебра, — все это чрезвычайно волновало меня и вызывало трепет. И не оттого, что я поддался холодному и печальному очарованию белых ночей в Ленинграде или вод ленивой, зеленовато-серебристой Фонтанки, что течет перед белыми дворцами, украшенными белой лепниной и золотом, — дворцами, что нынче стоят пустые и мертвые, с разбитыми окнами, кое-как заклеенными бумагой, или очарованию огромных пустынных площадей, по краям которых рядками сидят на бордюре и покачивают головами дряхлые старики. И не оттого, что я поддавался тоске, исходившей от громадных зданий Санкт-Петербурга, построенных во времена Гоголя, — громадных серых домов в районе Сенной площади, где проживал студент Раскольников, убийца из “Преступления и наказания”, где и сегодня на мостовой в тусклом, призрачном, холодном ночном свете встретишь тощих, бледных молодых рабочих с горящими глазами, с лицами, истощенными пылом первой пятилетки; как не поддавался я пыльной грусти рабочих районов Москвы, зеленому покою площади Свердлова или московских улиц, где селились богатые купцы и где за гардиной, кажется, и сегодня можно увидеть бледное и потное лицо Рогожина, услышать, как жужжит в мутном и жарком воздухе муха, вылетевшая из алькова, когда Рогожин показал князю Мышкину обнаженную ножку Настасьи Филипповны. Каждый день я ходил обедать в какую-ни-

будь столовую, как называются народные трактиры, где копеек за сорок–пятьдесят я позволял себе роскошь поесть борща — супа из капусты и свеклы, и выпить стакан чая в компании студентов университета имени Свердлова, студентов китайского университета имени Сунь Ятсена\* или рабочих химической и электрической промышленности. Мне не было неловко, когда они смотрели на меня странно, нередко враждебно, смотрели на мой костюм, на мой галстук, на аккуратно причесанные волосы, на ухоженные руки с презрением, которое меня обижало, потому что было незаслуженным, и которое я деликатно, без обиды отвергал: я чувствовал, что их презрение обращено не лично ко мне, что у меня нет ни малейшей причины краснеть, чувствовать себя с ними неловко. Не то чтобы я испытывал к ним снисхождение: их справедливое презрение относилось к обществу, к классу, к цивилизации, а не лично ко мне. К тому же гордость не позволяла мне чувствовать себя задетым их презрением. Возможно, еще и потому, что здесь ощущалась неосознанная ревность, подавляемая тяга к миру, который они не знали, но презирали. А еще, возможно, потому, что я чувствовал, их презрение доносится до меня, как эхо далеких обид, далеких несчастий, столь далекой ненависти, что она долетала до меня, словно ласка, едва касалась меня, словно горькая улыбка.

Моя неловкость была иного рода, вытекала из иного. Я чувствовал, что в Европе мы утратили способность страдать ради других, что там каждый страдает ради себя самого, только ради себя самого, что в Европе больше никто не верит в нравственную необходимость страдания. Мы утратили любовь к страданию, вкус к страданию, который в России столь неприкрыт, столь бесстыдно предстает чужому взгляду. Я чувствовал, что эти молодые люди, каждый в этой толпе рабочих страдает

ради других, что никто не страдает ради себя самого. Что каждый из них готов пожертвовать собой ради других, для того чтобы у людей была лучшая жизнь. Что каждый в России: мужчины, женщины, дети — все были готовы пожертвовать собственным счастьем, собственной жизнью ради блага других, ради счастья других. Мне было неловко, потому что я чувствовал, что в России, где Бога отрицали и нередко вслух грубо оскорбляли с каким-то звериным ожесточением, присутствие Бога ощущалось сильнее, чем в Европе, где больше не осталось сил даже отрицать Бога, что, как известно, является одним из способов утверждать его существование, призывать его, любить его. Потому что я чувствовал, что Христос был здесь, где каждый страдал ради других, ибо такова месь Христа — присутствовать там, где его отрицают, где от него отрекаются, жить и присутствовать в любви к жертве, к страданию. Наконец-то я понял, что освобождение человека было освобождением от Бога, что жестокость, свойственная человеку, советской жизни, жестокость, воспламенявшая и истощавшая советскую молодежь, представляла собой самое убедительное доказательство присутствия Бога, которое мог дать атеистический народ. Мне было неловко, потому что я чувствовал, что Христос спрятан в этих серых блестящих глазах и что он глядит на меня.

— *Le Chirst est aveugle*<sup>1</sup>, — сказала мадам Каменева.

— У Христа нет глаз, но он не слеп. Ему нужны наши глаза, чтобы видеть. *Il se cache en nous, il regarde le monde à travers nos yeux. Il se cache au dedans de nous. Au plus profond de nous même*<sup>2</sup>.

1 Христос слеп (фр.).

2 Он прячется в нас, он смотрит на мир нашими глазами. Он прячется внутри нас. В самой глубине нас самих (фр.).

— *Dieu méprise les hommes*, — сказала мадам Каменева, — он оставляет их одних. *Dieu se fout pas mal de nous*<sup>1</sup>.

— *Oui, Dieu méprise les hommes*, — сказал я. — В России люди осознают свою оставленность, свое одиночество. Величайшая сила человека в том, что он это осознает. Человек, который не чувствует себя презируемым, оставленным Богом, — не свободный человек. Это жалкий раб. Рабство народов Европы как раз состоит в убежденности, что Бог смотрит на них, помогает им, заботится о них, защищает их, сопровождает их, беспокоится о них, как отец беспокоится о своих детях, что Бог прощает их, вдохновляет их, делает их великими или жалкими. Они втягивают Бога во все свои мелкие делишки, в свои занятия, в свои страсти, в повседневную благополучную жизнь, в свое счастье и несчастье. Не верь они в то, что Бог им помогает, они не смогли бы жить, бороться, страдать, созидать, надеяться, быть счастливыми, отчаиваться. Упадок народов Европы и состоит в их неспособности привыкнуть к идее, что Бог не помогает им и не борется с ними, что Бог непричастен к их мелким делишкам: Бог ждет их у своих врат, как гигантский паук. Люди не умеют быть одни. Не умеют быть людьми. Не умеют быть счастливыми без Бога. Им постоянно требуются новые доказательства, новые знаки, новые чудеса. Им хочется, чтобы Бог выдавал себя чудесами, чтобы он являл в них свой лик. Современный мир жаждет чудес. Им неизвестно, что люди могут быть счастливы без доказательств, счастливы, не вверяя себя Богу, счастливы одни.

Мадам Каменева слушала, разглядывая свои маленькие пухлые ручки. Ногти у нее были бледные, матовые, слишком длинные для таких маленьких рук.

Она была полной женщиной, постепенно начинавшей расплываться, разваливаться, и бледность ее лица, пухлость, искажавшая руки, ноги, лицо, говорили не только о зарождавшейся усталости плоти — это был более страшный, таинственный знак. Эта женщина уже была мертва. В комнате распространялся еле слышный запах мертвой плоти. Жир, нежно наполнявший ее, освещая изнутри и придавая ей цвет мертвого янтаря, желтый цвет с медленными и глубокими зеленоватыми отблесками, был не присущей возрасту дородностью, драгоценной, мягкой, нежной и гладкой дородностью усталой плоти женщин за сорок: это была нежная дородность смерти, печальная *etbonpoint*<sup>2</sup> трупов. Было нечто похоронное в ее медлительных движениях, в отсутствующем взгляде, в тихом, глубоком голосе. Говоря, она изящно поднимала лицо, медленно шевелила губами, на которых дрожала мертвая, бескровная улыбка, что-то живое загоралось у нее на лбу, в ее глазах, но сразу меркло, как только, умолкнув, она опускала голову и лицо вновь обретало сосредоточенную неподвижность смерти. То, как она двигалась — медленно, лениво, словно испуганно, то, как она с подозрением склонялась вперед, глядя на дверь, едва раздавался шум шагов, едва поворачивалась дверная ручка, предупреждая о чем-то появлении, — все говорило о том, что она живет, страшась опасности, в тревожном ожидании западни, в кошмаре постоянной угрозы, которая чем таинственнее, тем страшнее. Именно так художник, писавший Ад и проклятые души, изобразил бы душу, которая еще не мертва, но больше не жива, душу, за которую на пороге Ада спорят тайные силы жизни и смерти. Именно так Софокл<sup>3</sup> изобразил

2 Тучность (фр.).

3 Имеется в виду трагедия Еврипида "Алкеста". (Примеч. науч. ред.)

Алкесту, о которой спорят Геракл и Танатос. Всем ароматам царского дворца Адмета не заглушить запах угасшей, усталой плоти, запах нежной дородности смерти, который тянулся за Алкестой, пока Танатос вел ее за руку в Ад. Я глядел на мадам Каменеву, и из глубины сердца у меня поднималась огромная жалость. Эта женщина уже начала умирать, она уже находилась в агонии с того дня, когда ее мужа Каменева и ее брата Льва Троцкого увели “кожанки”. И все же я чувствовал, краснея, что для этой бедной, потерянной, встревоженной, подавленной кошмаром смерти женщины жалость была бы оскорблением. Вся моя итальянская кровь и моя немецкая кровь, вся смесь итальянской деликатности и немецкой жестокости (нет, не жестокости, а фаустовской зависти к смерти, *der Todesneid*, и наслаждения мыслью о смерти, наслаждения страданием, и безжалостная суровость к самим себе, и безжалостное испытание себя и других) не позволяли мне унижить ее проявлением жалости. Эта бедная женщина была подавлена стыдом из-за того, что смешивала свое страдание и свою слабость со страданием ради других, с жаждой страдания, с “долгом” страдать ради других. Она дрожала от страха, вдруг кто-нибудь догадается, что она страдает из-за себя, за себя. Она краснела, оттого что ей было страшно, и наверняка боялась, что я замечу, что она уже начала умирать, что не усталая дородность возраста, а страшная *etbonpoint* смерти уже заполняет ее тело, уже раздувает ей ноги, руки, ладони, бледное, отчаявшееся лицо. Впервые я разглядел в ней счастливую тревогу советской жизни, страх быть недостойным страдать ради других, стыд страдать и из-за себя тоже, поразительную, хотя и холодную, жестокую решимость пожертвовать собой ради других, отдать жизнь за революцию, за коммунизм, за лучший мир, в котором *другие* будут жить

свободно и счастливо. Зависть к смерти, из-за которой я всегда чувствовал себя чужим у себя на родине, среди своего народа, столь услужливого перед смертью, вызывала у меня смятение и почти тайную зависть к тому, что эта женщина счастлива, что эта уже мертвая женщина счастлива пожертвовать собой ради дела, умереть, будучи невиновной, от рук соратников.

— *Les Russes sont heureux*<sup>1</sup>, — тихо проговорила мадам Каменева, — хотя в России нелегко привыкнуть к счастью. Дело не в привычке. Чувство счастья, к которому трудно привыкнуть, присуще только советской жизни. В Европе вы ко всему привыкаете. *Tout y devient habitude*<sup>2</sup>. Наше счастье изменчиво, непостоянно, полно нравственных и интеллектуальных приключений. Марксизм — не крепкая тюрьма, не мир из бетона и стали, не бескрайняя плоская равнина: это чудесный мир, полный чудесных новшеств, открытий, откровений, он напоминает заколдованные леса из немецких легенд. В России никогда не думают о смерти. Ленин на самом деле убил смерть. Вы ведь дружили с Маяковским? Вы помните, что Маяковский говорил о Ленине? “Самый земной из людей”<sup>3</sup>. Ленин на самом деле всю жизнь боролся со смертью и победил ее. Сегодня в России советская жизнь сведена к главным темам жизни. Мы думаем только о жизни. В этом подлинный смысл освобождения человека. Вы не думаете, что смерть смерти приведет человечество к чему-то высокому, чистому, новому?

— Вы полагаете, что можно быть счастливыми, — спросил я, — не думая постоянно о смерти?

— Нет, вы не это хотите сказать, — ответила мадам Каменева, — разумеется, вы не это хотите сказать. Вы

1 Русские счастливы (фр.).

2 Там все становится привычкой (фр.).

3 В. Маяковский. Поэма “Владимир Ильич Ленин”.

хотите сказать, что нельзя жить без мысли о смерти. — Она неспешно поправила волосы, затем подняла лицо, долго смотрела на меня, потом сказала: — Со мной все кончено. Я не жалею, что пожертвовала жизнью ради лучшего будущего людей. Я отдала всю себя делу коммунистической революции. Если бы в России еще была смерть, возможно, я бы пожелала умереть. Но смерти в России больше нет. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Она встала, подошла к окну, прижалась лбом к стеклу.

— В России смерть — это закрытая дверь, — сказала она. — Стучишь, стучишь, а никто не открывает. Так и скончаешься, словно больная собака, перед закрытой дверью. Скончаешься — вот подходящее слово. У нас кончаются, а не умирают. А все остальное, физическая смерть — просто бюрократическая формальность. Но смерти как надежного убежища, как высшей надежды, как запретного мира в России больше нет.

Я тихо сказал:

— Вы верите в Бога.

Мадам Каменева обернулась, долго смотрела на меня молча, и в ее холодных серых глазах что-то нежно умирало.

— *Ne soyez pas ridicule*<sup>1</sup>, — сказала она.

Мы стояли на Театральной площади, посреди небольшой толпы, внимательно следившей за рабочими, которые, забравшись в кузов огромного грузовика, при помощи канатов и блоков опускали на пьедестал гигантскую статую — статую драматурга Островского\*, когда, к величайшему удивлению, я увидел, как со стороны площади Свердлова медленно едет экипаж. До сих пор я экипажей в России не видел. Революция смела их



в заржавелый ад старьевщиков с фанатичной и немного смешной, детской ненавистью коммунистической революции ко всему, что представляло собой барскую привилегию, орудие индивидуализма. Это было старое ландо из траченного жучками дерева, целиком выкрашенное в черный цвет, с порозовевшим от старости и непогоды лаком. Старый, настоящий извозчик сидел на козлах, завернувшись в линялый зеленый лапсердак, на голове с всклокоченными седыми волосами чудом держался коричневый, облезлый, засаленный цилиндр. У извозчика были лохматая борода, темные, запавшие глаза, беззубый рот.

— Экипаж! — воскликнул я. Небольшая толпа тоже повернулась и теперь с любопытством разглядывала старое ландо, приближавшееся под усталое цоканье старой костлявой клячи.

— *Ne criez pas si fort*<sup>2</sup>, — сказала Марика, глядя на ландо с глубоким презрением.

Экипаж проехал перед нами, и я крикнул:

— Марика, в нем призрак!

— *Toujours des bêtises*<sup>3</sup>, — сказала Марика.

— В карете — труп царя, — сказал я.

— *You pig*.

— Там труп царя, говорю тебе, в карете призрак, покойник. Я его видел, он сидит в углу, говорю тебе, Марика, там труп.

— *You pig*.

— А может, это мумия Ленина, забальзамированный труп Ленина. Говорю тебе, я видел его своими глазами. Что тут странного? Почему он не может покататься в карете, подышать воздухом? Ах, Марика, почему ты не по-

2 Не кричите так громко (фр.).

3 Опять ваши глупости (фр.).

бежишь и не попросишь извозчика остановиться и посадить тебя в карету? Мне бы хотелось проехаться по Москве в ландо вместе с мумией Ленина.

— *You dirty pig*, — сказала Марика.

В это мгновение ландо остановилось, в окошке показалось бледное лицо, и чей-то голос сказал по-французски:

— *Bonjour, bonjour, Malaparte, est-ce que je peux vous offrir une place dans ma voiture?*<sup>1</sup>

В экипаже сидел Флоринский, нарумяненный и напудренный, маленькие желтые глазки подведены черным, ресницы жесткие от туши. Рыжий пушок выбивался из-под желтого кожаного козырька диковинной фуражки из белой парусины, которую он носил, слегка сдвинув на затылок. Он весь был одет в белый лен, на ногах у него были белые теннисные туфли и белые шелковые носки. Он сидел в углу ландо с чопорным видом, руки в белых перчатках опирались о сделанный из слоновой кости набалдашник трости из малайзийского дерева, какие носили *beaux*<sup>2</sup> в 1905 году, вроде трости Робера де Монтеस्कью на знаменитом портрете Больдини<sup>3</sup>; в руках он сжимал букет цветов. Флоринский, служивший в Министерстве иностранных дел еще в царские времена, был в Москве знаменитостью: послы, дипломатические представители зарубежных государств, впервые приезжая в Москву, встречали в качестве первого официального лица высокого, изящного, хотя и чуть полноватого, розовато-белого человека, одетого в белое, с диковинной фуражкой из белой парусины с желтым

1 Добрый день, добрый день, Малапарте! Можно Вам предложить место в моем экипаже? (фр.)

2 Красавцы, пижоны (фр.).

3 Робер де Монтеस्कью (1855–1921) — знаменитый денди; Джованни Больдини (1842–1931) — итальянский художник.

кожаным козырьком, который припрыгивал на вокзальном перроне. Это был глава протокольного отдела Наркомата иностранных дел. Флоринский махал руками и кланялся, повторяя высоким и писклявым, как у худой женщины, голосом: *“Mon cher Ambassadeur, mon cher Ministre”*<sup>4</sup>, словно он принимает не представителя Его Величества короля Великобритании или Республики Гватемала в Советской республике, а близкого друга, с которым не виделся много лет. Зимой Флоринский прятался в складках огромного пальто на волчьем меху, надвигал на обрамленный рыжими волосами лоб высокую меховую шапку, и, когда снимал пальто, казалось, будто розовая мякоть морского ежа вылезает из колючей оболочки, словно из обросшего волчьим мехом панциря вылезает розовая мякоть рака. *“Vous connaissez mes habitudes”*<sup>5</sup>, — сдержанно, стыдливо писал Жан Кокто в письме Жаку Маритену<sup>6</sup>. В Москве всем были известны привычки Флоринского, и все снисходительно над ними посмеивались. Это был образованный, остроумный, болтливый, мнительный, ехидный и злой человек. О нем рассказывали престраннейшие истории, в его присутствии старались не распускать язык. Все считали его подлецом и именно подлостью объясняли всю неоднозначность его характера и подозрительность выполняемых им обязанностей. Флоринский тоже неожиданно исчезнет во время “большой чистки” 1936 года. Но в то время, в 1929 году, он был в Москве *à la mode*<sup>7</sup> — не было стола, за которым играли в бридж и за которым сидел посол или супруга посла, чтобы его не украсило присутствие Флоринского. Я всегда спрашивал себя,

4 Мой дорогой посол, мой дорогой министр (фр.).

5 Вам известны мои привычки (фр.).

6 Жак Маритен (1882–1973) — французский философ.

7 В моде (фр.).

действительно ли он подлец, подлый человек. В то время требовалась немалая смелость, чтобы в Стране Советов афишировать некоторые *“habitudes”*<sup>1</sup>. У революций всегда есть пуританская сторона. Красивые женщины, красивые мужчины, остроумные люди, особенно красивые мужчины, в революционное время постоянно подвергаются опасности, причем куда большей, чем некрасивые. Революции ненавидят физическую красоту, прикрываясь необходимостью защищать красоту нравственную. Можно быть красивым и добродетельным человеком, но не в революционное время. Физическая красота для фанатиков-якобинцев или коммунистов всегда является реакционной и контрреволюционной. Лишь позднее, когда улягутся страсти, толкающие к бунту, мести, резне, историки обнаружат, что Людовик XVI был уродлив, Мария-Антуанетта отнюдь не была красавицей, а царь Николай был маленького роста. Но к половым извращениям революции проявляют чудовищную нетерпимость. Польский посол Патек, знавший Флоринского двадцать лет, говорил: *“Qu’il avait tellement peur de se compromettre, qu’il couchait avec des femmes”*<sup>2</sup>. И, подняв глаза к небу, прибавлял: *“Ce pauvre Florinski! Quelle abnegation! Quelle preuve de foi communiste!”*<sup>3</sup> Когда Москву заполонили голодные шайки беспризорников, которые нападали на квартиры и на прохожих, совершали всякого рода кражи и убийства, сколачивали страшные детские банды, где царили *débauche*<sup>4</sup>, кокаин, сифилис, проституция, рассказывали, что Флоринский бродил ночами в поисках беспризорников, приво-

1 Привычки (фр.).

2 Он настолько боялся себя скомпрометировать, что даже спал с женщинами (фр.).

3 Бедный Флоринский! Какая самоотверженность! Какое доказательство коммунистической веры! (фр.)

4 Разврат (фр.).

дил к себе домой, кормил и оставлял у себя, превращая на несколько дней в своих *mignon*<sup>5</sup>. Его черный экипаж стал легендой. Единственный экипаж, который остался во всей России. Черное ландо из траченного жучками дерева, с рванными сиденьями, из которых лезли пакля и конский волос, выражало наивысшую эlegantность декадента: ландо Флоринского было, как *oeillet vert*<sup>6</sup> Оскара Уайльда, как галстук и борода Монтескью. Подобно тому как некоторые декаденты-извращенцы одеваются эксцентрично, уступают необычным привычкам, позволяют себе невероятную роскошь и свободу, Флоринский своим старым ландо делал уступку любви ко всему необычному, драгоценному, декадентскому. Ландо было его альковом, тем, чем для некоторых героев Пруста была ложка театра. Подобный отчасти похоронный вкус удивлял в таком человеке, как Флоринский, — вечно веселом, улыбающемся, манерном, легком и *spirituel*<sup>7</sup>, однако меня это вовсе не удивляло: мне казалось очевидным, что за улыбчивостью Флоринского скрывается исключительный вкус ко всему похоронному, смутное наслаждение всем мертвым. Ландо было и его будуаром, и старинным окном, из которого он глядел на новый мир — то ли с любовью, то ли с сожалением. Он сидел в углу, выпрямив спину, опираясь о набалдашник трости, и букет цветов, который он сжимал в руках, по контрасту подчеркивал бело-розовый оттенок нарумяненного лица, которому подведенные глаза, удлиненные карандашом брови, накрашенные тушью ресницы придавали сходство с восковой маской. Он засмеялся и, смеясь, показал слишком белые зубы — настолько белые, что они казались ненастоящими. Он гля-

5 Фаворит (фр.).

6 Зеленая гвоздика (фр.). (Символ гомосексуальности.)

7 Остроумном (фр.).

дел на Марику с явным раздражением, как на непрошеного гостя. Я уселся напротив, Марика — рядом с ним. На коленях у него лежала коробка шоколадных конфет, в которую он то и дело запускать длинные пальцы с блестящими розовыми ногтями. Конфеты были из Варшавы, от знаменитого Фукса<sup>1</sup>. *“J’aime me promener chaque jour dans ma voiture. Moscou est très jolie, quand on la regarde par la portière d’une voiture comme celle-ci”*<sup>2</sup>. И прибавил, скривившись: *“Je déteste les autos”*<sup>3</sup>. Я наблюдал за этим удивительным персонажем с грустью и толикой презрения. Флоринский не был новоявленным коммунистом, он вступил в большевистскую партию за несколько лет до революции. Помусолив во рту шоколадную конфету, он выплюнул ее в носовой платок и аккуратно завернул в мягкие складки тончайшего батиста. Он был старым большевиком, одним из членов старой ленинской гвардии. Коммунистическая революция привлекла его нездоровым, декадентским началом, “игрой”, присутствовавшей в тайной конспирации, подполье, опасной деятельности. Его марксизм нельзя было назвать дилетантским: он оказался на этой стороне по той же причине, по которой братья Гонкур оказались на противоположной. Не из снобизма, как можно было решить на первый взгляд, а из-за вкуса к драгоценному, редкому, выходящему за рамки нормы. Для него марксизм являлся своеобразным дополнением его извращенной природы. *“Voulez-vous un chocolat?”*<sup>4</sup> — спросил он меня. Конфеты были от знаменитого Фукса, из Варшавы. Флоринский, хотя его фамилия выдавала польское происхождение, недолюбливал поляков. “А, конфеты от Фук-

1 Юлиан Фукс — варшавский кондитер. (Примеч. ред.)

2 Я люблю каждый день прогуливаться в своем экипаже. Москва очень мила, если смотреть на нее из подобного экипажа. (фр.)

3 Ненавижу автомобили (фр.).

4 Хотите шоколадную конфетку? (фр.)

са! — воскликнул я. — В мире нет ничего вкуснее”. Флоринский весело расхохотался, раскрыв рот и катаясь по сиденью от смеха, словно напоказ, как обычно делают женщины. “*Ça vous rappelle Skirmunt?* — спросил он меня. — *Où peut-il bien être ce pauvre vieux Skirmunt?*”<sup>5</sup>

— Боюсь, он умер, — сказал я.

За несколько дней до этого я встретил Флоринского в “Скале”, шикарном московском *tabarin*, куда ходили одни иностранцы. Он долго говорил мне о Варшаве, спрашивал, знаком ли я с бывшим польским послом в России Скирмунтом\*. Я рассказал ему забавную историю о том, как Скирмунт пригласил меня на обед в римский отель “Эксельсиор”. В то время я только что вернулся из Варшавы, где провел почти два года в качестве молодого советника дипломатической миссии, возглавлял которую Томмазини\*. В Варшаве итальянское посольство располагалось во дворце Мауриция Потоцкого\* на улице Краковское предместье<sup>6</sup>. Мне не было известно о *habitudes* Скирмунта, и я страшно удивился, когда посол принял меня в домашнем халате. Скирмунт уже был старым, худым, но отличался кажущейся *embonpoint*<sup>7</sup>, как бывает у слишком розовых, слишком белых, слишком ухоженных худых людей. Я не мог решить, остаться или уйти, поскольку мне не нравился обед с глазу на глаз в гостиничном номере со стариком, который опрокидывал одну рюмку водки за другой. От алкоголя он приходил в возбуждение, начинал смеяться, бегать по номеру, трясая шейкером, раскладывая закуски, *hors d'oeuvres*<sup>8</sup>, на большом серебряном подносе, то касаясь

5 Это напомнило вам о Скирмунте? Где он может быть, бедный старик Скирмунт? (фр.)

6 Улица Краковское предместье — центральная улица Варшавы. (Примеч. науч. ред.)

7 Дородность, грузность (фр.).

8 Закуски (фр.).

пальцами, словно лаская, бутылки с алкоголем, то дотрагиваясь кончиком ногтя до ломтиков копченого лосося, которые лежали на поджаренных кусочках хлеба, то подхватывая кончиком серебряной вилки разложенные по серебряным тарелочкам икру, масло, маринованные овощи, сардинки, кильку и зеленые греческие оливки. Официанты тайком следили за мной с едва заметной улыбкой, а я не знал, как быть — уйти или остаться. В конце концов я решил остаться, успокоенный присутствием прислуги. Слуги тоже были польские, с большими свисающими усами, какие до сих пор носят горцы из Закопане в Татрах: на них были странные красные ливреи с тонкой золотой вышивкой на рукавах и вокруг петлиц. Мы приступили к еде, Скирмунт, возбужденный алкоголем и надеждой на добычу, протягивал мне закуски и рюмки водки; когда он лихорадочно махал руками, халат распахивался, обнажая дряблую розовую грудь, поросшую седыми волосками, напоминавшими пушок над ушами у греческих статуй Аполлона. Обед по польскому обычаю перетекал от закуски к закуске и от рюмки к рюмке, потом мы перешли к “баршчу” — то есть польскому борщу, а от “баршча” — к “гэнсь”, традиционному гусю, плавающему в пурпурном черничном озере, от гуся — к жареной телятине, обернутой ароматными лавровыми листьями, “*le laurier du Capitole*”<sup>1</sup>, — сказал Скирмунт, хватая пальцами свернутое трубочкой мясо и пытаясь дотянуться через стол, чтобы запихнуть мне его прямо в рот жестом, который почему-то напомнил мне Марию-Антуанетту и ее милые безумства в Трианоне (что, вне всякого сомнения, было весьма непочтительным по отношению к памяти бедной Марии-Антуанетты). По мере этого я замечал, как



постепенно между моим амфитрионом и его польскими слугами сгущалась таинственная атмосфера общности: слуги окружили мой стул и наливали мне в бокал разные вина с такой подчеркнутой любезностью, которая не могла не вызвать подозрения. Я чувствовал себя пленником душистой Бастилии, попавшим в жернова опасного заговора, на которые поляки мастера. Я ждал, что с минуты на минуту кто-нибудь вопьется мне сзади в шею. Скирмунт отослал двух итальянских слуг из “Эксцельсиора”, и с этого мгновения я знал, что погиб. Хотя я тоже выпил, поскольку меня к этому принуждали, я все же владел собой, хотя и не вполне владел своими мыслями, и уже понимал, какие опасности мне грозят. Один раз, когда я попытался подняться, на плечо мне легла тяжелая рука и заставила опуститься обратно на стул. Я уже приготовился к борьбе, когда Скирмунт, вскочив на ноги, решил научить меня танцевать польскую мазурку — полонез. Я учился полонезу в Варшаве у совсем других учителей и всегда с удовольствием танцевал этот изящный, полный воинского духа танец в салонах княгини \*\*\*, в ее прекрасном доме, где бывали офицеры 3-го Уланского полка. Я хотел было уклониться, Скирмунт, пока слуги хлопали в ладоши, отбивая ритм, уже пытался заставить меня сделать первые шаги, как дверь распахнулась и *en coup de vent*<sup>2</sup> с криком “*ah, mon cher!*”<sup>3</sup> вбежала графиня Потоцкая, жившая в то время в Риме в прекрасной квартире на Тринита-деи-Монти. Сопровождал ее, если я правильно помню, венгр, граф Пальфи\*. Увидев ее, Скирмунт побагровел от гнева, замотал халат на животе на подобие тоги и грозно двинулся на графиню Потоцкую

2 Стремительно (фр.).

3 Ах, мой милый! (фр.)

с воплем: “*Ah, malheureuse!*”<sup>1</sup> При этом он размахивал руками как одержимый. Я уже готовился бежать, воспользовавшись сим счастливым и неожиданным обстоятельством, как услышал крик, обернулся и успел увидеть, как графиня Потоцкая прижимает ладонь к лицу, Скирмунт отводит свою руку, а воздух еще дрожит от святотатственной пощечины. Которая оказалась первой, но не последней. Граф Пальфи ринулся вперед и с изыщством, с которым некоторые господа совершают все действия, наотмашь ударил Скирмунта по щеке на глазах у изумленной польской прислуги. Не знаю, что было дальше, потому что я выскочил в дверь, бегом спустился по лестнице и не был свидетелем подобия старинной итальянской комедии, в которой непременно наступает момент, когда все маски принимаются лупить друг друга палками. Эта пощечина наделала в Риме много шума, хотя пощечины в Риме не такая уж редкость. Мой рассказ чрезвычайно понравился Флоринскому; вероятно, это приключение и объясняет сердечную симпатию, которую он неизменно проявлял ко мне.

Сидя в углу своего похоронного экипажа, Флоринский мусолил во рту шоколадные конфеты от Фукса и весело посмеивался, при этом голова его подпрыгивала на плечах — наверное, так смеялись некоторые герои Гоголя. “*Ah, ce pauvre Skirmunt!* — говорил он со смехом. — *Je le vois d’ici, dans sa robe de chambre*<sup>2</sup>, хи, хи, хи, хи!” Всякий раз, встречая меня в *fumoir* театра, на дипломатическом приеме, в концертном зале, он просил снова и снова рассказать о приключении со Скирмунтом, о том, как Скирмунт влепил пощечину княгине Бетке Радзивилл, а после, вдоволь насмеявшись, спрашивал:

1 О, несчастная! (фр.)

2 Ах, бедный Скирмунт! Так и вижу его в домашнем халате (фр.).

“Почему бы вам не написать историю самых знаменитых римских пощечин?” Разумеется, он предлагал начать с пощечины, которую Шарра Колонна дал папе Бонифацию VIII в соборе в Ананьи<sup>3</sup>.

“*Non, laissons en paix l'antiquité*”, — отвечал я, — современные пощечины куда забавнее”. И я рассказывал ему истории самых знаменитых пощечин, которые были отвешены или получены в Риме за последние годы. Ограничившись иностранным дипломатическим корпусом, я подсчитал, что не было посольства или дипломатического представительства при Квиринале или при Ватикане, в котором за последние десять лет не раздавалось бы оплеух или не разыгрывалось бы скандалов. Флоринский “*adorait*”<sup>5</sup>, как он выражался, подобные *potins*<sup>6</sup>. “*Vous savez les raconter si bien!*” — говорил он. — “*C'est un art, un art véritable*”<sup>7</sup>. — А затем прибавлял: — И в английском посольстве тоже?”

— Разумеется, — отвечал я, — но рассказывать об этом нельзя.

Вот и сейчас он вернулся к этой теме.

— *Pourquoi pas?* — восклицал Флоринский, хватая меня обеими руками за колени. — *Si vous me racontez cela, je vais vous raconter les potins de Moscou. Car il y a des histoires de gifles u в Москве!*<sup>8</sup>

3 Имеется в виду легендарное событие 1303 г., когда французский король Филипп IV послал в Италию Г. Ногаре арестовать папу и доставить его во Францию. В городке Ананьи папа Бонифаций отказался уйти и якобы получил пощечину от Джакомо (Шарры) Колонны. (Примеч. науч. ред.)

4 Нет, оставим в покое древность (фр.).

5 Обожал (фр.).

6 Сплетни (фр.).

7 Вы так хорошо их рассказываете! Это искусство, подлинное искусство (фр.).

8 Отчего нет? Если вы мне об этом расскажете, я вам перескажу московские сплетни. Ведь истории с пощечинами случаются [и в Москве] (фр.).

— *Je le pense bien!*<sup>1</sup>

— *Racontez-moi le scandale de l'Ambassade d'Angleterre, et je vous raconterai l'histoire de la femme de notre Commissaire...*<sup>2</sup>

Я рассказал ему историю об английском посольстве в Риме, которую не могу здесь повторить. Флоринский сжимал мне колени дрожащими руками, сидел, нагнувшись вперед, приоткрыв рот, чуть высунув язык, шипя от удовольствия, радости, удивления и стуча ногами, содрогаясь всем телом.

— *Et alors, Son Excellence l'Ambassadeur d'Angleterre... dites, dites encore... votre Ministre des Affaires Étrangères, M. Grandi\*... dites, oh dites encore, je vous prie... la police... ah ah ah! Toute une nuit au violon... ah ah ah!*<sup>3</sup> — и он шипел, чуть высунув язык, словно обжегшись конфетой Фукса.

— Товарищ Флоринский! — повторяла Марика со строгим видом.

— *Oh je le sais, je le sais, tout ça n'est pas digne de la révolution, etc. etc. vous n'êtes qu'une petite fille, vous ne comprenez rien à la vie...*<sup>4</sup> — огрызался Флоринский, глядя на Марику с сердитым нетерпением. И, поворачиваясь ко мне, говорил: — *Oui, naturellement, mais croyez-vous qu'à Moscou il n'arrive pas des pareilles histoires?*<sup>5</sup> — И он принимался рассказывать мне все *potins*, все скандалы в среде высших партийных и государственных чиновников, высшего командования Красной армии, советских диплома-

1 Охотно верю! (фр.)

2 Расскажите мне о скандале в английском посольстве, а я расскажу вам историю о жене нашего комиссара (фр.).

3 И тогда Его превосходительство посол Англии... расскажите, расскажите еще раз... ваш министр иностранных дел Гранди... расскажите, ну расскажите еще раз, умоляю... полиция... ха, ха, ха! Всю ночь в кутузке... ха, ха, ха! (фр.)

4 О, я знаю, знаю, все это недостойно революции, и т.д., и т.п.; вы еще маленькая девочка, вы ничего не понимаете в жизни... (фр.)

5 Да, разумеется, но неужели вы полагаете, что в Москве не происходит подобных историй? (фр.)

тов — в общем, высшего советского общества, которое сегодня, спустя почти двадцать лет, после трех пятилеток и войны, кажется нам *ancien régime*<sup>6</sup>. Флоринский был типичным продуктом тех лет, ярким представителем высшей ступени коммунистического *ancien régime*. В нем смешивались все нравственные, эстетические, общественные, интеллектуальные элементы периода военного коммунизма, соединяясь с пестрой закваской НЭПа и троцкизма, которая окрашивала советскую жизнь в тот период: ощущение временности, тоска по подпольной борьбе, сохранение вкусов, привычек, предубеждений, обычаев светской жизни царского времени, моральное дистанцирование от усилий по строительству социализма, то есть от сталинизма. Всё, что мы сегодня вкладываем в слово “троцкизм”, проявлялось у Флоринского с бесстыдной яркостью, с мутной искренностью, которой его извращенная природа придавала невероятно сильный, пикантный вкус. Все, что вкладывают в смысл слов Гёте “гибкие законы”, *bewegliche Gesetze*, которым новое советское общество отказывалось подчиняться, хотя и подчинялось им неосознанно, в темной глубине сознания, проявлялось безо всяких последствий у Флоринского, в декадентском коммунистическом обществе, уже уступавшем место новому сталинскому обществу, в которое вдыхали жизнь пятилетние планы. Пожелай я сравнить Флоринского и общество его времени с кем-то из исторических персонажей, я бы сравнил его с невероятными персонажами периода Директории, с членами тесного общества, сплотившегося вокруг Жозефины Богарне<sup>7</sup>. Старый марксист и старый революционер, Флоринский до сих пор под-

6 Старый режим (фр.).

7 Жозефина Богарне — первая жена Наполеона Бонапарта.

чинялся закваске, которую старый царский режим, буржуазное общество оставили в наследство не деятелям революции, а новому коммунистическому (или так называемому коммунистическому) обществу, рожденному революцией 1917 года. Я хочу сказать, что Флоринский был ровесником НЭПа, а не ровесником первой пятилетки. Он был декадентом, как декадентским было все коммунистическое общество тех лет, во многом пронизанное, зараженное удивительными, опасными дуновениями троцкизма, во многом волнуемое страстями, амбициями, извращениями, смысл которых выражает слово “троцкизм” не только в плане коллективной морали, но и в плане индивидуальной.

Любовь Флоринского к светской жизни, его снобизм, тяга к запретным наслаждениям, легкий и одновременно грубый цинизм, его скептицизм, заметный в отношении к рядовым проблемам советской жизни, но направленный прежде всего на постулаты коммунизма и коммунистической жизни, отличали не его одного, а всю советскую знать того времени. Некоторые полагали, будто Флоринский является образцовым воплощением упадка общества времен военного коммунизма, что он предвещает его закат. Он был или казался героем Пруста, но у него было то, чего не хватает героям Пруста, — не только ностальгия по прошлому, но и пророческая сила печали, сожаления о былом, оборачивающаяся предчувствием будущего. Все линии перемешанных между собой, запутанных, пересекающихся жизней героев Пруста соединяются, словно вожжи в руках кучера, который правит четверкой лошадей, в запачканных воском пальцах Пруста, который, дойдя до последней страницы, “преисполненный покорной бледности воска, но счастливый, что его сладкой агонии денди в жемчужно-сером и черном верят”, в “дыму воскурений, с оку-

танными ночной тьмой лицом и голосом”, в “черной влаге спальни”, при свете “лампы, ярком и липком, как варенье”, в ночи, полной “белых вспрышек цветов орхидей и платьев Одетты”, хрустала “бокалов, люстр и оборок жабо генерала де Фробервиля”, медленно засыпает в своей постели, постепенно разжимая кулак. (Я привожу слова Поля Морана, оставленное им своеобразное описание Марселя Пруста, поскольку Моран был наделен исключительным талантом хрониста, чутьем, с которым он находил исключительных людей<sup>1</sup>.) Флоринский был героем Пруста, как пушкинский Евгений Онегин, гончаровский Обломов могли быть героями Пруста — Пруста, появившегося в русской жизни. Самим своим половым извращением Флоринский предвещал трагический закат революционного общества, испорченного наслаждением властью, неупорядоченным применением этой власти, столкновением непомерных амбиций, особой аморальностью элиты, хранящей верность недостижимой утопии. Спустя некоторое время Флоринскому, этой трагической и гротескной маске советского *ancien régime*, суждено было исчезнуть вместе с Радеками\*, Зиновьевыми, Каменевыми, Тухачевскими, со всей шайкой троцкистских декадентов, так называемых предателей. Для меня он был идеальной маской троцкизма — гротескный и похоронный персонаж с нарумяненным лицом, подведенными глазами, розовыми блестящими ногтями, сидящий, словно труп, в углу старого черного ландо, который по шумным московским улицам тащила несчастная, выдохшаяся кляча, кожа да кости.

Он сидел, выпятив грудь, в углу ландо, опираясь обеими руками о набалдашник трости, на коленях — букет цветов, и, хихикая, мусолил во рту конфеты. Он казался

1 Из стихотворения Поля Морана “Ода Марселю Прусту”.

стариком, мерзким стариком (хотя ему не было и пятидесяти), с маленькой, пухлой, розовой головой, с белой кожей, с маленькими девичьими ручками, с фарфоровыми зубами. Его жесты поразительно контрастировали с жесткостью поведения — мягкие, изящные. Разговаривая, он взмахивал руками, словно следуя ритму таинственной музыки; рука то и дело замирала в воздухе, ногти вспыхивали розовым в полумраке экипажа. У него был пронзительный голос, порой напоминавший голос старика, порой — запальчивого мальчишки. По-французски он говорил изысканно, с манерной слащавостью, с акцентом, характерным для русских из хороших семей, который, по словам Тургенева, представлял собой французское произношение XVIII века, сохранившееся в России и в Польше. Но больше всего в нем удивляло то, что он говорил о советской знати, по большей части возникшей ниоткуда, не отличавшейся утонченностью и манерами, словно он говорит о персонажах *Faubourg, Jockey Club* или *Grosvenor Square*<sup>1</sup>. Он рассуждал о Томских\*, Радеках, Ворошиловых\*, Луначарских с тем же снобизмом, с каким в иные времена говорил бы о графине де Ноай, о принцессе Фосиньи-Люсиньж или о герцогине де Полиньяк<sup>2</sup>, а о Сталине — как если бы он говорил о Состене де Ларошфуко<sup>3</sup>. Он описывал мне туалеты мадам Луначарской, как описал бы туалеты Скъя-

1 Предместье (фр.), Жокейский клуб, площадь Гросвенор (Лондон).

2 Анна де Ноай (1876–1933) — румынская аристократка, в замужестве герцогиня де Ноай, романист, знакомая М. Пруста, П. Валери и др.; Фосиньи-Люсиньж — возможно, французская аристократка, в замужестве княгиня Мари де Фосиньи-Люсанж (1832–1915), знаменитый парижский коллекционер; герцогиня Иоланда де Полиньяк (в девич. де Поластрон) (1749–1793) — подруга французской королевы Марии-Антуанетты. (Примеч. науч. ред.)

3 Состен де Ларошфуко (1785–1864) — виконт, преданный сторонник Бурбонов, при Карле X курировал искусство, после падения Бурбонов, сохраняя верность свергнутой династии, удалился от дел, автор мемуаров. (Примеч. науч. ред.)



парелли на Барбаре Хаттон. Он упорно описывал мне, как ведет себя за столом глава советских профсоюзов Томский, словно описывая безупречное поведение Бони де Каstellлана<sup>4</sup> за столиком, где играют в баккара. Любовные истории, скандалы, измены, разводы советской знати у него на устах превращались в скандальную хронику *upper ten thousand* времен Эдуарда VII или *fleur de pois*<sup>5</sup> времен Лубе или ди Фальера<sup>6</sup>. Я не хочу сказать, что он сравнивал советское общество с петербургским обществом царского времени, с парижским или с лондонским обществом, он рассказывал о нем так, как современник Эдуарда VII рассказывал бы о светском обществе своего времени. Его моральный упадок, его декадентство проявлялись в стремлении высмеять коммунистическое общество, не отсылая к образцу, созданному царским *ancien régime*. Он осознавал развращенность общества, к которому принадлежал, и высмеивал его, словно у него перед глазами не образец, созданный царским обществом, которое тоже было развращенным, но великолепным, отличающимся *grandes manières*<sup>7</sup>, а образец идеального коммунистического общества, который он уже считал недостижимым и который потерпел крах еще до рождения. В этом и заключался его троцкизм. Он рассуждал об извращениях из советской знати, оглядываясь не на непревзойденные образцы поколения Оскара Уайльда, а на образцы марксистского общества, о рождении которого говорил Ленин. А я с удивлением спрашивал себя, каким в глазах Флоринского мо-

4 Бони (Бонифас) де Каstellлан (1867–1932) — маркиз, знаменитый денди французской “прекрасной эпохи”; один из прототипов Робера де Сен-Лу, персонажа “В поисках утраченного времени” М. Пруста. (Примеч. науч. ред.)

5 Сливки общества (фр.).

6 Эмиль Лубе (1828–1939). Арман Фальер (1841–1931) — президенты Франции.

7 Великолепные манеры (фр.).

жет быть идеал извращенца в совершенном марксистском обществе.

Возможно, им был Карахан, знаменитый Карахан, прославившийся коммунистической революцией в Китае, затем ставший послом в Анкаре, а затем заместителем наркома иностранных дел: красивый, загадочный, высокий, худощавый, с черной острой бородкой, какие носили в XVI веке, с глазами, спрятанными за стеклами очков. Карахан великолепно играл в теннис, всегда носил безупречный костюм из белой фланели, им восхищались все дамы из среды иностранных дипломатов, толпившиеся, чтобы увидеть его игру, вокруг теннисных кортов особняка на Спиридоновке, на одноименной улице, где проходили официальные приемы Наркомата иностранных дел, где устраивали официальные обеды, балы. В Карахане появлялось что-то звериное, когда он бегал по корту, когда вытягивал руку, когда его тело вибрировало. Он играл только теннисными мячами, которые ему поставляли прямо из Лондона, от Лили Уайт, как и его шляпы, которые, самой собой, были от Лока, и его галстуки, которые были от Уайтлока, с Сент-Джеймс-стрит и с Пэлл-Мэлл, как и его фланелевые костюмы с Сэвил-роу. Он говорил с улыбкой, что русские мячи неэластичные: *"Elles sont intransigeantes"*<sup>1</sup>. В нескольких шагах, следя за малейшим его движением, холодно оценивая каждый его удар, стоял тренер по теннису со Спиридоновки, знаменитый Ульянов — красивый, высокий, светловолосый мужчина с голубыми глазами, за которым ухаживали все дамы из дипломатического мира, лишь бы добиться от него милости и взять несколько уроков тенниса. В то время в Москве судачили о Карахане и о его романе с балериной Семеновой,

самой знаменитой балериной Большого театра, которой московская публика, огромная пролетарская толпа, наполнявшая каждый вечер бескрайний зал Большого театра, прощала любой каприз, любой нервный срыв, любую фантазию. Семенова была невысокого роста, полная, с блестящими белокурыми волосами, но жесткая, с ясными холодными глазами: у нее было гордое, дерзкое выражение; достаточно было увидеть, как она поворачивает голову (она поворачивала голову рывком, словно ящерица), чтобы понять, насколько отрепетированными были ее капризы и фантазии, сколько холодного расчета в ледяных вспышках гнева. Бывало, из-за малейшего промедления дирижера, еле слышной фальшивой ноты скрипки Семенова останавливалась посреди пируэта, прерывала танец и замирала — неподвижная, враждебная, мраморная — в центре сцены. Публика растапливала лед ее капризов горячими аплодисментами, в ответ на которые она кланялась с дерзким и высокомерным снисхождением. “*La Semionowa*, — говорил английский посол сэр Эсмонд Овей, — *est le seul être au monde qui pourrait danser sur un volcan*”<sup>2</sup>. “*Vous oubliez Karakan*”<sup>3</sup>, — возражал немецкий посол барон фон Дирксен. Когда имя Семеновой значилось в афише спектакля, Сталин не пропускал ни одного из балетов: каждый вечер Сталин заходил в маленькую ложу у авансцены и садился в глубине, в полутьме. В ложе напротив сидел Карахан, невозмутимый Карахан, всей спиной прислонясь к спинке кресла, голова с дерзким холодным профилем слегка закинута назад. Отношения между Караханом и Семеновой были излюбленной темой за всяким столом в иностранных посольствах, где играли в бридж.

2 Она единственная в мире осмелится станцевать на вулкане (фр.).

3 Вы забываете о Карахане (фр.).

Имя Семеновой куда чаще мелькало в сплетнях о советской знати, чем, к примеру, имя Егоровой, жены генерала Егорова, начальника Генерального штаба Красной армии, — очень красивой, тоже невысокого роста, брюнетке, которой округлая полнота придавала сходство с покоящейся в бархатной коробочке жемчужиной: она была наделена холодной томностью жемчужины, неприступной хрупкостью, полной переливов серого отстраненностью и безучастностью, из-за чего казалась рассеянной и далекой. Егорова демонстрировала холодное презрение ко всем *beauties* советского общества, особенно к жене Луначарского, имя которой ежедневно мелькало в светской хронике и в скандалах, и выказывала снисходительность (возможно, чтобы презрение к остальным выглядело еще беспощаднее и оправданнее) к жене героя Красной кавалерии маршала Буденного — смуглой даме с вызывающими формами, манкой, но непростительно вульгарной. Флоринский, говоря о Буденной, ехидно посмеивался, выставлял ладонь, чтобы показать, какая она маленькая, и раскрывал пальцы, чтобы показать, какая она кругленькая и толстенная. “*Son mari aime les chevaux*<sup>1</sup>, — смеялся он, втягивая голову в плечи, словно черепаха. — Хи! хи! хи!”

Впрочем, возможно, идеалом извращенца в марксистском обществе был для Флоринского барон фон Штейгер. Я никогда не видел настолько бледного и настолько вызывающего подозрение человека, как фон Штейгер. Лет сорока пяти, маленький, сторбленный, худой, с пепельным лицом, с короткими ручками — до того бескровными, что они казались прозрачными. В первое мгновение казалось, будто его руки обрезаны по запястья. Когда он играл в бридж, сквозь ладони

были видны карты. Зубы у него были плохие: улыбка вспыхивала зеленым. Казалось, будто во рту пробегает ящерица. До революции фон Штейгер был офицером 4-го Уланского гвардейского полка и, насколько можно судить, занимал определенное положение в петербургском светском обществе. Теперь он служил в Комиссариате иностранных дел и тесно общался с зарубежными дипломатами, нередко появлялся рядом с женой Бубнова, который после смерти Луначарского займет его должность в Комиссариате просвещения. Бубнова была высокой, атлетического сложения женщиной, с черными волосами, покрытой пушком: она заведовала Торгсином — магазином, где торговали произведениями искусства и где обслуживали исключительно иностранных покупателей, плативших в валюте. Флоринский испытывал к фон Штейгеру нечто вроде робкого обожания, и я не раз замечал, что его взгляд, обращенный на бывшего гвардейского офицера, полон нежной, почти отеческой любви. Фон Штейгер, как и Флоринский, был одним из тех, кто часто играл в теннис в итальянском, английском и немецком посольствах, где летом любил собираться дипломатический мир; зимой все отправлялись кататься на лыжах на Николину гору — в деревеньку, стоящую на тринадцатой версте от Москвы, или назначали встречи на *patinoire*<sup>2</sup> английского посольства, где леди Овей (Эдит Ситуэлл<sup>3</sup> сказала бы, что она маленькая, смуглая, худая, горячая, что выдает мексиканское происхождение) принимала гостей, закутавшись в черную шубку из кавказской козы, в которой она трепыхалась, словно неутомонный козленок в утробе матери. Флоринский отзывался об обществе зарубеж-

2 Каток (фр.).

3 Эдит Ситуэлл (1887–1964) — английская писательница, поэтесса, литературный критик. (Примеч. ред.)

ных дипломатов с вежливостью, за которой скрывалась то ли пугливая осторожность, то ли недобрая ревность. Ревновал он прежде всего к советнику английского посольства сэру Уильяму Стрэнгу — рослому, худому, постоянно охваченному беспокойством молодому человеку, с внимательным, острым, вечно тревожным взглядом из-под очков, которые отчасти скрывали ироничный и раздражающий блеск глаз. Когда позднее сэр Уильям Стрэнг отбыл из Москвы, оказалось, что он близкий друг сэра Энтони Идена<sup>1</sup>: он стал одним из его ближайших соратников, а затем, совсем недавно, политическим советником руководителя английского сектора в Берлине. *«Ce grand garçon, — говорил Флоринский, — n'a pas l'air de se trouver à son aise, à Moscou»*<sup>2</sup>. В этих словах было сосредоточено все опасное коварство Флоринского.

— *Pourquoi pas?*<sup>3</sup> — спросил я.

— *Il n'aime pas von Steiger*<sup>4</sup>, — ответил Флоринский.

— Вы ошибаетесь, — возразил я, — он недолюбливает Гельфанда\*...

— Гельфанда! — воскликнул Флоринский с едва уловимым легким презрением.

— ...и на дух не выносит Рубинина\*.

— Рубинина! — воскликнул Флоринский с тем же выражением, с которым он произнес фамилию Гельфанда.

Сэр Уильям Стрэнг не зря недолюбливал Гельфанда. Этот Гельфанд, начальник восточного отдела Народного комиссариата иностранных дел, худой человек с раскосыми глазами и влажными ладонями, обладал непомер-

1 Энтони Иден (1897–1977) — английский политический деятель, во время Второй мировой войны — министр иностранных дел (1940–1945). (Примеч. ред.)

2 Кажется, этому большому ребенку в Москве неуютно (фр.).

3 Почему? (фр.)

4 Он недолюбливает фон Штейгера (фр.).

ными амбициями. Затаенная злоба против коллег, у которых дипломатическая карьера складывалась удачнее, к которым были благосклоннее судьба или друзья, покровители, союзники, неосторожно прорывалась в разговорах — нередко наивных, нередко неосмотрительно глупых, которые вела его жена\* — высокая, красивая брюнетка с Кавказа, у которой была удивительно белая и мягкая кожа с шелковистым отливом и красные, словно из эмали, глаза: эти красные, живые, пристально глядящие, полные наивной ненависти, невинной злобы, глупой зависти глаза выдавали подлинные, тайные чувства, которые испытывал ее муж. Позднее Гельфанда назначили культурным атташе в советское посольство в Риме, откуда он при помощи графа Чиано<sup>5</sup> бежал в Мексику. Он был предатель, подлец. Сэр Уильям Стрэнг не зря недолюбливал Гельфанда.

— *Strang n'aime pas Steiger*, — повторил Флоринский с глубоким сожалением.

— *Et vous, vous êtes sûr d'aimer Steiger?*<sup>6</sup> — спросил я.

— Совсем не уверен! — ответил Флоринский со смехом и после долгого молчания, во время которого он постукивал тростью об пол и поглядывал в окошко, завел разговор о балерине Абрамовой\*, смуглой, худощавой балерине Абрамовой, которую он предпочитал Семеновой, и о новой жене шведского посла Юлленшерны\*, который менял жен раз в полгода, и о супруге германского посла — высокой, огромной баронессе Хильде фон Дирксен\* с розовым личиком под белой копной волос, с которой он был очень дружен. Флорин-

5 Граф Джан Галеаццо Чиано (1903–1944) — итальянский политик, зять Б. Муссолини, в 1936–1944 гг. министр иностранных дел Италии. Расстрелян за участие в заговоре против Муссолини; в романе “Капут” Малапарте оставил портрет Чиано и его пространную характеристику.

6 А вы уверены в том, что любите Штейгера? (фр.)

ский рассказывал о ней без злобы, обходительно, как человек благородный (*"Florinskij est tout de même un monsieur"*<sup>1</sup>, — говорил французский посол Эрбетт, бывший главный редактор "Ле Тан"), посмеиваясь над ее невинными причудами, над тем, что ей всегда хотелось выигрывать в теннис, над тем, что она терпеть не могла высокие каблукки, над тем, как однажды она отчитала за слишком высокие каблукки дочерей норвежского посла Кюллики и Анналисе Урбю\*. *"Ce ne sont que des talons Louis XV"*<sup>2</sup>, — ответила со смехом грациозная Кюллики, которая, даже если застигнуть ее врасплох, умела быть остроумной. *"Ah! Vous n'allez pas me faire croire que le Roi Louis XV portait des talons comme le vôtres"*<sup>3</sup>, — ответила баронесса Хильда фон Дирксен. Во всем СССР лишь одна дама осмеливалась носить высокие каблукки в присутствии супруги германского посла — мадам Луначарская. *"Ah, cette chère Hilda!"*<sup>4</sup> — говорил Флоринский, покачивая головой. Он был очень дружен с супругой германского посла и погожими летними деньками, когда члены иностранного дипломатического корпуса отправлялись покататься на лодках на Москве-реке или в Коломенском, в нескольких милях от Москвы, Флоринский и баронесса почти всегда плыли в одной лодке, на веслах сидел Флоринский. В этих приятных занятиях спортом участвовали и *merveilleuses* из высшего советского общества в сопровождении служащих Наркоминдела или молодых кавалерийских офицеров с бритыми головами и сапогами по шведской моде — жесткими, высотой почти до колена; многие носили лакированные сапоги,

1 Все-таки Флоринский — человек благородный (фр.).

2 Это всего лишь каблукки в стиле эпохи Людовика XV (фр.).

3 Ах! Вам меня не убедить, что Людовик XV носил такие же каблукки, как у вас (фр.).

4 Ах, эта милая Хильда! (фр.)



как у маршала Буденного, или мягкие сапоги из невыделанной кожи, овечьи, как у казаков. В тот год, несмотря на объявленную баронессой Хильдой фон Дирксен анафему, в моде были высокие каблуки: в Москве 1929 года *merveilleuses* постукивали изящными каблучками в стиле Людовика XV по полам веранд особняков — деревянных домов, стоящих на высоком берегу Москвы-реки в Коломенском, — или по асфальту Николаевского моста<sup>5</sup> в том же задорном, юном ритме, в каком позвякивали шпорами молодые кавалерийские офицеры. Многие из более юных и отчаянных девушек прятались от солнца под зонтами, которые тайно доставляли из Парижа или Берлина дипломатической почтой Наркоминдела: красные, синие, белые, зеленые, желтые зонтики на берегах Москвы-реки, в самом сердце города, на фоне старинных деревянных особняков, цвели, словно пышная плесень, словно древесный мох, который окрашивал берега зеленым оттенка старинной меди на фоне высоких дымящихся труб промышленных пригородов Москвы, на фоне зеленых деревьев (о, зеленоватые березки, что растут вдоль берегов Москвы-реки, о, березки, белые северные оливы!) и позолоченных куполов церквей, сливаясь в милые, веселые пятна, придавая звучание Мане пейзажу в византийском стиле — стиле древних деревянных икон из Троице-Сергиевой лавры и Нового Иерусалима, в которых импрессионизм сведен к декоративной функции. Дыхание реки ласкало губы — дыхание усталого ветра, пахнущего травой — лодки легко скользили по зеленой воде, бескрайние облака легко касались далеких куполов храма Василия Блаженного, возникших в сердце Москвы из глубин

5 Николаевский мост — железнодорожный мост имени Николая II через Москву-реку, построен в 1905–1907 гг., после Февральской революции переименован в Краснолужский. (Примеч. науч. ред.)

Азии, и зубчатых башен Кремля. “Дорогая, душа моя!” — кричала мадам Луначарская, пускаясь бегом по берегу, придерживая рукой подол красивого весеннего наряда от Скъяпарелли. “Дорогая, душа моя!” — чуть хрипловатый голос красивой актрисы, прославившейся своими любовными историями и скандалами, словно оставлял невидимый разрез в огромном полотне пейзажа из зеленого и голубого шелка. Холодная и надменная Семёнова, смуглая и смеющаяся Егорова, черноволосая и худая Абрамова, дебелая Бубнова, маленькая и толстенькая Буденная, бледный и сторбленный фон Штейгер — все (кто с желанием, кто с ревностью) оборачивались взглянуть на красавицу Луначарскую, которая бежала вдоль реки, обнажив ноги по колено, к группе молодых кавалерийских офицеров, столпившихся вокруг чистокровного скакуна из конюшен маршала Тухачевского. “Дорогой, дорогой!” Конь тихо ржал, молодые офицеры оборачивались к красавице, маршал Тухачевский улыбался, громко звал: “Идите, идите сюда!” — и делал шаг навстречу актрисе, протягивая руки и улыбаясь. Это последнее воспоминание, которое осталось у меня о нем, наложившееся на страшную картину того, как маршал Тухачевский стоит без погон и наград перед расстрельной командой.

Из высшего советского общества того времени — развращенного, жаждавшего удовольствий, жадного до денег, славы, власти, гордого, снобистского, способного на любую гнусность, лишь бы сохранить эфемерную власть, готовую предать народ, революцию, коммунизм, Россию, отказаться от собственного революционного прошлого, лишь бы не отказываться от почестей и привилегий своего сословия, из этой советской знати, развращенной троцкизмом, бонапартизмом, сегодня почти никого не осталось в живых. *Ancien régime* коммуни-

стической революции, новая знать, вышедшая из военного коммунизма и из НЭПа, состоящая из людей, которые считали себя героями, а были предателями, которые считали себя марксистами, а были всего лишь красными буржуями, которые считали себя хранителями мысли Маркса и Ленина, а были всего лишь бонапартистами, которые думали, что возглавляют пролетариат, а на самом деле возглавляли троцкистскую контрреволюцию, теперь уступила место элите стахановцев, ударников, сталинской элите пятилеток — суровой, нищей, но все же более человеческой. От всех *merveilleuses* коммунистического *ancien régime*, от людей, развращенных амбициями, ненавистью, ревностью, удобствами, наслаждениями, привилегиями, осталось лишь воспоминание: “snap shots”<sup>1</sup> расстрельных команд застигли их в последний миг, когда они стояли, повернувшись бледными лицами к стволам винтовок, сжав кулаки, вытаращив глаза, с мертвенно-бледными лбами, обнаженными яростным ветром смерти, в холодном и убогом свете магниевой вспышки фотоаппаратов, которая из невидимого зенита освещает сцены казней в современной Европе.

— *Vous avez lu le dernier poème de Baltrusaitis?*<sup>2</sup> — спросил меня Флоринский. — Они посвящены Москве, воспевают советскую жизнь, это гимн городу Москве. *Quelque chose dans le genre du poème de John Gay dédié à Londres*<sup>3</sup>.

— Нет, не читал, — сказал я.

Балтрушайтис\* был литовским послом и хорошим поэтом, которого коммунистические власти почитали как одного из своих поэтов.

1 Стрельба навскидку, мгновенные снимки (англ.).

2 Вы читали последние стихи Балтрушайтиса? (О каком именно стихотворении поэта идет речь, выяснить не удалось.) (Примеч. науч. ред.)

3 Нечто вроде стихотворения Джона Гей, посвященного Лондону. (Джон Гей (1675–1732) — английский поэт и драматург, автор стихотворения “Искусство прогуливаться по лондонским улицам”).

И я прочел:

— *Happy Augusta...*<sup>1</sup>

— Балтрушайтис в своих стихах ничего не забыл. В них вся Москва и всё, что можно сказать о Москве, — сказал Флоринский с легкой иронией, посмеиваясь в тени своего угла.

— Надеюсь, — сказал я, — он не забыл запах Москвы. Москва и вся Россия пахнут по-особому: луком, вареной капустой и травой, которая по-русски называется “укроп”.

— Чего-чего, а укропа, — пронзительно воскликнул Флоринский, — у Балтрушайтиса в избытке! *Peut-on imaginer quelque chose de bien russe, qui ne sent pas le ukrop?*<sup>2</sup> — И, весело смеясь, прибавил, что в юности, когда он учился в Петербургском университете (он так и сказал — Петербургском, а не Ленинградском, и Марика, упорно сидевшая молча, с враждебным видом, прервала молчание, чтобы поправить его: “Скажите «Ленинград», пожалуйста, товарищ Флоринский!”), *“enfin, quand j'étais étudiant à Leningrad, j'avais composé un roman qui avait pour titre «Ukrop»*”.<sup>3</sup> — Повесть в духе Гоголя. Идея была не так уж дурна. Вы видели в театре Станиславского “Клопа”? Так вот, мой роман “Укроп” был очень похож на комедию “Клоп”. Один из героев комедии через двадцать лет случайно находит клопа. Вам, наверное, известно, что в России полно клопов. *Il y a des punaises, chez nous, comme chez vous de fourmis*<sup>4</sup>. Хи, хи, хи! Так вот, он не знает, что это такое. Разумеется, после двадцати лет коммунизма всех

1 “*Happy Augusta! Law-defended town!*” — строка из стихотворения Джона Гей.

2 Разве можно представить себе нечто подлинно русское и не пахнущее укропом? (фр.)

3 Так вот, когда я учился в Ленинграде, я написал роман под названием “Укроп” (фр.).

4 У нас клопов, как у вас муравьев (фр.).

клопов уничтожили, они исчезли. *Pas de punaises! Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Pas une seule punaise en toute la Russie soviétique! Un énorme succès du communisme*<sup>5</sup>. Профессора, ученые, натуралисты, энтомологи, специалисты собираются со всей России, чтобы изучить престраннейшее насекомое, которое никто никогда не видел. Очень редкий экземпляр: *vous pensez bien, une punaise russe!*<sup>6</sup> В моем романе место клопа занял укроп. *Pas d'ukrop en Russie! Vous pouvez vous figurer cela? Pas même l'odeur de l'ukrop. Je mettais ça sur le compte non pas de communisme, qui était encore loin de nous, mais de la philosophie allemande, de Hegel surtout, qui alors était très à la mode parmi le jeunesse russe. Pas d'ukrop en Russie! Hi hi hi! Un vrai miracle, vous pensez bien. Pas même l'odeur de l'ukrop! Un vrai miracle, hi hi hi!*<sup>7</sup>

— Значит, дорогой Флоринский, вы полагаете, что в советской России случаются чудеса?

— *Il y a le hasard, à la place des miracles*<sup>8</sup>. Вы знаете письмо Маркса Кутельману?<sup>\*</sup> Оно написано в 1871 году. История имела бы мистический характер, не играй в ней большую роль случайность, пишет Маркс. И прибавляет, что случай и характер людей, вождей, во многом влияют на события<sup>9</sup>.

— *Sottises*<sup>10</sup>, — фыркнула Марика.

— *Les jeunes filles, chez nous, sont souvent délicieuses*<sup>11</sup>, — сказал Флоринский, — им неизвестно, что именно из-за

5 Никаких клопов! Можете такое представить? Ни одного клопа во всей советской России! Огромный успех коммунизма! (фр.)

6 Подумайте только: русский клоп! (фр.)

7 Россия без укропа! Вы представляете? Даже без запаха укропа. Я относил это не на счет коммунизма, до которого нам было еще долго, а на счет немецкой философии, особенно Гегеля, который был тогда очень моден среди русской молодежи. Россия без укропа! Хи, хи, хи! Настоящее чудо, подумать только! Даже без запаха укропа! Настоящее чудо, хи, хи, хи! (фр.)

8 Место чуда занял случай (фр.).

9 Письмо К. Маркса Кутельману от 17 апреля 1871 г.

10 Ерунда (фр.).

11 Наши юные девушки нередко просто восхитительны (фр.).

письма Маркса Кутельману Троцкий и все остальные рискуют головой.

— *Vous êtes dégoûtant, camarade Florinski<sup>1</sup>*, — сказала Марика.

— *Le hasard! Autant nier le marxisme<sup>2</sup>*, — сказал я.

— *Lénine est un hasard, dans le marxisme<sup>3</sup>*, — сказал Флоринский.

— *Vous êtes un sale trozkiste, camarade Florinski<sup>4</sup>*, — сказала Марика с негодованием.

— *Je suis un sale bourgeois, c'est ça ce que vous voulez dire, n'est pas? Eh bien, je pense que toutes ces questions n'empêchent pas que Moscou soit une ville merveilleuse. Regardez donc, Malaparte<sup>5</sup>*. В молодости я любил бродить ночами, в призрачном белом свете ночей по московским улицам. Я сочинял об этом городе стихи, полные любви. Москва была моей Лаурой, моей Беатриче. А теперь я дошел до того, что разъезжаю в старом экипаже, чтобы тайком полюбоваться моей бедной Лаурой, мой несчастной Беатриче. *Regardez donc, Malaparte*.

Мы находились в конце Арбата, в районе особняков — небольших, поросших плесенью деревянных домов, окруженных садом, с деревом перед дверями — с непременно деревом, которое повсюду на Востоке сторожит вход в дом. На каждом из таких деревьев сидят птицы, а под водосточными желобами прилепились ласточкины гнезда. Ласточки разрезали воздух с резкими криками, бросались на наше старое ландо, словно намереваясь пролететь сквозь него, нырнув в окошки; на ули-

1 Вы отвратительны, товарищ Флоринский (фр.).

2 Случай! Это все равно что отрицать марксизм (фр.).

3 Роль случая в марксизме сыграл Ленин (фр.).

4 Вы мерзкий троцкист, товарищ Флоринский (фр.).

5 Я мерзкий буржуа, вы это имеете в виду, не правда ли? Впрочем, я полагаю, что все это не мешает Москве быть чудесным городом. Взгляните только, Малапарте! (фр.)

це попадались бродячие собаки — маленькие рыжие собачонки, которые бегали вдоль оград особняков и лаяли; то и дело в глубине стекавшихся к Арбату переулков можно было увидеть высокие деревянные леса строящихся домов, огромные строительные краны, железные опоры, поднимающиеся клубы пыли. Карета катилась со скоростью нашей тощей кобылы, медленно, и в окне ландо, как на киноэкране, когда показывают видовой фильм, проплывал зеленый пейзаж, старые деревянные дома древнего района, и в этом нежном зеленом пейзаже неожиданно возникали стройплощадки, краны, опоры, высокие леса, фабричные трубы, видневшиеся на другой стороне Москвы-реки. Вдруг со словами *“regardez comme c’est beau”*<sup>6</sup> Флоринский сжал мне запястье. Меня внезапно охватила смутная тревога, мне показалось, что мне уже не выйти из ветхого, похоронного экипажа, что одетый в белое розовый призрак будет держать меня в плену в старом, траченном жучком ландо, что он забрет меня с собой неизвестно куда. Я освободился от руки Флоринского и обернулся взглянуть на него. Алый закат, зеленые тени деревьев, ласковый голубой свет, лившийся с высокого и чистого неба, то закрывали прозрачными тенями, то обнажали его розовое лицо, мелкие, похожие на белесые шрамы морщинки на висках. В его накрашенных глазах, в белых фарфоровых зубах, во рту с пухловатыми губами, в странном лице то ли девушки, то ли старика было что-то болезненное, жестокое. Это был призрак целого мира, восковая маска целого общества. Сегодня, думая об этом необычном персонаже, об этой невероятной прогулке по московским улицам в старом ландо, я вспоминаю, как он кончил, что случилось вскоре после нашей прогулки, во время большой

6    Дядите, как красиво! (фр.)

чистки. Однажды вечером Флоринский играл в бридж дома у греческого посла Полихрониадиса\*. То, что тем вечером он оказался за карточным столиком в греческом посольстве, не было “случайностью”, как говорит Маркс в письме Кутельману. Он бывал там часто, почти каждый вечер. Мадам Милица Полихрониадис, сербка, высокая, дебелая женщина с рыжими волосами и большими черными глазами, сидела за тем же столиком вместе с фон Штейгером и литовским послом, поэтом Балтрушайтисом. В какой-то момент Мара Николаевич, сестра Милицы Полихрониадис, подошла и сказала Флоринскому, что *des messieurs demandaient de lui*<sup>1</sup>.

— Где они? — спросил Флоринский, кладя карты на стол.

— *Dans la pièce à côté*<sup>2</sup>, — ответила Мара.

Флоринский поднялся и сказал: “Продолжайте! Сыграйте партию с мертвецом!” Лицо его было, как всегда, розовым, но лоб покрывала еле заметная испарина. Ушел он, как обычно, припрыгивая. Возможно, это была “случайность”, но он забыл попрощаться с хозяйкой дома. На пороге он остановился, обернулся и посмотрел на фон Штейгера. Все в зале повернулись к дверям и молча глядели на Флоринского. Он поднял руку, помахал на прощание и улыбнулся. Вышел, закрыл за собой дверь и исчез навсегда. Его улыбка напомнила мне рассказ Лиона Фейхтвангера о Радеке\*. В ходе второго московского процесса, когда после обвинительного приговора Радек вышел из здания суда, чтобы отправиться в тюрьму на Лубянку, он обернулся к своим осужденным на смерть товарищам, помахал им рукой и улыбнулся.

1 Его спрашивают какие-то люди (фр.).

2 В соседней комнате (фр.).



— *Regardez donc, Malaparte*<sup>3</sup>, — повторил Флоринский. Мы въехали на Арбат, где в этот час было полно народу. Бедно одетая толпа рекой текла по тротуарам. В Библии народы часто сравниваются с водой, с реками. Эта толпа народа напоминала мутную реку, которая текла между образовавшимися из домов берегами по широкому Арбату с давящим, почти пугающим ощущением фатальной неизбежности. Неразборчивый гул поднимался над этими людьми — плохо одетыми, полуголодными, на лицах которых застыла серая маска многолетней нищеты, надежды, твердой воли, веры — не в счастье, а в лучшее страдание, в победу над своим страданием, над своей нищетой. Флоринский схватил меня за запястье и сказал: “Дядите!” Два старых открытых “роллс-ройса” медленно ехали по Арбату, прокладывая себе дорогу среди машин и толпы. В первом, рядом с водителем, сидел Сталин\*. Во втором — агенты ГПУ с синими воротничками. Каждый день в этот час Сталин проезжал по Арбату на своем старом открытом “роллс-ройсе”, направляясь в загородную резиденцию в нескольких верстах от Москвы. Толпа оборачивалась взглянуть на автомобиль, удалявшийся, терявшийся среди сутолоки. Из громкоговорителей, развешанных на столбах вдоль Арбата, гремели голоса безбожников, начинавших вечернюю антирелигиозную программу: “Товарищи, читайте сегодня вечером в «Вечерней Москве» поэму Демьяна Бедного «Христос умер от сна». «Религия — опиум для народов», — говорил Ленин”<sup>4</sup>.

— *Vous n'avez jamais rencontré Dieu, dans la rue?* — спросил Флоринский. — *A Capri, j'ai rencontré jadis un Dieu*

3 Дядите же, Малапарте! (фр.)

4 Слова К. Маркса: “Религия — опиум для народа”.

*dans la rue, c'était Apollon*<sup>1</sup>. Он долго молчал, а затем принялся рассказывать мне о Капри\*, где он побывал около 1910 года, о том, как они вместе жили там с Лениным, Луначарским и другими в пансионе Вебера в Марина Пиккола, и о “коммунистической школе”, которую основал на Капри Луначарский. Он спросил, как поживает Карменьялло. Я ответил, что Карменьялло, который в его время был юным и прекрасным, словно Аполлон, рыбаком, превратился в беззубого, морщинистого старика. Розовое, нарумяненное лицо Флоринского искажилось от страха и ужаса.

— *Pas possible!*<sup>2</sup> — воскликнул он и пронзительно засмеялся: — Хи, хи, хи, — прячась в углу повозки, словно перед ним возник призрак. — *Qu'il était beau!*<sup>3</sup> — внезапно воскликнул он тише и, дрожа, опустил голову. Лишь в это мгновение я почувствовал, что он жалеет о прошлом — не только об ушедшей молодости, но и о чем-то более глубоком и непоправимом. В это мгновение он был не розовым, элегантным, гротескным, утонченным начальником протокольного отдела Наркомата иностранных дел, который церемонно и галантно шагал, подпрыгивая, по вокзальному перрону навстречу иностранным послам, который расхаживал между столиками в “Метрополе”, в “Скале” или по гостиным зарубежных посольств: это был напояженный, морщинистый старик, боявшийся призраков Капри, призраков Парижа, Лондона, Вены, Венеции, Флоренции, боявшийся своей далекой молодости, как непоправимой сделки с жизнью, как ошибки, за которую он теперь расплачивался. После долгого

1 Вы никогда не встречали Бога на улице? На Капри мне однажды на улице встретился бог, это был Аполлон (фр.).

2 Быть того не может! (фр.)

3 Он был так красив! (фр.)

молчания он порылся длинными пальцами в уже пустой коробке с конфетами, превратился в обычного Флоринского — любезного, элегантного, коварного, гротескного Флоринского — и, высунувшись в окошко, воскликнул:

— *Regardez, mais regardez donc Moscou, quelle jolie ville!*<sup>4</sup>

Мы находились рядом с храмом Христа Спасителя, на высоком месте, откуда виден весь Кремль, окруженный зубчатыми стенами, стоящий на берегу ленивой мутной реки, на которой в мертвенном свете заката появлялись нежно-зеленые блики. Небо за башнями Кремля и куполами собора Василия Блаженного казалось черным, словно высокая черная стена. На фоне этого черного неба красные кирпичные стены Кремля выделялись резко, словно на дымчатом фоне древней деревянной иконы. В черноте то и дело вспыхивало золото куполов, распространяя глубокое, темное сияние. Зеленая, поскверкивающая река, появлявшаяся из темной пещеры ночи, чтобы проникнуть в пыльный город, который еще окрашивали пурпуром отблески закатного неба, издавала медленный, долгий, печальный звук, особое звучание, которое приобретают зеленые тона в красно-черном пейзаже. Вдали, рядом с вокзалом, рядом с аэродромом, загорались первые огни: пока ландо неспешно спускалось к Кремлю, я думал об этом старом, выкрашенном в черное экипаже, проезжавшем под цоканье копыт костлявой клячи через взволнованное сердце столицы СССР, по охваченным лихорадкой улицам, раскаленным тоской, надеждой, тревогой первой пятилетки. В этом ландо сидели Флоринский, Марика и я. Мне стало смешно, но, вообразив черное ландо, проезжающее по улицам, где полно машин, грузовиков, толп возвращаю-

4 Взгляните, взгляните же на Москву, что за чудесный город! (фр.)

щихся домой рабочих, вообразив ландо, проезжающее по улицам столицы СССР, я почти мгновенно почувствовал смутный страх, жестокое отвращение. Мы выехали на площадь Свердлова, и Флоринский, который до этого времени молчал, спросил меня еле слышно:

— Отвезти вас в гостиницу?

— Спасибо, — ответил я, — я сойду здесь. Я уже рядом с “Савоем”, мне полезно пройтись.

— *J'ai horreur de cette foule*, — произнес Флоринский, сжимая мне колени, — *pour rien au monde je ne marcherais à pied dans cette foule*<sup>1</sup>.

Я пожал ему руку с неожиданной сердечностью. Он долго держал мою руку в ладонях, возможно, не решаясь погладить. Он только сказал: “*Vous avez une jolie main*”<sup>2</sup>, — и улыбнулся. Затем прибавил: “*Ça ne vaut pas la peine, d'avoir une jolie main, en Russie*”<sup>3</sup>.

— *Oh no*, — согласился я, — *ça ne vaut pas la peine*<sup>4</sup>.

Я вышел из кареты и остановился посреди площади, провожая глазами старое, призрачное черное ландо, медленно удалявшееся в сторону Китай-города посреди бурного потока машин, быстро мчавшихся в обоих направлениях.

“*Je crains que la sonnette ne marche pas*”<sup>5</sup>, — сказал нарком иностранных дел Литвинов. Он в третий раз позвонил в звонок, подождал еще немного, затем сказал “Простите!”, поднялся, подошел к двери, открыл ее и громко, с вежливым нетерпением попросил: “Пожалуйста, три стакана чаю!” Затем он уселся обратно за стол и принял-

1 Меня эта толпа пугает. Ни за что на свете я бы не пошел среди нее пешком (фр.).

2 У вас красивая рука (фр.).

3 В России красивые руки никому не нужны (фр.).

4 Нет, не нужны (фр.).

5 Боюсь, звонок не работает (фр.).

ся потирать руки, глядя на итальянского посла Черрути, который любезно улыбался. Литвинов был в черной толстовке — русской рубашке-косоворотке. Он сидел, чуть наклонившись вперед, положив руки на стол и то и дело поправляя ладонью очки на носу. Литвинов всегда был со мной особенно любезен, казалось, он мне покровительствует, ему очень хочется, чтобы советская Россия оставила у меня добрую память. Иными словами, он обращался со мной по-дружески: ему было известно о моей симпатии к коммунистической России, как было известно, что я непримиримый борец за интеллектуальную и творческую свободу не только в коммунистических странах, но и в Италии Муссолини. Я же был ему благодарен за любезность, за то, что он из всех сил старался удовлетворить все мои законные желания. Он достал мне постоянный пропуск во все рабочие клубы, спортзалы, бассейны, кино-театры, театры, танцзалы пролетарских организаций, на теннисные корты, позволявший мне также участвовать в коллективных поездках в пригороды Москвы, которые устраивали рабочие организации. Я побывал в Ленинграде и однажды, воскресным утром, принял участие в коллективной воскресной экскурсии Рабочего клуба имени 27 октября в Эрмитаж. В другое воскресенье я побывал в Кладовой Эрмитажа, где хранятся царские сокровища — от золота скифов, найденного при раскопках в Крыму, до седел, табакерок, шпаг, кинжалов, пистолетов и чепраков времен Екатерины Великой. Я посетил бывшие дворцы знати на Фонтанке, летние дворцы царей, Царское Село. Во время длительного пребывания в Москве принял участие в коллективных экскурсиях рабочего клуба профсоюза химической промышленности в загородный дворец князя Юсупова в Архангельском, километрах в пятидесяти от

Москвы<sup>1</sup>, и в имение графов Шереметевых, где я провел удивительно свободное и счастливое воскресенье в компании молодых рабочих и работниц. Мы голышом купались в пруду перед дворцом<sup>2</sup>, а затем, после купания и скромной трапезы, к нам присоединились молодые крестьяне с гармошками из ближайшей деревни, и мы плясали до утра. Подвыпившего рабочего, который обозвал меня “буржуем”, товарищи строго отчитали и насильно увели, потому что я гость советского народа и оскорблять меня нельзя. Они вели себя любезно, искренно, сердечно, как представители простого и искреннего народа. В маленьком театре на Садовой, куда я отправился посмотреть комедию Маяковского “Квадратура круга”, я встретил рабочих, с которыми посетил дворец Шереметева, после представления мы вместе отправились выпить стакан чаю в столовую в одном из выходящих на Тверскую переулков. Один, рабочий-механик, спросил, знаю ли я Пушкина. Меня поражала странная любовь к Пушкину среди молодой рабочей элиты: не к Пушкину — автору “Капитанской дочки”, которому они справедливо предпочитали Гоголя — автора “Тараса Бульбы”, а к автору романа в стихах “Евгений Онегин” и замечательных стихотворений, одних из самых замечательных, “байронических” сочинений величайшего русского поэта.

— Да, верно, наш народ много читает Пушкина, — объяснил Литвинов, — особенно молодежь. Не только студенты, но и молодые рабочие. Подобный пролетарский успех Пушкина, который, вне всякого сомнения, является самым аристократичным русским поэтом, удивлял и приводил в недоумение советскую власть. То-

1 У Малапарте именно так — пятьдесят километров. (Примеч. ред.)

2 Возможно, Малапарте имеет в виду усадьбу Кусково или Останкино. (Примеч. науч. ред.)

варищ Луначарский дал этому объяснение, которое я не буду вам пересказывать, потому что теперь оно стало официальным, а я знаю, что официальные объяснения вас не интересуют.

— Я не знаю, что с ними делать, — ответил я со смехом.

— А мне бы хотелось узнать, — сказал посол Италии Черрути, — что думает на этот счет Луначарский.

— Он полагает, что успех Пушкина среди пролетариев объясняется невероятной чистотой и музыкальностью его стихов\*.

— Лермонтов, — сказал я, — тоже очень популярен среди рабочих, хотя его стихи не обладают такой чистотой и музыкальностью, как у Пушкина. Объяснение Луначарского меня не удовлетворяет.

— Отчего же? — спросил, ерзая в кресле, Черрути, которому не нравилось, что я свободно выражаю свое мнение, и он всякий раз бледнел, как только я раскрывал рот: — Отчего же? Объяснение Луначарского кажется мне проникательным и справедливым.

— *Vous êtes bien aimable, Monsieur l'Ambassadeur*<sup>3</sup>, — ответил Литвинов с улыбкой.

— Ничего проникательного и справедливого я в нем не вижу, — возразил я. — Просто оно удобное и политически уместное. На мой взгляд, причина успеха Пушкина у пролетариев в другом. Молодые поколения советских людей больше не удовлетворены тем, как официальная пропаганда представляет русскую аристократию, и желали бы узнать ее ближе. Поскольку сегодня невозможно достать объективные труды историков на эту тему, советская молодежь обращается к поэзии. Что во все не означает, что советская молодежь испытывает симпатию и ностальгию по царскому режиму: это любо-

пытство, а не симпатия. Вне всякого сомнения, стихи Пушкина куда лучше марксистских трактатов раскрывают дух аристократического общества и режима, ведь Пушкин был его выдающимся, самым чистым, самым типичным представителем. Что до Лермонтова, его успех подтверждает мое мнение. Это менее одаренный и яркий поэт, его стих отличается слащавостью, банальным, салонным романтизмом. Однако, независимо от этого, и его поэзия, несомненно, прекрасно передает дух общества, которое уже находилось в упадке — из него позднее вышло большинство мелких дворян и либеральной буржуазии. Революция Керенского связана именно с ними. Я полагаю, что тем же можно объяснить успех, которым у советской молодежи пользуется музыка Чайковского.

— Мне кажется... — начал посол Черрути, нервно поправляя узел бабочки. Он постоянно так делал, когда нервничал или пытался скрыть растерянность.

— Успех Чайковского? — спросил Литвинов с глубоким удивлением, — Вы полагаете, что советская молодежь любит музыку Чайковского по той же причине, по какой любит поэзию Пушкина?

— По той же причине, — ответил я.

— *Ça m'étonne*, — сказал Литвинов, — *voilà quelque chose que je ne savais pas. Les jeunes aiment Ciaikowski!*<sup>1</sup>

— Возможно, — сказал итальянский посол, — Малапарте ошибается. Вы уверены, — прибавил он, обращаясь ко мне, — что речь идет о музыке Чайковского? Вы ничего не путаете?

— Не беспокойтесь, — ответил я со смехом, — в моих словах нет контрреволюции. Помяните мое слово: мо-

1 Меня это удивляет. Я этого не знал. Молодежь любит Чайковского! (фр.)



лодая советская музыкальная школа однажды придет к Чайковскому, к его аристократическому западничеству.

— Чайковский, — сказал Литвинов, — это Тургенев в музыке, а я бы не сказал, что Тургенев пользуется симпатией у молодых советских литераторов.

— Музыка Чайковского полна нежных призраков, прекрасных, бледных и томных женщин, позолоченной мебели, молодых гвардейских офицеров, парков при луне. Народу нравятся подобные призраки. Советский народ не исключение. — И я прибавил, что был удивлен и тронут тем, с каким уважением рабочие ходили по залам дворца князей Юсуповых в Архангельском<sup>2</sup>. Ходили молча, робко поглядывая на картины, *bibelots*<sup>2</sup>, саксонский и сервский фарфор, золотые табакерки с эмалью, хрусталь из Мурано, Богемии, Швеции, датское серебро, итальянские и фламандские кружева: они ходили, словно во сне, словно попав в заколдованный замок. В какое-то мгновение молодая девушка, стоявшая рядом со мной, сказала, глядя на портрет юной княгини Ирины Юсуповой: “Она слишком красивая. Так не бывает. Художник ее выдумал”.

Литвинов с иронией посмотрел на меня.

— Ее муж, — сказал он, — князь Феликс Юсупов, убийца Распутина, кажется, тоже был красавцем. — И прибавил ехидно: — Вы полагаете, не будь он настолько красив, ему бы не удалось убить Распутина?

— Я познакомился с Ириной и Феликсом Юсуповыми в Риме, в доме у княгини Нины Голицыной: никогда не видел такой красивой пары. Ирина была прелестна своей холодной, бело-голубой красотой. Приятно

2 Безделушки (фр.).

думать, что Распутина убил такой невероятно красивый мужчина, как Феликс. Красота Феликса Юсупова не позволяет рассматривать уничтожение Распутина как убийство.

Литвинов от души расхохотался, а посол Черрути сказал, нервно поправляя узел бабочки:

— Ну, это сплошная литература, дорогой Малапарте.

— Пушкин, — сказал Литвинов, — вероятно, думал бы как он.

— Когда я был молод, — сказал итальянский посол, ерзя в кресле, — в Европе было полно удивительно красивых женщин. Нынче подобная красота исчезает и там, и в России. — И прибавил: — Княгиня Ирина Юсупова, с которой я познакомился в Париже, сегодня, наверное, не столь красива.

— Исчезает не только особая красота, — сказал я, — исчезает стиль. Если оставить в стороне общественно-политические соображения, — прибавил я, — можно сказать одно: жаль.

— В России, — заметил Литвинов, — рождается новый тип и новый стиль женской красоты — его можно назвать советской красотой. Россия — это Спарта по сравнению с Афинами. Наверняка спартанские женщины походили на сегодняшних русских женщин: крепкие, с сильными ногами, с широкими плечами, с широкой, выступающей челюстью, с низким и узким лбом, с большими глазами, с короткими, мускулистыми ладонями. Отчасти как женщины у Пикассо.

Наконец официант принес поднос с тремя стаканами чая. Литвинов, попивая мелкими глоточками обжигающий чай, спросил меня с улыбкой, что произвело на меня наибольшее впечатление в Советской России, помимо Пушкина, Чайковского и княгини Ирины Юсуповой.

— Мумия Ленина, — ответил я.

— Мумия Ленина? — воскликнул явно удивленный Литвинов. Посол Черрути покраснел и закашлялся.

— А разве это не мумия? Забальзамированный труп. Лучше было его похоронить или сжечь, а пепел поместить в урну.

— Поначалу, — сказал Литвинов, — мы так и собирались поступить. Потом, не знаю почему, его решили забальзамировать. Это предложил... — он осекся, словно ему было неприятно произносить это имя.

— Троцкий, — сказал я.

— Да, полагаю, идея была Троцкого. Останься он у власти, — прибавил Литвинов с улыбкой, — он бы забальзамировал не только Ленина, но и всех нас.

Я вспомнил, что за два года до этого, когда борьба между Сталиным и Троцким приняла драматический оборот, прошел слух, будто Троцкий намерен завладеть забальзамированным трупом Ленина и призвать народ восстать против Сталина, размахивая этой мумией, словно флагом.

— Троцкий способен на все, — сказал Литвинов, — но не думаю, что он осмелился бы осквернить могилу Ленина. Для русского народа Ленин — святыня. Со всех сторон СССР крестьяне приезжают в Москву поклониться ему. Я не удивлюсь, — прибавил он ехидно, — если однажды мощи Ленина станут чудотворными, хотя чудеса в России запрещены.

— Если Ленин начнет творить чудеса, — сказал я, — не думаю, что советское правительство осмелится это ему запретить. Да и как?

— Способ запретить найдется, — заметил Литвинов.

Пока мы возвращались на машине в Денежный переулок, где находится итальянское посольство, посол Черрути сказал:

— Неправда, что в России не бывает чудес. Они запрещены, но все равно происходят. Приходите завтра вечером ко мне на ужин. Я познакомлю вас с Паулем Шеффером\*. Он расскажет вам о чуде, которое произошло в Москве несколько месяцев назад.

— О чуде? — удивился я.

— Да, о чуде, — сказал Черрути, — а что тут странного?

— Вам известно, что я приехал в Россию увидеть чудеса, а вы прячете от меня чудо!

— Что вы хотите, дорогой Малапарте? С чудесами в России лучше не торопиться. — Затем прибавил: — Вы не находите, что Литвинов с вами очень любезен?

— Очень любезен, — согласился я, — пошлю ему букет цветов.

— Надеюсь, — сказал Черрути встревоженно, — вы шутите. Обещайте, что не пошлете Литвинову цветы. С вас станется.

— Отчего бы и нет? — спросил я. — Покидая Берлинский конгресс, Дизраэли послал Бисмарку букет цветов.

— Вы не Дизраэли, — заметил Черрути.

— О нет, — сказал я, — но Бисмарк был весьма польщен.

Следующим вечером я ужинал у итальянского посла. Помимо Пауля Шеффера, московского корреспондента "Берлинер Тагеблатт", Черрути пригласил польского посла Патека. Я познакомился с Патеком за несколько лет до этого, в 1920 году, в Варшаве: я провел долгое время в Польше в качестве атташе дипломатической миссии Итальянского королевства. До коммунистической революции Патек был одним из самых знаменитых петербургских адвокатов: благодаря профессии (он представлял интересы влиятельных семейств пе-

тербургской знати) он прекрасно знал царское общество и одновременно был связан узами дружбы со многими вождями большевиков, которых он не раз защищал в суде. Во время обеда мы долго разговаривали об общих варшавских друзьях, я расхваливал тогдашнего министра иностранных дел Польши князя Сапегу — настоящего литовского барина, который получил образование в Оксфорде и к которому Патек не скрывал антипатии.

— Да, он настоящий барин, — сказал Патек, — но Европа больше не желает, чтобы ею правили баре.

Потом речь зашла о Пилсудском и о маршале сейма Польши Тромпчиньском\*. Патек спросил меня, пробовал ли я когда-нибудь чудесный “Токай”, который Варшавский охотничий клуб поставлял к столу Тромпчиньского. “Разумеется, — ответил я, — но я не люблю пить сладкое вино за едой”. Патек заметил, что вся политика Тромпчиньского была политикой человека, который пьет сладкое вино за едой, а после подробно нарисовал забавный портрет маршала сейма, его огромное пузо, заплывшую пунцовую физиономию древнего польского “пана”. “*Ce qui est drôle*<sup>1</sup>, — сказал Патек, — что лучших людей по тем или иным причинам не допускали до государственных должностей. Лучшим польским дипломатом был граф Тарновский\*, однако министр иностранных дел князь Сапега не пускал его на порог под предлогом, что Тарновский прежде был австрийским дипломатом и служил на Балльплатце<sup>2</sup>. *Comme vous savez, Tarnowski était de Galicie*<sup>3</sup>.

1 Забавно (фр.).

2 Бальхаус-платц — площадь в Вене, где расположено здание правительства.

3 Как вам известно, Тарновский был из Галиции (фр.). (Галиция долгое время входила в состав Австрии.)

— Сапега в этом не виноват, — сказал посол Черрути, — Тарновского держали в стороне под давлением итальянского правительства. В Риме правительство противодействовало всем бывшим австрийским чиновникам.

— *Je le saviас*, — сказал Патек, — *mais je préfère en donner la responsabilité à Sapieha*<sup>1</sup>. — И он рассмеялся, поглаживая ладонью лысину.

— Вы служили в Варшаве при Томмазини? — спросила меня госпожа Черрути.

— *Ah, ce cher Tommasini!*<sup>2</sup> — воскликнул Патек. И он завел речь о супруге посла Томмазини мадам Муццоли<sup>3</sup>, о ее причудах, о ее мании устраивать ужины, встречи за чашкой кофе, поездки и о том, как она блестяще срежиссировала несчастный случай, когда во время купания в Висле утонули французский дипломат и его сестра. — *Donna Muzzoli en était enchantée*<sup>4</sup>, — сказал Патек.

— Не будьте жестоки с мадам Муццоли, — сказал я, — она тоже рисковала жизнью в тот раз.

— *Oui, je sais, ce n'était pas de sa faute*, — сказал Патек, — *mais ne trouvez-vous pas que c'est extrêmement amusant, connaissant Donna Muzzoli, de l'accuser de cette noyade?*<sup>5</sup>

— Вне всякого сомнения, *extrêmement amusant*, — согласился я.

— *N'est-ce pas?*<sup>6</sup> — произнес Патек, смеясь от души.

— *Vous êtes un homme horrible*<sup>7</sup>, — сказала мадам Черрути.

1 Мне это известно, но я предпочитаю возлагать ответственность на Сапегу (фр.).

2 Ах, милый Томмазини! (фр.)

3 Про Ф. Томмазини и его жену см. в затекст. комментариях (комм. к стр. 211). О Муццоли информации найти не удалось.

4 Мадам Муццоли была весьма польщена (фр.).

5 Да, я знаю, она не виновата, но вы не находите, что очень забавно, зная мадам Муццоли, обвинить ее в утоплении? (фр.)

6 Не правда ли? (фр.)

7 Вы страшный человек (фр.).

— *J'ai mais beaucoup les Tommasini*, — сказал Патек, — *beaucoup*<sup>8</sup>. Замечательный был человек. — И он рассказал, что у Томмазини была привычка снимать туфлю во время обедов, особенно во время официальных обедов, и поглаживать ногой лодыжку соседки по столу. Однажды вечером, на торжественном обеде в дипломатическом представительстве Итальянского королевства, супруга графа Мауриция Потоцкого, сидевшая рядом с Томмазини, пнула его туфлю так, что та отлетела в угол. Когда все поднялись из-за стола, послу Италии, чтобы забрать туфлю, пришлось, прыгая на одной ноге, пересечь весь зал. — *Un scène admirable, digne de Racine!*<sup>9</sup> — воскликнул Патек.

— Отчего именно Расина? — спросила мадам Черрути, которая до замужества была одной из самых знаменитых театральных актрис в Венгрии.

— *Pourquoi? Mais c'était tragique!*<sup>10</sup> — воскликнул Патек. Он безумно любил рассказывать подобные истории и всякий раз вспоминал бесконечные подробности — так обычно делают поляки. — Вы помните, — спросил он меня внезапно, — канониссу Валеvскую и ее милейших племянниц? *Elles se sont toutes mariées*<sup>11</sup>. — И он принялся тщательнейшим образом описывать переулок, в котором жила канонисса Валеvская, в районе Театральной площади в Варшаве, прямо напротив театра. Затем столь же подробно нарисовал портрет юных племянниц канониссы, с равным тщанием углубился в генеалогию супругов племянниц, а в конце, неизвестно почему, заявил, что молодые мужья были достойны стать частью свиты из польских дво-

8 Я очень любил супругов Томмазини... очень (фр.).

9 Восхитительная, достойная Расина сцена! (фр.)

10 Отчего? Это была трагедия! (фр.)

11 Все они вышли замуж (фр.).

рян, которые сопровождали в Париж Марию Лещинскую, будущую королеву Франции, супругу Людовика XV.

— Вы помните, как их звали? — спросил я.

— *Leurs noms? Ça n'a pas d'importance*<sup>1</sup>, — ответил Патек.

— Они могли быть равно достойны сопровождать в Москву Марину Мнишек, — сказала не без иронии мадам Черрути, имея в виду Марину, супругу Лжедмитрия, загадочного авантюриста, который взошел на трон после Бориса Годунова.

— *Parfaitement, parfaitement!*<sup>2</sup> — воскликнул посол Патек. И заговорил о Москве, о Ленинграде, о царской знати, о придворных скандалах, словно речь шла о людях и событиях вчерашнего дня, словно коммунистической революции никогда не было. Места, обстоятельства, забавные истории, празднества, скандалы, любовные связи, дуэли — вся чудесная свита Венеры и Марса, сопровождавшая последнего царя Николая II к месту казни, прошла в его рассказе с легким и непринужденным изяществом: перед нами шествовали живые, легкие, немного рассеянные дамы, воссоздавая душистую и теплую атмосферу тех счастливых, не знавших предчувствий времен. Патек то и дело с какой-то утонченной вульгарностью поглаживал широкой ладонью блестящую лысую голову. Казалось, будто он пытается прогнать со сцены и из своей памяти все события и всех героев подобно тому, как крупье сгребает с зеленого сукна золотистые жетоны. Он то и дело вскрикивал, негромко вскрикивал от удивления, от восхищения, с упреком, и с его уст слетали имена: *"Ah, la petite Zamoiska! Et la Princesse Bariatinska! Et la jeune Narishkine! Ah, la Comtesse Schere-*

<sup>1</sup> Как их звали? Это неважно (фр.).

<sup>2</sup> Превосходно! Превосходно! (фр.)



*mietiew!*"<sup>3</sup> Он бросался вслед за этими именами — бегом, словно пожилой господин, который, запыхавшись, преследует даму, пробираясь в зале среди танцующих пар. Он догонял их, кланялся, хватал маленькую ручку и подносил к губам с неподражаемой, истинно польской галантностью, которую поляки привезли на родину из версальского двора и которую они ревностно хранят, восклицая: "*Ah, chère Princesse! Ah, chère Comtesse!*"<sup>4</sup> Он произносил имя и карабкался вверх по ветвям генеалогического древа, подобно пауку, что карабкается по шелковому платью, он исследовал извилины генеалогических рек, рассказывал, как его героиня появилась на свет, за кого вышла замуж, с кем дружила, описывал события ее жизни, связанные с нею скандалы, *rumours*<sup>5</sup>, сопровождавшие ее триумф в петербургском и московском обществе — тогдашнем петербургском и тогдашнем московском обществе. Его ехидство было настолько лишено личного интереса, настолько бескорыстно, что самые недобрые сплетни на его полных, влажных устах превращались в комплимент. Так было до тех пор, пока, переходя от одного имени к другому, от одного года к другому, от одной сплетни к другой, он не заговорил о Москве и о советской знати 1929 года. Он говорил о них так, словно время остановилось, словно революция не подросла и не сменила актеров, словно Литвинов был Извольским<sup>6</sup>, Семенова — Кшесинской, Абрамова — Павловой, а мадам Луначарская сияла в лучах светской славы княгини Нарышкиной. "*Ah Florinski, ce*

3 Ах, юная Замойская! А княгиня Бяратинская! А юная Нарышкина! Ах, графиня Шереметева! (фр.) Фамилии здесь, вероятно, декоративно-условные и не обозначают конкретных людей.

4 Ах, дорогая княгиня! Ах, дорогая графиня! (фр.)

5 Слухи (англ.).

6 Министр иностранных дел России в 1906–1910 гг.

*cher Florinski!*"<sup>1</sup> — внезапно воскликнул он резким слащавым голосом и короткими жестами застывшей в воздухе, словно повисшей, руки, напоминавшей руку Ренуара в последние годы жизни, когда тот писал кистью, привязанной к парализованной руке, принялся рисовать в воздухе портрет начальника протокольного отдела Наркомата иностранных дел. Он глядел вверх, словно перед ним и впрямь натянули холст и он внимательно всматривается в невидимого натурщика, сравнивая его с постепенно появляющимся на холсте портретом. Флоринский уже был здесь: он стоял, розовый и нарумяненный, в белом парусиновом костюме, и каждый из нас ожидал, что неподвижный портрет вот-вот зашевелится и заговорит. Но тут посол Патек резким движением стер с холста черты Флоринского, воскликнул: "*Ah, cette chère Madame Lunaciarskaia!*"<sup>2</sup> — и взялся рисовать на воображаемом холсте портрет прелестной жены комиссара Луначарского.

Голос Патека, пересказывавшего последние сплетни о мадам Луначарской (он произносил "мадам" так же, как произнес бы "княгиня"), стал глубоким, чуть хрипловатым, в нем появились острые, словно кончик ножа, нотки чувственности. От ее последних любовных скандалов Патек, не останавливаясь, перешел к открытым упрекам, которые "Правда" высказала мадам Луначарской из-за того, что она явилась на бал в туалете, который руководство театра заказало в Париже, предназначался он только для сцены. Вдруг, мгновенно забыв о мадам Луначарской, посол Патек обратился к Паулю Шефферу и спросил, знает ли он о последних событиях

1 Ах, Флоринский! Милый Флоринский! (фр.)

2 Ах, милая мадам Луначарская! (фр.)

борьбы между Сталиным и Троцким. “Il paraît que Tomski...”<sup>3</sup>. Томский был генеральным секретарем профсоюзов.

— Томскому конец, — ответил Шеффер с легким презрением.

— Ну да, конечно, теперь ему конец. Но я не это имел в виду. Вы, разумеется, знакомы с прелестной Татьяной Г., — и Патек назвал имя молодой и красивой актрисы театра Станиславского. — Говорят, она причастна к несчастью Томского. Сегодня, что бы ни случилось, сразу же вспоминают Томского. Нет, на сей раз Томский не при чем. Скорее, Сталину не нравятся светские замашки советской знати, а также связанные с женщинами скандалы. По сути, Сталин — пуританин. *Drôle de chose, un puritain soviétique!*<sup>4</sup> Позавчера вечером, увидев множество шикарных машин перед входом в Большой, где давали “Красный мак”<sup>5</sup>... вы, конечно же, видели этот знаменитый балет, — сказал он, поворачиваясь ко мне, — *allez le voir, allez le voir*<sup>6</sup>, так вот, Сталин приказал всем машинам вернуться в гараж. В тот вечер самым выдающимся представителям советской знати, первым красавицам Москвы пришлось возвращаться домой пешком, под дождем. *Est-ce que cela n'est pas drôle?*<sup>6</sup>

— Такого скорее можно ожидать от королевы Виктории, чем от Сталина, — сказала мадам Черрути.

— О, да, у королевы Виктории и Сталина есть нечто общее, — заявил Патек с лучезарной улыбкой, почти без ехидства. — Не знаю что, но нечто общее есть. — Так Патек язвил.

3 Казалось, что Томский... (фр.)

4 Забавно: советский пуританин! (фр.)

5 Сходите и посмотрите! (фр.)

6 Разве это не забавно? (фр.)

Тем временем мы перешли в библиотеку, и Патек, потрясывая бокал виски, чтобы лед растворился быстрее, вновь заговорил о Луначарском и мадам Луначарской с настойчивостью, которая выдавала личную заинтересованность, в то время как светской беседе подобает совсем обратное.

— Интересно, — сказал Патек, — сумеет ли Луначарский выкрутиться и на этот раз.

— *Il n'a pas l'air de se porter plus mal que d'habitude*<sup>1</sup>, — ответила с равнодушным видом мадам Черрути, почувствовавшая в упорном желании Патека посплетничать какую-то недоговоренность, скрытую, злую обиду. Хотя она много лет назад оставила сцену, чтобы выйти за Витторио Черрути, тогда еще простого советника дипломатического представительства, впоследствии он стал одним из последних выдающихся представителей классической европейской дипломатии, госпожа Черрути не утратила загадочное чутье, которое игра на сцене исключительно обостряет у актеров, а у актрис и по-прежнему. Казалось, будто у событий и людей нет от нее секретов: они были частью пьесы, и мадам Черрути знала не только ее сюжет, но и все реплики, слово в слово; казалось, она следит за развитием сценического действия, словно сама она неизвестно сколько раз разыгрывала на театральной сцене драму или комедию, которую теперь смотрела на сцене жизни. Хотя ее имя давно исчезло с театральных афиш и ничто в ней — ни манера одеваться, ни жесты, ни голос — не выдавало актрису, она по-прежнему страстно любила все, что связано с театром: драматурги, режиссеры, актеры и актрисы до сих пор составляли ее личный, запретный мир, где она пряталась мыслями и душой всякий раз, когда

ей наскучивала блестящая светская жизнь. Даже сплетни об актерах и актрисах вызывали у нее живейший интерес, в котором мирно соседствовали любопытство актрисы и слабость женщины. За годы, проведенные в Китае, в итальянском посольстве в Пекине, она выучила китайскую пословицу, которая прекрасно объясняла причины ее интереса и любопытства, верной любви к театру: “Весь мир — огромный театр, где зрители играют роли, а актеры смотрят представление”. Мадам Черрути наблюдала за игрой зрителей, и ее милое светское изящество, трогательный скептицизм, некоторая отстраненность от людей и событий, потаенная горечь и горькая ирония были рождены многолетним опытом осторожного зрителя.

— *Ah, je ne suis pas de votre avis*<sup>2</sup>, — сказал Патек, — вам, несомненно, уже известно, что произошло сегодня, несколько часов назад, с Луначарским. Вся Москва об этом говорит. Эта история вознаградит нас за всю скучную историю Троцкого и его ссор со Сталиным.

— В конце концов от всех этих сплетен устаешь, — сказала мадам Черрути, — не думаю, что истории из жизни мадам Луначарской могут быть смешными.

— *J'adore ce genre d'histoires*, — сказал Патек, — *c'est de la petite histoire dans le goût de Tallemant des Réaux*<sup>3</sup>. Вы же согласитесь со мной, что в советской России Таллеман де Рео куда интереснее официальных Фукидидов<sup>4</sup>. Впрочем, мадам Луначарская — женщина остроумная и первой посмеется над тем, что о ней рассказывают. По сути, в чем ее обвиняют? В том, что она красива? Глу-

2 Ах, я не разделяю ваше мнение (фр.).

3 Я обожаю подобные истории. Вот короткая история в духе Таллемана де Рео (фр.).

4 Таллеман де Рео (1619–1692) — автор “Занимательных историй” из жизни придворных короля Генриха IV. Фукидид — древнегреческий историк, автор “Истории Пелопоннесской войны”. (Примеч. ред.)

пости. В том, что она элегантна? Дупости. В том, что она носит на публике, на балах и обедах, наряды от Скъяпарелли. В том, что она распоряжается театральным гардеробом, как своим собственным? Дупости, *sottises, sottises*<sup>1</sup>. В том, что у нее есть любовники? А у какой *jolie dame*<sup>2</sup> из советской знати нет любовников? Карл Маркс не запрещает иметь любовников. Среди советской знати больше любовных историй, больше скандалов, сексуальных и сентиментальных интриг, чем во всех произведениях Шодерло де Лакло. Возможно, здесь все немного вульгарнее, чем в “Опасных связях”. Ну и что? Мадам Луначарская не вульгарная женщина. *Une grue n'est jamais vulgaire*<sup>3</sup>, за исключением особых случаев.

— Весьма особых, — сказала мадам Черрути.

— Любопытно узнать, — сказал посол Черрути, — что это за особые случаи.

— *Mon Dieu*, — сказал Патек, — *j'ai oublié de préciser qu'une grue n'est vulgaire et immorale que si elle oublie le leading rôle des grues dans les bonnes moeurs de la société, et si elle n'a pas un style approprié aux circonstances politiques et sociales*.<sup>4</sup> Никто не упрекает мадам Луначарскую в том, что у нее есть любовники. Ошибка, серьезная ошибка состоит в том, что она выбирает себе любовников среди офицеров Первой московской пролетарской дивизии подобно тому, как дамы царского времени выбирали себе любовников среди гвардейских офицеров.

— И ее обвиняют только в этом? — спросила мадам Черрути.

1 Вздор, вздор (фр.).

2 Хорошенькая дама (фр.).

3 Шлюха никогда не бывает вульгарной (фр.).

4 Боже, я забыл уточнить, что шлюха бывает вульгарной и безнравственной, лишь когда она забывает об определяющей роли шлюх в определении общественной морали и когда она лишена стиля, подобающего общественно-политическим обстоятельствам (фр.).

— Ее обвиняют, — ответил Патек, — в том, что она шлюха в стиле старорежимных знатных дам, а не в стиле коммунистической революции.

— Любопытно узнать, — сказал Шеффер, — какому стилю должны следовать шлюхи при марксистском режиме.

— Стиль шлюхи в коммунистическом обществе, — сказал Патек, — можно назвать “американским”: стремиться доставить удовольствие мужчинам, не показывая, что сама стремишься получить удовольствие. Относиться ко всем одинаково равнодушно. Не придавать ни малейшего значения половому акту. Мадам Луначарская придает слишком большое значение своим любовным историям и собственному удовольствию. Этого ей простить не могут. *Elle met trop d'individualisme dans la volupté*<sup>5</sup>.

— *Pauvre femme!* — воскликнула мадам Черрути. — *Je la plains de tout coeur.*<sup>6</sup>

— *Je plains son mari*<sup>7</sup>, — сказал Патек. — То, что с ним сегодня произошло, весьма знаменательно и чрезвычайно любопытно с точки зрения коммунистического стиля. Сегодня в пять часов Московский совет созвали на чрезвычайное заседание. Луначарскому, наркому просвещения, члену Московского совета, было строго велено явиться на заседание, отказаться он не мог. В повестке дня был всего один вопрос: общественное поведение товарища Луначарской. Заседание прошло в театре на Садовой: зал был заполнен до отказа. Все поднявшиеся на трибуну ораторы твердили одно и то же: “Твоя жена ведет себя неподобающим образом для коммунистки. Ее поведение противоречит марксистской мо-

5 В ее сластолюбии слишком много индивидуализма (фр.).

6 Бедняжка! Мне всем сердцем жаль ее (фр.).

7 Мне жаль ее мужа (фр.).

рали и оскорбляет чувства пролетариата. То, что у твоей жены есть любовники, нас не касается, но товарищ Луначарская публично появляется со своими любовниками на улицах Москвы в твоём наркомовском автомобиле, которым должен пользоваться только ты и только по делам службы; она носит украшения и шикарные платья из гардероба театра и открыто заявляет, как не раз бывало на официальных обедах с участием дипломатических представителей капиталистических стран, что мечтает уехать из скучной Москвы и перебраться в Париж. За поведение своей жены отвечаешь не ты, товарищ Луначарский, но тебе придется выбирать между женой и партией". Луначарский поднялся, смертельно бледный. Вначале он напомнил, что является одним из старейших товарищей и сотрудников Ленина, с которым он вместе пережил ссылку и опасности подпольной борьбы за свободу русского народа, о том, что Ленин в октябре 1917 года назначил его одним из первых наркомов, о своих бесспорных заслугах перед революцией и пролетариатом, напомнил, что во многом его личной заслугой было то, что художественное и культурное наследие России не было разрушено или утрачено в революционной буре, что во многом его личной заслугой был успех революции в сфере народной культуры и так далее и что по всем названным причинам он просит товарищей из Московского совета проявить к нему снисходительность. "Я люблю свою жену", — сказал он в конце, — за мной водится такая слабость, простите мне ее. Товарищ Луначарская поймет причины вашего несогласия, и я уверен, что впредь она будет вести себя в соответствии с вашими указаниями. Но я прошу вас извинить мне преступную слабость, которую я проявляю к жене". "Развод или отставка!" — орала толпа. Бледный, словно мертвец, Луначарский пытался воз-



звать к человечности и пониманию народа. Но все было тщетно. “Развод или отставка!” И вот главная политическая новость сегодняшнего вечера: ждать ли наутро развод или отставку Луначарского с поста наркома просвещения.

— Он не разведется и не уйдет в отставку, — сказала мадам Черрути, — говорят, любовником мадам Луначарской был Сталин.

— Нет, не думаю, что она была любовницей Сталина, — сказал Патек хриплым голосом, чуть громче обычного. Она покраснела и казался необычно возбужденным.

— Почему бы и нет? Что в этом плохого? — спросил с улыбкой Шеффер.

— Я отказываюсь в это верить. *On n'a pas le droit, mon cher ami, de s'acharner... Je vous demande pardon*<sup>1</sup>, — добавил он неожиданно теплым голосом, поглаживая ладонью лысину, — *au fond, cette femme m'est tout à fait indifférente. Elle me fait de la peine, voilà tout*<sup>2</sup>. Всецой этой несчастной советской знати остались считанные дни. Происшествие с мадам Луначарской — дурной знак. *Quand la populace s'attaque aux femmes, c'est que les hommes sont en danger*<sup>3</sup>. Но она не любовница Сталина и никогда ею не была. Она слишком умна, чтобы совершить подобную ошибку. Будь это правдой, ей конец. Разве в Италии с любовницами Муссолини дело обстоит иначе?

— Никогда не слышал, чтобы у Муссолини были любовницы, — сказал посол Черрути, ерзая в кресле и теребя узел галстука. И, чтобы сменить тему беседы,

1 У нас, дорогой друг, нет права так на нее набрасываться. Прошу прощения (фр.).

2 По сути, мне нет дела до этой женщины. Просто мне ее жаль, вот и все (фр.).

3 Когда чернь набрасывается на женщин, это означает, что мужчинам грозит опасность (фр.).

прибавил, обращаясь ко мне: — Малапарте, вам известна история этого кресла? В нем был убит немецкий посол Мирбах\*. На спинке до сих пор видно пятнышко крови.

— Пятнышко крови? — удивился я. — Я думал, что в России все пятна крови уже смыли.

— Вывести пятно с кожи трудно. Нужно скоблить, но уничтожать кожаное кресло из-за обычного пятнышка крови жалко, вам так не кажется? — сказала со смехом мадам Черрути.

— Оно как раз там, где я опираюсь головой, — сказал Черрути, — наверное, из-за этого пятнышка крови я и лысею.

— *Oui, je te rappelle*<sup>1</sup>, — сказал Патек. — Мирбаха убили в этой комнате. Ленин воспользовался этим, чтобы обвинить в преступлении эсеров, которых уничтожили как провокаторов.

— Здесь до недавнего времени располагалось посольство Германии, — сказал Черрути. — Когда итальянское правительство приобрело особняк, чтобы разместить в нем посольство, его купили вместе с мебелью. Разумеется, мне была известна история убийства Мирбаха, но я не потрудился узнать, в каком кресле его убили. Однажды я задремал в этом кресле, и мне приснился странный сон: будто двое мужчин влезают вон в то окно и дважды стреляют мне в голову. Я внезапно проснулся под глубоким впечатлением, но не стал никому рассказывать о сне, даже жене. Как-то вечером, вскоре после этого, у меня обедал литовский посол Балтрушайтис, который живет в Москве уже много лет. Я пересказал ему свой сон, и Балтрушайтис со смехом ответил, что именно в этом кресле

был убит посол Мирбах. В доказательство он показал мне отверстия от пуль в кожаной спинке и пятнышко крови.

— *Ce fauteuil vous portera bonheur*<sup>2</sup>, — сказал Патек.

— *Ce n'est pas pour ce fauteuil que je deviendrai Ministre des Affaires Étrangères*<sup>3</sup>, — ответил Черрути со смехом.

— Я уверен, — сказа Патек, — что Мирбаху за несколько мгновений до смерти снился тот же сон. Он задремал в этом кресле, и ему приснилось, как в окно влезают двое мужчин и дважды стреляют ему в голову. Двое мужчин на самом деле влезли в окно и убили его. *De tous les temps, la Russia a été le pays des rêves, des révélations oniriques, des visions*<sup>4</sup>.

— И чудес? — спросил его я.

— И чудес, разумеется.

— Малапарте, — сказал Черрути, — приехал в Россию, чтобы увидеть чудеса: он считает, что в марксистском обществе есть место для сверхъестественного, что марксизм не в силах запретить чудеса.

— *Et avez-vous vu un miracle, en Russie?*<sup>5</sup> — спросил Патек.

— Пока что нет, — ответил я.

— *Je suis sûr que vous en verrez*<sup>6</sup>, — сказал Патек. — Россия на самом деле родина чудес. Совсем недавно русский народ верил только в чудесные события; полагаю, в душе он не сильно изменился. Зиновьев как-то рассказывал мне, что крестьяне, по сути, воспринимают огромные успехи советской политики строительства социалистического государства как чудеса. Паломничество на

2 Это кресло принесет вам удачу (фр.).

3 Вряд ли благодаря ему я стану министром иностранных дел (фр.).

4 Россия во все времена была страной мечтаний, откровений во сне, видений (фр.).

5 Вы видели какое-нибудь чудо в России? (фр.)

6 Я уверен, что вы его увидите (фр.).

могилу Ленина напоминает паломничество на могилы святых. В 1914 году, чтобы объявить о начале войны, по белорусским деревням послали жандармов, наряженных архангелами: в руке они держали меч, на спине у них были крылья, лошади тоже были с крыльями. Они останавливались посреди деревень и оглашали царский указ о мобилизации. Коммунистические вожди также живут в болезненной атмосфере, свойственной русскому народу. Вы, конечно, знаете Юровского, убийцу царской семьи\*. Вы наверняка встречали его в "Метрополе" или в "Скале". *C'est un charmant garçon. Un homme tout à fait sérieux*<sup>1</sup>. Лет сорока пяти, высокий, светловолосый, внушительный. Настоящий русский из крестьян. Он служит в Наркомате внешней торговли. Маленькая, неприметная должность: *les assassins, vous savez, ne font jamais fortune. Il ne faut jamais tuer, même pas un tyran. Pouvez-vous me dire comment a fini Judith? Très male, je suppose. Je crois qu'elle a eu de la peine à trouver un mari*<sup>2</sup>. Юровский весьма чувствительный и печальный человек. *On dit qu'il pleure très souvent, et pour rien. Ce n'est certes pas le remord, pensez-vous!*<sup>3</sup> Не знай я, что он сделал, я бы сказал, что такой человек и ягненка не зарежет. Недавно ему приснился сон: ему явился царь и спросил: "Где царевич? Что ты сделал с царевичем?" *Vous savez, tout à fait comme*<sup>4</sup> в "Борисе Годунове" у Пушкина. "Где царевич, Юровский? Что ты с ним сделал?" Так вот, с того дня Юровский одержим этим сном. Он живет с кошмарным подозрением, что царевич до

1 Очаровательный молодой человек. Весьма серьезный (фр.).

2 Знаете, убийцы редко добиваются успеха. Никогда нельзя убивать, даже тирана. Вы можете рассказать, как окончила свои дни Юдифь? Весьма скверно, предполагаю. Боюсь, ей было нелегко найти себе мужа (фр.).

3 Говорят, он часто плачет по пустякам. И это не утрызения совести, представьте себе! (фр.)

4 Знаете, совсем как... (фр.)

сих пор жив. Ему предсказали, что он погибнет от руки ребенка. Несколько ночей тому назад, когда он возвращался домой, на Юровского напала банда беспризорников. Один ударил его ножом в живот. В бреду Юровский кричал, что этот мальчишка — царевич.

— *Vous êtes sûr que ce n'était pas le Zarevic?*<sup>5</sup> — спросил Шеффер.

— *Sait-on jamais, en Russie?*<sup>6</sup> — ответил Патек, разводя руками.

— Вы сами были свидетелем чуда, — сказал посол Черрути, обращаясь к Шефферу, — расскажите Малапарте о чуде, свидетелем которого вы были!

— Я не был свидетелем чуда, — сказал Шеффер, — но, увы, могу сказать, что меня до некоторой степени втянули в эту грязную историю, — и он странно рассмеялся, откинув голову и демонстрируя розовое небо, дрожащий синюшный язычок в глубине розового горла, красные, волосатые ноздри.

Его смех меня смутил, и я принялся внимательно разглядывать Пауля Шеффера. Среднего роста, приземистый, широкоплечий, с короткой шеей и круглой головой, он единственный среди нас, одетых неброско, в серое, был в *dinner jacket*<sup>7</sup>. Черная одежда, сверкающая белизна накрахмаленной рубашки, мертвенный блеск шелковых лацканов придавали гротескный вид розовому лицу, белым рукам, поблескивающему под редкими волосами черепу — гротескный и вызывающий глубокое смущение вид, как у персонажей Лукаса Кранаха: когда на розовую немецкую кожу ложатся золотые отблески, она становится мертвенного цвета слоновой кости с зеленоватым оттенком, а по контрасту с черными

5 Вы уверены, что это не был царевич? (фр.)

6 Разве в России можно быть в чем-то уверенным? (фр.)

7 Смокинг (англ.).

одеждами обретает бледность разлагающейся плоти — основной цвет всякого немецкого назидательного пейзажа. Руки у Шеффера были коротковаты, как часто бывает у немцев, взгляд был неспешным, тяжелым, настойчивым: он ложился на предметы и людей, словно раскрытая, горячая, потная ладонь. Пауль Шеффер, московский корреспондент “Берлинер Тагеблатт”, был женат на русской и среди зарубежных корреспондентов, очевидно, лучше всех знал советскую Россию и русских, даже лучше американца Уолтера Дюранти<sup>1</sup>, у которого имелся большой недостаток — *sense of humour*<sup>1</sup>, а *sense of humor* в советской России не требуется. Шеффер вызывал симпатию у иностранного дипломатического корпуса, и даже советские власти уважали его за серьезность. Мне он тоже нравился, я его уважал, но не за серьезность — знаменитая немецкая серьезность представляет собой форму немецкой глупости, из-за серьезности у него имелся один недостаток, как у всякого серьезного немца: всех остальных он считал пустыми и легкомысленными невеждами. Мне Пауль Шеффер нравился потому, что он судил о советской России без чувства юмора, а это единственный способ объективно судить о ней, понять ее. Он единственный из иностранцев, которых я встречал в России, понял коммунистическую Россию и не шутил по поводу коммунизма. Я вновь повстречал его в Лондоне несколько лет спустя, весной 1933 года, куда его перевели как корреспондента “Берлинер Тагеблатт” после выдворения из России. Из СССР его выслали по следующей причине: советские власти строго запретили иностранным корреспондентам сообщать в свои газеты об эксперименте, который провели на медицинском факультете Ленинградского универси-

тета, то есть о совокуплении женщины (преступницы, которая сидела в тюрьме) и орангутана. Шеффер напечатал об этом большой репортаж в “Берлинер Тагеблатт”. Когда я встретил его в Лондоне, дома у Сесила Спригге<sup>2</sup>, который, если я ничего не путаю, жил у моста Патни, я спросил, правда ли его выдворили из России из-за статьи. Он ответил, что правда, но казался раздосадованным моим вопросом. Возможно, он боялся, что мне будет любопытно узнать, на чьей он стороне — женщины или орангутана\*. Мне же не было никакой нужды спрашивать об этом: мне было прекрасно известно, что Шеффер, как Дизраэли, всегда *on the side of Angels*, на стороне ангелов<sup>3</sup>. Его ошибка состояла в том, что он не понял: в России нужно всегда быть *on the side of apes*, на стороне обезьян.

— Прошу вас, дорогой Шеффер, — сказал Черрути, — расскажите нам об этом чуде.

— Гнусная история, — сказал Шеффер, — *n'est-ce pas, Monsieur l'Ambassadeur, que c'est une sale histoire?*<sup>4</sup>

— *Oui, je la connais, c'est une sale histoire*<sup>5</sup>, — сказал Патек.

— *Je n'aime pas les sales histoires*<sup>6</sup>, — сказал Шеффер.

— *Moi non plus*<sup>7</sup>, — сказал Патек.

— *Je n'aime pas raconter des sales histoires*<sup>8</sup>, — сказал Шеффер.

— *Moi non plus*, — ответил Патек, — *je préfère les entendre*<sup>9</sup>.

2 Сесил Спригге (1896–1959) — английский журналист, много писавший об Италии. (Примеч. ред.)

3 Имеется в виду знаменитая речь Бенджамина Дизраэли, в которой он подверг критике учение Дарвина.

4 Не правда ли, господин посол, это гнусная история? (фр.)

5 Да, я ее знаю, это гнусная история (фр.).

6 Не люблю гнусные истории (фр.).

7 Я тоже (фр.).

8 Не люблю рассказывать гнусные истории (фр.).

9 Я тоже, я предпочитаю их слушать (фр.).

— Vous êtes venu avec moi, ce matin, chez le Professeur Obolenski. Профессор Оболенский<sup>1</sup> был вашим другом. Vous le connaissiez depuis trente ans, n'est-ce pas?<sup>2</sup>

— Да, — ответил Патек, — мы с ним дружим почти тридцать лет. Мы познакомились в 1902 году, когда я был молодым петербургским адвокатом, а он уже завоевал славу как хирург.

— Мы были знакомы всего два-три года, но сразу же подружились. — Обращаясь ко мне, Шеффер пояснил: — Профессор Оболенский был лучшим хирургом в Москве. Теперь это семидесятилетний старик: всю свою жизнь он отдал на благо человечества, я никогда не встречал человека, который так привержен добру. До революции у него в Москве были самые состоятельные пациенты. Но его клиника была открыта для всех — богатей и бедняков. Народ любил его, потому что бедных он лечил даром. Он и сам был беден, а мог быть очень богат, если бы не раздал все имущество беднякам. Разумеется, он тоже пострадал из-за революции. Он потерял единственного сына, который служил врачом в полевом госпитале и которого расстреляли в Киеве махновцы. Жена его умерла от нужды во время страшного “голового года”, как назвал его Пильняк. После революции ему пришлось ютиться в маленькой каморке в бедном доме в районе Большой Пироговской. Но поскольку

1 Профессор Оболенский — личность не установлена. Соответственно, едва ли поддается реальному объяснению временная несообразность: в начале сцены Шеффер говорит по-французски Патеку, что “сегодня утром” они посещали профессора Оболенского, а в конце главы Патек сообщает, что “профессор Оболенский погиб в прошлом месяце на Соловках”. Примечательно, что в черновой версии романа о визите “сегодня утром” не упоминалось, там Шеффер начинает рассказ словами: “Знаете, кто такой профессор К.?” (*Malaparte C. Il ballo al Kremlin. P. 265*). (Примеч. науч. ред.)

2 Сегодня утром вы были со мной у профессора Оболенского. Вы ведь с ним знакомы тридцать лет, правда? (фр.)



революции были нужны врачи, а медицинские факультеты советских университетов могли отправить в больницы только студентов-третьекурсников, причем хирургов особенно не хватало, профессору Оболенскому разрешили продолжить работу в лечебнице, которую включили в состав новой поликлиники, построенной советским государством на краю Хамовников. Несмотря на открытую враждебность молодых коммунистических врачей и хирургов, видевших в нем не только старого буржуя, реакционера и так далее, но и старого соперника (не старого учителя, но старого соперника), который, пожав плоды долгих лет учебы и практики, стал официальным хирургом новой советской знати, несмотря на это, профессор Оболенский сумел сохранить не только огромный престиж, но и научное первенство. Он жил бедно в голой комнатухе на Большой Пироговской и, чтобы не привлекать внимания, не вызывать зависти и злобы, не давать ни малейшего повода для профессиональной, корыстной ревности молодых врачей поликлиники, отказался даже от немногочисленных привилегий, которые давало ему его положение. Он был слишком стар, чтобы, как прежде, ходить к больным на дом: в отделение поликлиники, которая некогда была его частной клиникой, стекался народ, ведь он никому не отказывал — ни богатым, ни бедным. У него имелся лишь один недостаток, весьма серьезный для врача: он был очень набожен. Вера была его слабым местом. Он знал об этом, но надеялся на Бога и не отрекался от Христа в угоду антирелигиозной пропаганде, которую, используя все возможные средства, развернули по всей России, как раз когда произошла эта гнусная история.

Как-то ночью, прошлой зимой, часа в два, когда профессор Оболенский спал, в дверь постучали. Он встал

с постели, надел халат и пошел открывать. На пороге стояла девочка лет десяти, в лохмотьях, в рваной козлиной телогрейке, вся белая от снега. Девочка упала к его ногам и, обняв его колени, со слезами сказала: “Ох, дедушка, пошли, скорей, спаси мою маму, ох, дедушка, ох, дедушка, спаси мою маму! Мамушка умирает, мамушка умирает!” Профессор Оболенский поднял малышку, впустил в свою нищую каморку, закрыл дверь и сказал: “Я сейчас позвоню ассистенту, чтобы он сразу пришел к вам домой. Я слишком стар, ассистент проворнее, через пять минут он будет у вас. Как тебя зовут? Где ты живешь?”

“Ах, дедушка, — запричитала девочка, — ты сам иди, мамушка говорит, что только ты можешь ее спасти, пошли, пошли, мамушка умирает!” — и она тянула его за края халата бедными, посиневшими от холода мертвецки бледными худенькими ручонками.

“Мой ассистент лучше меня, я слишком стар, сейчас я ему позвоню, через несколько минут он будет у вас дома и спасет твою маму. Ну-ка, не плачь, дай мне подойти к телефону”.

“Нет, сам иди, сам!” — воскликнула девочка, вновь падая на колени, и принялась плакать и биться лбом об пол. Профессор Оболенский поднял ее и со словами “мой ассистент” уже протянул руку к телефону, как девочка вскочила, словно бешеная, сжала кулачки и набросилась на старика, колотя его худыми посинелыми ручонками и крича: “Ах ты, проклятый, проклятый буржуй, ты не хочешь идти, потому что мама бедная, не хочешь идти, потому что мама не может тебе заплатить, не хочешь идти, потому что мама не богатая буржуйка!”

Профессора Оболенского испугала эта неожиданная ярость, а еще больше — бледный, почти синюшный цвет детского личика. Движимый то ли осторожностью,

то ли жалостью, то ли странным чувством, которое пробудило у него в душе осунувшееся, синюшное личико девочки, он сказал: “Хорошо, я приду. Беги домой, я оденусь и через пять минут буду у тебя”.

Девочка поклонилась до земли, поцеловала ему руки и убежала. Старый хирург быстро оделся, надел шубу, взял чемоданчик с инструментами и вышел из дома. Шел снег, стоял сильный мороз. Несколько минут спустя он уже был на улице, которую назвала ему девочка. Он отыскал дверь и зашел в бедную лачугу. На постели в углу лежала женщина, почти истекшая кровью. Кровь залила постель, собралась на полу темной лужей. Хирург, не теряя времени, закатал рукава, принялся за работу, остановил кровотечение, сделал умирающей укол, привел ее в чувство и, вытирая руки, сказал: “Опоздай я на пять минут, вас бы было уже не спасти”.

“Спасибо, — ответила женщина, — я обязана вам жизнью”.

“Ты обязана жизнью своей дочери, а не мне, — сказал хирург, — не заплачь твоя дочка и не уговори она меня прийти самому, мой ассистент прибыл бы слишком поздно”.

“Моя дочка?” — удивилась женщина.

“Да, твоя дочка. Ей ты обязана жизнью, а не мне. Это она меня позвала”.

“Это не может быть моя дочка, — сказала женщина, — загляните за ширму”.

Доктор заглянул за бумажную ширму, которая стояла в углу, и увидел, что на старом соломенном тюфяке лежит девочка, которая за ним приходила.

“К вам приходила не моя дочка, — сказала женщина, — она умерла вчера утром”.

Слухи о чуде распространились по всему району, и на следующее утро толпа бедняков собралась перед

домом профессора Оболенского. Люди падали на колени прямо в снег и кричали: “Чудо! Чудо!” Прибежала милиция, начала безжалостно разгонять толпу, самых неистовых задерживали, улицу перекрыли, профессора Оболенского посадили под арест. “Вы тут у нас научитесь творить чудеса, — сказал один из милицейских чинов профессору Оболенскому, — неужели вы не понимаете, что эта история может стоить вам жизни?” Дело приняло серьезный оборот: старого хирурга обвинили в попытке распространить среди народа суеверие при помощи ложного чуда, чтобы вызвать контрреволюционные настроения. Это было очень серьезное обвинение, особенно в то время, поскольку совсем недавно началась кампания по борьбе с религией.

Узнав об этом печальном происшествии, я сразу же поспешил домой к профессору Оболенскому. Все мы, иностранцы, были его друзьями, он лечил дипломатический корпус, все мы его любили. Когда я пришел к нему, путь мне преградили двое милиционеров, карауливших профессора в ожидании дальнейших распоряжений.

“Позвоните вашему начальнику и скажите, что я — Пауль Шеффер из «Берлинер Тагеблатт»”.

“Не положено”, — ответили милиционеры.

“Прошу вас позвонить на Лубянку, чтобы мне дали разрешение поговорить с профессором Оболенским, — сказал я. — Я — Шеффер из «Берлинер Тагеблатт». Прошу, позвоните от моего имени товарищу Калининскому\*, он меня знает, он даст разрешение”.

“Хорошо”, — сказал один из милиционеров и направился к телефону.

Я стоял на пороге и ждал.

Внезапно профессор Оболенский окликнул меня из комнаты через закрытую дверь.

“Дорогой Шеффер, — сказал он мне, — не настаивайте, не пытайтесь увидеться со мной, поговорить со мной, все бесполезно. Уже ничего не поделать, я погиб. Спасибо, дорогой Шеффер, благодарю вас за великодушную попытку, но не подвергайте себя опасности, уже ничего не поделать. Прощайте, дорогой Шеффер!”

“Я попробую сделать невозможное, — крикнул я в ответ через дверь, — я телеграфирую в «Берлинер Тагеблатт» и попрошу обратиться ко всем немецким врачам с призывом проявить солидарность и выразить свой протест, вот увидите, дорогой профессор, сейчас советские власти весьма чувствительны к зарубежному общественному мнению. Они запустили пятилетний план, и Советскому государству нужен иностранный капитал. Не отчаивайтесь, я все сделаю”.

“Бесполезно, дорогой Шеффер, — сказал старый хирург, — будь это настоящее чудо, возможно, я бы спасся, возможно, я бы доказал, что это дело не моих рук, а Господа. К сожалению, все было совсем не так. Сегодня ночью я, как обычно, спал в своей постели, никто ко мне не приходил, никакая девочка не стучала в мою дверь, я не выходил из своей комнаты и не лечил никакую женщину. Все это придумали и распространили мои молодые коллеги, чтобы погубить меня, отобрать у меня пациентов, сделать так, чтобы я исчез. Вот и все. Теперь вы понимаете, Шеффер? Теперь вы понимаете, что ничего не поделать?”

— Ничего поделать было нельзя, — сказал Патек, — позавчера я узнал, что профессор Оболенский погиб в прошлом месяце на Соловках.

## СТЫД СМЕРТИ

Все они были здесь, все сидели рядом перед огромной толпой, заполнившей партер Большого театра\*. Одни скрестили руки на груди, другие положили их на колени, третьи держали в руках папки. Взгляд у всех был неясный, сосредоточенный. Я посмотрел на Луначарского. Он был бледен, щеки чуть покраснели. Лоб покрыт испариной, которую он периодически промокал платком. Калинин как будто дремал, прикрыв под очками глаза. Казалось, президент СССР высечен из старого, пыльного дерева. Я стал разглядывать их ноги, обувь. Разглядывать обувь казалось мне естественным занятием. На картинах итальянских художников пятнадцатого века все послы и благородные господа, стоящие на коленях перед папой, королем, императором или государем, словно разглядывают их туфли. Разглядывают с иронией, потому что ироничен художник. Все они словно пытаются понять, как сделаны, как сшиты туфли, из хорошей ли они кожи, крепкая ли нитка, плотная ли подошва, надежные ли гвозди. Что за опытные

сапожники эти придворные! Иногда на флорентийских картинах виден лишь носок папской туфли, выглядывающий из-под широкого колокола белого одеяния: взгляды всех придворных прикованы к этому носку, все смотрят на него с таким вниманием, словно от него зависят судьбы мира. Здесь же я видел грубую советскую обувь, скроенную и сшитую без вкуса. На некоторых были сапоги в русском стиле, на других — прогулочные туфли, на третьих — немецкие ботинки. Перед Калининым стоял треножник — подставка для микрофона, напоминавшая инструмент зубного врача. Сам Калинин с длинной седой бородой слегка склонил голову набок и откинул назад, как пациент в зубокабинете. В какой-то момент я понял, что всем этим парадом руководит режиссер. Белый свет софитов падал сидящим на сцене прямо на лица, на брови, на носы, на щеки, на губы, рисуя на гипсовых физиономиях черные, глубокие тени, как на лицах покойников на американских фотографиях. То, что я видел, напоминало картины экспрессионистов. Казалось, это лица убитых гангстеров, мертвецов, которых рассадил в морге фламандский художник, какой-нибудь Босх. Внезапно я с ужасом увидел, что между их головами виднеются лица мертвых, покойников — так же, как зеленое лицо покойника виднеется за левым плечом Христа на картине Иеронима Босха из Королевского музея в Амстердаме<sup>1</sup>. За левым плечом Калинина виднелось зеленое, словно у покойника, лицо Луначарского. Да и лицо самого Калинина <...>. Вдруг я увидел лицо Сталина. Он вошел бесшумно, за спинами собравшихся, почти тайком: уселся позади всех, за по-

1 Скорее всего, Малапарте имеет в виду картину И. Босха "Несение креста", хранящуюся в Музее изящных искусств в Генте.

следним рядом, и теперь сзади выглядывало его бледное лицо, казавшееся темным из-за больших усов, лохматых бровей, крупного мясистого рта. Где же было лицо Троцкого? Возникни в то мгновение лицо Троцкого за плечом у кого-то, как на картине Босха, вот бы все удивились и испугались! Накануне я видел, как по московским улицам шла похоронная процессия: провожали видного деятеля советских профсоюзов, имя которого я забыл. За гробом шагали его товарищи, держа шапки в руках. На мгновение катафалк исчез за стоявшим посреди улицы трамваем, и перед моими глазами возникла картина похорон трамвая. На лицах провожающих было написано высокомерное, самоуверенное, холодное, гордое, суровое равнодушие. Они словно провожали на кладбище пустой гроб. А провожали они его в крематорий. За несколько дней до этого, когда я ехал в трамвае, совсем рядом со мной прошла пролетарская похоронная процессия. Те похороны еще проводились по православному обряду: гроб был открыт, в гробу лежал старик с длинной седой бородой. Глаза его были распахнуты, он смотрел в небо. Трамвай остановился и, когда гроб проплыл рядом со мной, покойник посмотрел на меня. У него был ироничный, ехидный взгляд — такой же, какой, наверное, был у Акселя Мунте\* на смертном одре. Руки по русскому обычаю были сложены на груди, пальцы переплетены. Он был в сапогах. Одет в черное — не как рабочие или крестьяне, а как гоголевские чиновники — он наверняка получил свой наряд из гардероба какого-нибудь старого чиновника, скончавшегося много лет назад. Протяни я руку, я бы мог погладить его лицо. В нем, этом лице, был такой покой — ироничный, толстовский — какой я в тот год тщетно искал в Москве на лицах живых. Не то чтобы покой на лицах



мертвых или живых говорил о справедливости, о свободе. Покой, умиротворение на лицах мертвых — крайнее проявление буржуазного лицемерия. Но у него это был ироничный покой, знак того, что он прожил жизнь, осознавая собственную ответственность. Такой покой сияет на лицах тех, кто жил *своей* жизнью. Кто грешил или был добродетелен по своей воле. Жизнь жестока, лицемерна, несправедлива, гадка и подла, говорят наполненные покоем лица. Лишь на лицах убитых лежит отпечаток их времени. Хорас Уолпол, бывая в Париже, не упускал случая сходить в морг и посмотреть на лица жертв убийства или самоубийц, увидеть смертную казнь. В их лицах, в их страшных гримасах он искал портрет своего времени. И у всех на лице было написано удивление. *On ne s'attendait pas à cela*<sup>1</sup>. Такое же удивленное и испуганное выражение бывает у дохлых животных. У некоторых рыб. Глубокое изумление, ошарашенность. Крутой мир в круглом зрачке, окаймленном красным.

Когда я спросил у Литвинова, не будет ли он столь любезен разрешить мне побывать в московском морге, он удивленно поглядел на меня: “В московском морге? Боюсь, у нас нет морга”. Он нажал кнопку вызова и, когда явился его подчиненный, спросил, есть ли в Москве морг. “Морг?” Литвинову потребовалось пять минут на то, чтобы объяснить подчиненному, что такое морг. В итоге, после нескольких звонков, все сошлись во мнении, что в Москве морга нет. Трупы отвозят в университет и хранят там в *frigidaire*<sup>2</sup> для уроков анатомии. Я отправился в университет, молодой врач-ассистент показал лежащие рядами в холодильниках трупы. От холода

1 Они такого не ожидали (фр.).

2 Холодильник (фр.).

их пальцы ног затвердели и торчали, загнувшись вверх, словно клешни перевернутого на спину краба. Длаза у всех были запечатаны тонкой корочкой льда. Тела были синюшного цвета с темно-лиловыми пятнами. Я спросил у доктора, не стучат ли мертвецы по ночам зубами от холода. "Нет, конечно, — ответил он, — у нас мертвецы знают свое место". Я спросил, кто эти мертвецы, известно ли ему, как их зовут, кем они были, где работали, где жили, каково их семейное положение. Он ответил, что трупы поступают в университет из тюрем, из больниц, часто это рабочие, погибшие в результате несчастного случая. Утопленников или мертвецов, чьи тела испорчены ранами, власти хоронили. У попадавших в университет мертвецов не было имени.

— Впрочем, — прибавил он, — какое мне дело, как их звали?

Я сказал:

— Вам нет дела до того, как их звали, но, вероятно, было бы гуманнее, если бы у них были имена, если бы они не оставались безымянными, если бы к ним относились как к покойникам, а не как к трупам.

Доктор улыбнулся:

— Вы придаете трупам большое значение, верно?

— Все христиане придают трупам большое значение, — ответил я, — для христианина мертвый человек куда важнее живого.

— Христос сказал: "Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов", разве не так?

— Да, — согласился я. — Христос именно так и сказал.

— Христос испытывал отвращение к мертвецам, — сказал доктор, — он относился к ним как к мусору, как к трупам животных, к тому, что выбрасывают на помойку.

— Он учил жалеть мертвых, — сказал я.

— О, нет! — сказал, вернее, почти прокричал доктор. — Зачем вы приезжаете в Россию и рассказываете ваши обычные байки? Вы превратили Христа в удобный для вас слащавый образ, в бедного педика, хватающегося за мамину и папину ручку. Христос учил нас жалеть живых людей, а не мертвых. Разве он не говорил, чтобы мертвые сами хоронили своих мертвецов?

— Да, говорил, но...

— Так говорил, да или нет? А если говорил, знаете, что он имел в виду? Он имел в виду, что живым людям не нужно заниматься мертвецами, сгнившей плотью. Оставьте мертвецов, где они лежат, выбросите на помойку, не возитесь с ними. Пусть сами выкоют себе могилу, если хотят быть похороненными. Пусть помогают друг другу, пусть хоронят друг друга. Разве не замечательное зрелище, — прибавил он, — мертвецы хоронят мертвецов?

— Замечательное, — согласился я.

— Представьте, как эту сцену изобразил бы Брейгель, или Босх, или кто-нибудь из менее известных фламандских художников. Я бывал в Голландии, в Лейдене, в Амстердаме. В Гааге я видел "Урок анатомии", а в Амстердаме — "Разъяренного лебедя"<sup>1</sup>. Вообразите, как мертвецы — маленькие, кривые, горбатые, золотушные, косые, с лицами, обезображенными язвами, нарывами, бляшками проказы, — старательно волокут других мертвецов за ноги и за руки: кто хватается за руки, кто за ноги, кто за кожу шеи, кто за волосы и, грубо раскачав, швыряют их в глубокие ямы, которые тем временем третьи мертвецы выкапывают мотыгами и лопатами. Жалость к мертвым — удел мертвых. Жи-

1 Речь идет о картине "Испуганный лебедь" Яна Асселина.

вой христианин не испытывает и не должен испытывать, если он настоящий христианин, последователь Христа, ничего, кроме глубокого отвращения, высокомерного презрения к трупам, которые люди оставляют после себя на земле, когда они возносятся в небеса или проваливаются в преисподнюю. — Я глядел на доктора и думал, что это, безусловно, потрясающее зрелище: мертвецы хоронят мертвецов, а высоко, на холме, Христос уже приготовился подняться в небеса, левой ногой он еще касается земли, правая уже взлетела. Я родился в тосканском селении, где живые испытывают отвращение к мертвецам. С детства я твердил себе всякий раз, когда мне было противно видеть нечто мертвое, я всегда твердил, что Христос, конечно же, ненавидит все мертвое, все, что связано со смертью — и пороки, и трупы; я полагал, что грех сам по себе — нечто мертвое, а добродетель жива, это нечто живое. Я всегда твердил себе, что жалость к трупам оскорбляет Христа, который ненавидит трупы, ибо Христос — это победа жизни, вечной жизни. Я глядел на доктора и улыбался. А потом вдруг сказал:

— А что вы делаете с останками этих мертвецов?

— Сжигаем, — ответил доктор.

После я отправился взглянуть на фабрику клея, расположенную в дальней части пригорода \*\*\*. На фабричном дворе высилась гора мертвых животных: котов, собак, лошадей, гнилых бычьих и лошадиных шкур. Тошнотворная вонь исходила от этой горы сгнившей плоти. Современной цивилизации свойственно преобразовывать мертвое в предметы широкого потребления — крем, мыло, клей, духи, в химическое вещество без вкуса, цвета и запаха. Я подумал, когда же зародилась индустрия мертвого, и удивился, поняв, что ее рождение совпало с рождением, с изобретением фото-

графии. Изобретение фотографии наводнило мир ужасающими образами. До того времени имевшиеся в распоряжении человека образы мира и человеческой жизни были рождены фантазией живописцев и рисовальщиков, рождены искусством. То, как человек видел себя и мир, было осмыслено, увидено, истолковано гением, воображением художников: скульптуры, картины — вот образы мира и человека, которые искусство предлагает нашим глазам. Ни один созданный художником образ, сколь бы безобразным, сколь бы отталкивающим он ни был, — нищие Маньяско, гротескные персонажи Брейгеля и Иеронима Босха, старухи и чудовища Гойи, трупы Гойи, — ничто не было столь же отталкивающим, как образы людей, чудовищ и мертвецов, запечатленные на фотопластинке. Искусство не застигает природу врасплох: оно преобразует природу, помогает ей прикрыть лицо. Искусство — это маска, закрывающая лицо природы. А фотография показывает в природе все, что в ней больше всего обнажено, ясно, очевидно, заметно глазу, зрелищно и, я бы сказал, мертво. Написанный художником портрет — это портрет живого человека, портрет, пойманный фотоаппаратом, — это портрет мертвого человека; вернее, портрет или моментальный снимок всего самого брэнного, мертвого, могильного, что есть в человеке, того, что напоминает в нем о будущем трупе. Черты лица обостряются, глаза кажутся выпученными, наполненными падающим прямо белым светом, во взгляде — изумление, ужас. Зубы, если рот улыбается, кажутся разными по размеру, испорченными, тень между зубами или у десен превращается в черноту, отчего зубы, самые чистые, красивые и белые зубы кажутся разрушенными кариесом. Ноздри являют свои черные, волосатые глубины. Уши торчат, нос выступает, грубо

очерченные губы надуваются, кажутся вылепленными из твердого, пастообразного материала. Даже улыбка выглядит как гримаса страха, отвращения. То, что фотография открыла в человеке, — страшно. А насколько фотография, механическое воспроизведение лица, голоса, человеческих жестов, повлияла на восприятие, на вкус современных поколений, — просто невероятно: многие не подозревают об этом, ведь зрелище механически воспроизведенного человека стало привычным, обыденным. На фотографиях пугающее и смешное идут рука об руку, и постепенно смешное вытесняет все прочее, пока не остается одно смешное, как ясно видно по старым фотографиям, старым фильмам. На картине такого не бывает, поскольку благодаря кисти художника она воспроизводит те же сцены, те же лица в вечном, остановившемся мгновении, которое дарит искусство. Все, что на человеческом лице, воспроизведенном на фотопластинке, принадлежит трупу, особенно если это моментальная фотография, снятая без искусственных теней, без мягкого света ателье, — самый выразительный элемент человеческого лица. Оттого сегодня люди привыкли видеть человека через фотографию, то есть улавливать в человеке брэнное, мертвое, трупное. *Tout se tient*<sup>1</sup>, — справедливо замечают французы. И не только философии, не только некоторым направлениям общественно-политической идеологии мы обязаны сегодня невероятным пренебрежением живым человеком, человеческой жизнью. Мы немало обязаны этим современному восприятию, рожденному механическим воспроизведением человека, природы, жизни во всех ее формах. Современный человек привык видеть в человеке то, что уже умерло, что предве-

щает труп. Не будет смелым или необоснованным предположить, что от изобретения фотографии до Дахау, до концлагерей, до массовых расстрелов всего один, отнюдь не длинный шаг. Сегодня мы видим мир и людей как черно-белое изображение: если закрыть глаза и попытаться вспомнить любой образ — мчащийся поезд, человека, лошадь, дерево, труп — мы увидим их черно-белыми, со всем мрачным и демоническим, что присутствует в черном и белом.

Я смотрел на членов Верховного Совета, сидевших рядом на сцене Большого театра, и меня охватывал ужас. Я думал, что они мертвы, что, когда они превратятся в пепел, который достанут из печи, их выбросят на помойку. Я думал о трупах в университетских холодильниках, об огромной горе трупов животных, о гнилых шкурах, сваленных во дворе фабрики клея на окраине Дорогомилова. Я глядел на Калинина и думал: "Где он окажется?" Глядел на Луначарского и думал: "Куда выбросят его остывший пепел?" Глядел на Сталина, который сидел позади остальных, выставив вперед лицо, которое пересекали большие, словно приклеенные, усы, и думал: "Где он будет спать вечным сном?" За моей спиной толпа глубоко дышала, ее горячее дыхание грело мне спину и затылок, я слышал, как по партеру то и дело пробегает шумок, и думал: "Где окажется вся эта толпа? В какой могиле, в какой урне, в какой печи?" Ведь утилизация человека, его останков, его отходов — завоевание современного человека, отныне ничто не разрушит связь между тем, каким мы видим человека, и мыслью о химическом использовании его останков, его трупа, его роговицы, его волос и ногтей, его подкожного жира, кальция из его костей, сахара и крахмала из его плоти. Впервые в истории человечества, в истории человеческой цивилизации челове-

ские трупы утилизируют с применением науки, химии; из жира, гноя, костей, волос получают таблетки, лечебные мази, лекарства. Смерть отвратительна. Она не пугает и не дарит надежды. Она вызывает отвращение, омерзение. Мы боимся трупов. Мы стыдимся трупов, словно экскрементов, которые человек оставляет после себя. Стыдимся трупов, словно целая человеческая жизнь не оставит на земле иного следа, кроме этой кучки экскрементов. Стыд, свойственное сегодняшнему миру своеобразное пуританство заставляют нас краснеть при виде трупа. Современный мир не знает, что с ним делать. Ему даже не хватает смелости почтить человеческий труп, похоронить его достойно. Современный мир стыдится смерти. Стыдится того, что ему предстоит умереть. Собственной смертности. Смерть — слишком безжалостное, окончательное, бесстыдное, решительное опровержение всех теорий человеческого счастья, человеческой изобретательности, слишком откровенное опровержение смертности души. Современный человек, революции, марксистские правительства скрывают смерть. Марксизм стыдится смерти. Человеческий труп — лишь то, что остается после сгорания, кучка пепла, кучка экскрементов. На помойку! Если Бога нет, зачем нужна смерть? Но куда же уходит корнями стыд смерти? В германский мир. В немецком духе присутствует глубокое презрение к мертвецу. Для немца мертвец — просто труп, кусок стнившего мяса. Его надо как можно скорее выбросить, быстро, спешно похоронить, спешно спрятать от людских глаз. Или, возможно, в немецком духе присутствует глубокое равнодушие к мертвому человеку, к трупу. В немецкой живописи между живым человеком и трупом нет большой разницы. Я всегда задавался вопросом, отчего Лукас Кранах изобразил Венер и Ев дряхлыми, мерзкими, морщинистыми.



ми старухами с дряблыми животами, отвислыми грудями, морщинистыми лицами, гноящимися глазами, отчего он изображал Венер похожими на трупы Венер, на еще теплые трупы. Я задавался вопросом: отчего Маттиас Грюневальд изображал людей и Христа полными червей? А Дюрер — скелеты, высохшие, мумифицированные сухим дыханием могилы. Отчего во всей немецкой средневековой живописи, как, впрочем, в голландской и во фламандской, отчего во всей европейской живописи, даже в итальянской и французской, везде, где господствовал дух готики, живой и мертвый человек настолько похожи, отчего в них ощущается не любовь ко всему, связанному со смертью, а презрение к мертвецу и к смерти? Не страх смерти. Не любовь к смерти, как у этрусков или у испанцев. Не жалость к мертвым, как у древних греков (Антигона). Не любовь к смерти, в которой у испанцев, сицилийцев, неаполитанцев, калабрийцев присутствует нечто чувственное, все чувства, которые подразумевает чувственность, в первую очередь — ревность. А подлинное презрение к смерти или равнодушие к смерти и к мертвому человеку. Не любовь ко всему, что связано со смертью, а презрение и равнодушие к трупу. Привычка пировать в присутствии трупа, привычка спать на краю поля брани. Позднее, во время войны Германии против России в 1941 году, всякий раз, когда я видел, как немецкие солдаты спят, едят, пьют или сидят и болтают рядом с жутким, уже гниющим трупом, я поражался их равнодушию, их презрению. У современного человека это вылилось в стыд смерти, словно смерть — доказательство бренности всего человеческого и самого человека, а значит, его философии, его политики, его морали, словно смерть опровергает человеческую гордость и обнажает лживость всех обещаний счастья, надежд на будущее. Словно

смерть человека ограничивает жизнь его творений: в марксистском обществе смерть предстает как опровержение и одновременно как опасность, угроза, противоречие. Главное, смерть — это зло, грех, вина. В марксистском обществе смерть воспринимается как виновность: не грешность, а собственная брэнность, а значит, неспособность создать новый, вечный мир, в котором нет Бога. Стыд смерти в марксистском обществе оборачивается презрением к живому человеку. Смерть в марксистском обществе предстает как индивидуальное, а не коллективное событие, как возврат к индивидуальному чувству. Смерть убивает индивидуумов, а не группы и не массы людей. А еще стыд смерти, столь присущий современному, особенно марксистскому миру, предстает как разоблачение, как доказательство нищеты человека (капитализм) и малости человека (коммунизм). Не как страх смерти, как в англосаксонских, американских капиталистических странах, а как стыд знания того, что мы нищие, мерзкие, нагие, стыд понимания того, что от американского богатства один короткий, легкий шаг до мерзкой и гнусной нищеты смерти. Отсюда *funeral parlours*<sup>1</sup>, службы, которые вызывают по телефону и которые спешат в дом, чтобы забрать трупы, отвезти их в *funeral parlours*, вымыть, приукрасить, нарумянить (и засунуть между губ деревяшку, чтобы приподнять верхнюю губу и показать белозубую улыбку), а когда труп шикарно наряжен, накрашен, улыбается, начинается церемония прощания, гостей угощают, в углу комнаты тихонько поет граммофон — в нескольких шагах от трупа, который, улыбаясь, покоится на ложе из атласа и цветов. Труп остается богатым и в смерти, он богат и счастлив, как мертвец. Америка, родина многих богатых и счаст-

ливых людей, мекка трупов! Ах, эти неумные и нена-  
сытные капиталисты! А в коммунистических странах  
стыдятся смерти, ведь стыдно признать, что в конце про-  
спекта Карла Маркса, проспекта Ленина, проспекта Ста-  
лина, как и проспекта Рузвельта, проспекта Уилсона, про-  
спекта Маршалла, ожидает смерть, гладкая стена, глад-  
кий бетон, стена без дверей и без окон, стена смерти.  
Стыдно признать, что коммунизм не способен повлиять  
на окончательную судьбу людей, то есть смерть, что ком-  
мунизм бессилен против крайней нищеты, крайней на-  
готы, крайнего одиночества, крайнего позора смерти.

Я глубоко чувствовал в Москве бессилие коммуниз-  
ма против смерти и одновременно стыд смерти. Прежде  
мне никогда или почти никогда не доводилось встре-  
чать на улице похоронные процессии. Церкви были за-  
крыты, за исключением церквушки Николая Чудотвор-  
ца на Никольской. Похоронных процессий не было  
видно. В советских газетах, вроде “Правды” и “Изве-  
стий”, почти никогда не сообщали о смерти: ни о том,  
что кто-то скончался, ни о похоронах. Лишь периодиче-  
ски попадались известия о смерти крупного чиновника  
или крупного революционера, написанные нейтраль-  
но, без глагола “умер”. В официальной коммунистиче-  
ской литературе слово “смерть” никогда не встречается,  
нигде не написано о смерти как о проблеме. Ленин мол-  
чит об этом. Сталин молчит. Даже Троцкий молчит. Буха-  
рин, философ Октябрьской революции, упоминает  
о смерти мимоходом, словно о чем-то, что не имеет “по-  
литического” или “общественного” значения. Я приехал  
в странную страну, в страну, где смерти нет.

В первые дни я чувствовал себя словно избавлен-  
ным от одержимости смертью, которая преследует евро-  
пейцев. Затем постепенно за страхом перед силами по-  
рядка, который в России испытывали всегда и который

связан не только с коммунизмом, я начал ощущать характерное для русских пренебрежение к смерти. А еще марксистский стыд смерти. Тайком хоронить мертвецов было проявлением стыда. Коммунистическое общество тоже производило отходы, трупы. И т.д. и т.п.

Современная смерть подвергается дезинфекции, полировке, никелировке, это *streamlined death*, *rostfritt*<sup>1</sup> смерть. Это элемент машины под названием “жизнь”. Коленчатый вал, цилиндр, свеча, клапан. Элемент динамомашин под названием “жизнь, запчасть”. Человек — это запчасть. Однако присутствие смерти, чувство смерти — самое неприятное чувство, существующее в коммунистическом обществе. В совершенном коммунистическом обществе ничто не должно напоминать о смерти. Смерть — изобретение капитализма, изобретение буржуазной философии. Коммунистическое общество должно освободиться от рабства смерти. Смерть — наследие веков буржуазного обскурантизма, традиции, философии, ложной капиталистической культуры. В театре, кино, в советском цирке ничто не напоминает о смерти. Прославление жизни — вот советское искусство. Я был европейцем, сыном западной культуры. Но я отнюдь не чувствовал себя ограниченным тем, как западный, буржуазный мир представляет советский коммунизм. Идея коммунизма как “антихриста” была мне смешна. Буржуазия видит “антихриста” во всем, что не вписывается в ее интересы, ее идеи, ее культуру. Коммунизм возвращает христианству глубокое, принципиальное, основополагающее презрение не к смерти, а к трупу, к мертвому человеку. Коммунизм заменяет свойственный западному миру страх смерти стыдом смерти. Но это не

исключительно коммунистическое свойство, это свойство современного мира. Американцы, стоящие ближе всех к коммунистической ментальности, в некотором смысле тоже стыдятся смерти. Идея, что Христос освободил нас от смерти, касается только смерти души, греха. Христос не может помочь воплотить в жизнь миф о человеке, избавить от физической смерти, даровать бессмертие. Христос усиливает в мире страх перед физической смертью, который во многих отношениях был неведом древним. Христос привносит в классический мир страх смерти. Коммунизм идет еще дальше: он привносит в христианский мир стыд смерти. В этом коммунизм представляет собой проявление современной жизни.

В какой-то момент президент СССР Калинин встал, его встретили громкими аплодисментами. Он медленно поднялся со стула, медленно подошел к микрофону, закрыл глаза и, не открывая глаз, оглянулся. Описав лицом полукруг, он заговорил. Говорил он слабым голосом, который микрофон усиливал, не меняя при этом слабый, бесцветный, почти угасший характер звука. Я подумал о трупe Калинина и о том, что с ним сделают. За несколько дней до этого я вновь ходил взглянуть на мумию Ленина. Уже в десятый раз. Перед деревянным Мавзолеем на Красной площади стояла длинная очередь из крестьян, рабочих, женщин — в основном старики, в основном те, кто приехал из далеких провинций Советской империи. Люди стояли молча — нищие, бедно одетые. На мужчинах и женщинах были рваные сапоги, у женщин на головах широкие, завязанные под подбородком платки, у мужчин — фуражки с блестящими черными кожаными козырьками, некоторые, приехавшие из азиатских провинций, с верховий Волги, щеголяли в шапках из овчины или серого каракуля или в татарских тюбетейках, расшитых зеленым и красным.

У стариков были длинные рыжеватые бороды с проседью и длинные волосы, подстриженные под горшок на старинный русский манер. Молодежь была гладко выбрита, с бритыми черепами, на лицах с мощными челюстями, широкими скулами, крепкими, выступающими лбами выделялись, словно костяные дуги, брови. Тот, кто представляет себе русских такими, какими их рисует Толстой, или Достоевский, или Гоголь, — мужиками с благородными лицами, со светлыми, полными доброты, кротости, пронизательными глазами, с лицами, прикрытыми длинными коричневыми или рыжими бородами, увидев сегодня советских мужиков, был бы удивлен и разочарован. Теперь видно, что скрывалось под русскими бородами! Лицо с крупными челюстями, крепкими костями, широкими скулами, грубое, вульгарное лицо, как у мясника. Бритая голова обнажает покрытый шишками, не круглый, а продолговатый череп, местами сглаженный, местами выступающий. Выражение этих лиц удивительно грубое и жестокое. Но эти лица каждый день прокладывают себе дорогу среди прежних лиц чиновников, интеллигенции, русских офицеров — благородных, печальных, бледных, которые день за днем отступают, смешиваются с толпой новых лиц, исчезают. В первых рядах видны уже эти советские, почти немецкие лица — немецкие лица из экспрессионистских фильмов, которые вошли в моду благодаря Ламбрехту, Штернбергу, Фрицу Лангу, Мурнау, Лазарю Сегалу и Гроссу\*. Новая раса возникает в России: марксистская. Рядом с бритыми мужиками возникает молодая раса, которой сегодня восемнадцать-двадцать лет и которой будет тридцать, когда немцы вторгнутся в Россию. Современная раса, рожденная упадком капитализма и возникновением нового марксистского общества, и она уже захватила Европу, саму Англию, Америку.

Наконец мы вошли в склеп, где захоронен Ленин. Спустились по узенькой лестнице, поделенной на два коротких пролета, и оказались перед маленькой черной дверцей, которую охраняли красноармейцы с увенчанными штыками винтовками. Меня подтолкнули к порогу, но на пороге меня остановили красноармейцы, скрестившие винтовки и загородившие проход. Оттуда, где я стоял, я мог тщательно осмотреть склеп, мумию Ленина, которая лежала в стеклянном гробу, и мужиков, которые проходили мимо нее. Склеп маленький, деревянный, скромно украшенный красными флагами. Гроб, в котором покоится Ленин, стеклянный. Он лежит на спине, правая рука вытянута вдоль бока, левая лежит на животе. Одет он в черное. Очень бледен, чуть на румянен, по белому лицу рассыпаны рыжие веснушки. Борода рыжая. На фотографиях борода кажется черной, как и усы, и брови, и немногочисленные волосы на висках. На самом деле Ленин рыжий, у него белое, веснушчатое лицо — из тех неуверенных, нежных, почти застенчивых лиц, какие бывают у рыжих. Ленин улыбается. Улыбка ироничная, как у человека, которого не обмануть. На его лице не читается высокопарная риторика. В своей книге «Дедушка Ленин» я рассказал о жизни Ленина, нарисовал портрет Ленина. Невозможно понять сокровенный смысл русской революции, не увидев Ленина живым или мертвым. Он спит сном смерти, это жалкая мумия. В Москве всем известно, что Ленина забальзамировали скверно, в спешке. Болезнь, от которой он страдал, испортила кровь, труп быстро разложился, с бальзамированием опоздали. Поэтому после того, как он пролежал несколько месяцев в хрустальном гробу, заметили, что мумия разлагается, разваливается. Она стала рыхлой и местами мягкой на ощупь, сырой, испорченной.





# МОСКВА МАЛАПАРТЕ — 1929

## ПРИМЕЧАНИЯ

### НАТАЛЬИ ГРОМОВОЙ И МИХАИЛА ОДЕССКОГО

#### СТР. ПРИМЕЧАНИЕ

- 73 *Сталин, каждый вечер любующийся из ложи Большого...* — В воспоминаниях о посещении Сталиным Большого театра говорится, что он “сидел всегда в ложе «А» — если стоять в зале лицом к сцене, слева, над оркестром, скрытый от глаз публики занавеской, и только по количеству охранников в штатском да по волнению и испуганным глазам артистов можно было догадаться, что в ложе сидит Сам” (Галина Вишневская). Любил он преимущественно не балет, а оперу, которая отвечала его представлениям о пышности, помпезности, красоте. Среди всех он выделял певиц — сопрано Наталию Шпиллер и меццо-сопрано Веру Давыдову, которые часто пели на правительственных банкетах.
- 73 *...знаменитой балерины Семеновой...* — Семенова Марина Тимофеевна (урожд. Шелпунова; 1908–2010) родилась в Санкт-Петербурге в бедной многодетной семье. Воспитывалась отчимом. Свою первую партию станцевала в балете “Волшебная флейта” в 13 лет. В 17 лет выступала в труппе Мариинского театра. Ее педагог по

хореографическому училищу Виктор Семенов вскоре стал ее первым мужем. Брак оказался недолгим.

5 сентября 1930 г. имя Марины Семеновой впервые появилось на афишах Большого театра. Тогда ей было 22 года. Она дебютировала в балете “Баядерка” в роли Никии. О ее дебюте восторженно отозвался австрийский писатель Стефан Цвейг: “Когда она ступает по сцене своим не заученным, а данным от природы твердым эластичным шагом и вдруг взлетает в диком порыве, людская повседневность прорывается бурей”. К этому времени относится и ее брак со Львом Караханом. Несмотря на то, что Карахан был арестован в мае 1937 г., Сталин через месяц — 2 июня 1937 г. — наградил Семенову орденом Трудового Красного Знамени.

73 ...сореvнующийся за ее благосклонность с Караханом... — Карахан Лев (а не Алексис, как в романе) Михайлович (1889–1937) — советский дипломат. В революционное движение вступил в 1904 г. В 1913 г. в Петербурге вошел в межрайонную организацию РСДРП. Осенью 1915 г. был арестован и выслан в Томск. По возвращении в Петроград после июльских дней 1917 г. вступил в партию большевиков. В 1917–1918 гг. — секретарь и член советской мирной делегации в Бресте. В последующие годы — на дипломатической работе: заместитель наркома иностранных дел, полпред в Китае, посол в Турции.

В 1930 г. женился на балерине Марине Семеновой, которая стала его третьей женой. В 1934 г. Сталин переводит Карахана в Турцию — полпредом СССР. В своей книге “Моя Европа” британский дипломат и журналист Роберт Гамильтон Брюс Локхарт вспоминал: “В июле 1935 г. в Лондоне советский посол И.М. Майский позвонил мне по телефону. «Один ваш старый приятель находится здесь и очень хочет вас видеть», — сказал он и передал кому-то трубку. Старым приятелем оказался Карахан. Я пригласил его на завтрак в хороший ресторан, и он спросил разрешения прийти с женой. На следующий день я опоздал всего на минуту, но, как мне сказали, мои гости уже ожидали меня. Я осторожно выглянул из-за угла в надежде узнать их. Карахана я нашел глазами сразу, а его женой оказалась не та женщина, которую я знал в Москве. Это была Марина Семенова, знаменитая балерина, которая, как говорил мне Алексей Толстой, танцевала лучше самой Анны

Павловой. В 1935–1936 гг. Семенова выступала в Парижской национальной опере — в балете «Жизель» и в концертных программах. Партнером М. Семеновой был Серж Лифарь. Карахан, советский посол в Турции, изменился мало. Его волосы слегка поседели, но выглядел он по-прежнему хорошо. Я сделал ему комплимент по этому поводу, и он с гордостью пояснил, что хорошую форму ему помогает поддерживать игра в теннис с работниками британского посольства. Восторженно относясь к теннису, Карахан все же удивил меня, сказав, что специально приехал в Лондон на Уимблдонский турнир” (Цит. по: <http://www.rulit.me/books/moya-evtora-read-225941-2.html>).

3 мая 1937 г. Карахан был вызван в Москву из Анкары под предлогом переназначения на должность посла в США, арестован при выходе из поезда. Сообщение о том, что Лев Михайлович Карахан обвинен в измене родине, появилось в советской прессе лишь 16 декабря 1937 г., а 20 сентября 1937 г. он был расстрелян. Тело его было кремировано, прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище.

73 ...невероятный Флоринский... — Флоринский Дмитрий Тимофеевич (1889–1939) родился в семье профессора Киевского университета византолога Т.Д. Флоринского (1854–1919), не поляка, как предполагает Малапарте, а сына киевского священника и русского националиста, расстрелянного в мае 1919 г. большевиками.

Слова Малапарте о том, что Флоринский состоял в партии большевиков до 1917 г., неверны: он был принят в члены ВКП(б) только в 1921 г., во время чистки 1928 г. — исключен.

В 1915 г. Флоринский был назначен секретарем консульства в Рио-де-Жанейро. С 1916 г. исполнял обязанности вице-консула в Нью-Йорке. После революции был уволен с дипломатической службы. В июле 1919 г. прибыл в белые войска Северного фронта, с 22 июля 1919 г. — адъютант начальника Архангельского гарнизона.

В 1920 г. при эвакуации белых войск остался в России и был приглашен наркомом Г.В. Чичериным в Наркомат иностранных дел. В 1920–1922 гг. был секретарем заместителя наркома М.М. Литвинова. В 1922–1934 гг. — глава протокольного отдела Народного комиссариата иностранных дел.

Флоринский разработал “с нуля” новые стандарты дипломатического протокола и этикета.

В 1934 г. прошло знаменитое “дело Флоринского”. Из доклада заместителя председателя ОГПУ Я.С. Агранова Сталину (3 июля 1934 г.): “ОГПУ при ликвидации очагов гомосексуалистов в Москве выявлен как гомосексуалист зав. протокольной частью НКВД Флоринский Д.Т. ...Вызванный нами Флоринский подтвердил свою принадлежность к гомосексуалистам и назвал свои гомосексуальные связи, которые имел до последнего времени с молодыми людьми, из них большинство вовлечено в гомосексуальные отношения впервые Флоринским... Вместе с этим Флоринский подал заявление на имя Коллегии ОГПУ, в котором он сообщил, что в 1918 г. являлся платным немецким шпионом, будучи завербованным секретарем германского посольства в Стокгольме... Мы считаем необходимым снять Флоринского с работы в НКВД и привлечь его к ответственности”.

Резолюция Сталина, 27 июля 1934 г.:

“1. Предлагаю принять предложение ОГПУ (НКВнудела).

2. Поручить тов. Кагановичу проверить весь состав служащих аппарата НКВД и доложить о результатах в ЦК”.

См. подробнее о “деле Флоринского”: Бурлешин А.В. Вскрытая повседневность: Размышления и наблюдения по поводу книги Дана Хили // Новое литературное обозрение. 2010. № 12. В статье специально указывается, что о “деле Флоринского” своевременно узнали на Западе благодаря книге В. Сержа (*Serge V. Destin d'une révolution. URSS. 1917–1936. Paris, Grasset, 1937. P. 216–217*). В 1937 г. Флоринский числится заключенным Соловецкой тюрьмы особого назначения, а 25 ноября 1937 г. был там приговорен особой тройкой к высшей мере наказания. Был включен в список второго соловецкого лимита на расстрел, однако приговор не был исполнен, а сам заключенный был этапирован в Москву. По воспоминаниям А.С. Темкина, который в 1938 г. сидел с ним и старым большевиком О.А. Пятницким в одной камере в Лефортовской тюрьме, Флоринского считали “наседкой” и при нем старались не разговаривать. 20 февраля 1939 г. по повторному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР он был расстрелян за “шпионаж”.

Младший брат Флоринского Михаил Тимофеевич эмигрировал в США, закончил Колумбийский университет, стал профессором

и одним из основателей американской русистики. Племянник Флоринского (сын сестры) Игорь Витальевич Савицкий, художник и этнограф, основал Музей искусств в Нукусе, столице Каракалпакии; его называли “среднеазиатским Третьяковым”.

- 74 ...мадам Каменева... — Каменева Ольга Давидовна (урожд. Бронштейн; 1881–1941) — жена Л.Б. Каменева и сестра Л.Д. Троцкого. Она рано включилась в революционную деятельность и уже в 1905 г. стала членом РСДРП. В 1915–1917 гг. вместе с мужем (Л.Б. Каменевым) находилась в сибирской ссылке. После Октябрьской революции Ольга Давидовна занимала ряд руководящих должностей в государственных и общественных организациях, занимавшихся культурно-просветительской деятельностью. В 1925–1929 гг. она возглавляла Всесоюзное общество культурных связей с зарубежными странами (ВОКС).

В 1927 г. Ольга Давидовна публично осудила идейные позиции как мужа, так и брата. В “Технике государственного переворота” Малапарте упомянул, что во время разговора с Каменевой она “обоснованно подтвердила сталинскую версию” борьбы с Троцким (Малапарте К. Техника государственного переворота / пер. с итал. Н. Кулиш. М., 1998. С. 92). Несмотря на отречение, в 1935 г. она была арестована и 11 сентября 1941 г. расстреляна в Медведовском лесу в 10 км от города Орла вместе с Христианом Раковским, Марией Спиридоновой и другими 157 заключенными, находившимися в Орловской тюрьме. (Известия ЦК КПСС. 1990. № 11. С. 124–131.) От брака с Львом Борисовичем Каменевым Ольга Давидовна имела двух сыновей — Александра и Юрия. Александр Львович (род. 1907) расстрелян в 1937 г. Юрий Львович (род. 1921) расстрелян 30 января 1938 г.

Каменев Лев Борисович (Розенфельд; 1883–1936) — советский партийный, государственный деятель. Член РСДРП с 1901 г., большевик. С 1914 г. возглавлял Русское бюро ЦК, руководил редакцией “Правды” и большевистской фракцией 4-й Государственной думы. В 1914 г. арестован, в 1915 г. выслан в Сибирь. После Февральской революции 1917 г. член исполкома Петросовета, член ЦК РСДРП(б). В конце октября — начале ноября 1917 г. председатель ВЦИК. В 1919–1926 гг. член Политбюро. С 1922 г. входил в “триумvirат” —

правляющую партийную "тройку" (вместе с Г.Е. Зиновьевым и И.В. Сталиным). В 1922–1924 гг. председатель Моссовета, в 1922–1926 гг. зампред СНК и СТО РСФСР, СССР. С 1925 г. один из лидеров "ленинградской", затем объединенной левой оппозиции в ВКП(б). В 1927 г. выведен из ЦК и исключен из партии; после подачи заявления об отходе от оппозиции восстановлен (1928). В конце 1920-х — начале 1930-х гг. нарком торговли, полпред СССР в Италии, председатель Главконцесскома. В 1933–1934 гг. зав. издательством "Academia", глава Института мировой литературы. Начиная с 1934 г. трижды осуждался по сфабрикованным НКВД делам. В 1936 г. выставлен обвиняемым на процессе т.н. антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра, приговорен к смерти и расстрелян.

- 75 ...юной Марики. — О Марике Чимишкиан см. в статье Н. Громовой "История Марики Ч." в настоящем издании.
- 78 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — советский государственный и партийный деятель, писатель, литературный критик. Родился в Полтаве (новый муж его матери усыновил его и воспитывал как своего сына). Учился в Первой киевской гимназии (его одноклассником был философ Николай Бердяев), потом в университете в Цюрихе. Социал-демократ с 1895 г., входил в Московский комитет РСДРП. После II съезда партии большевик. С 1906 г. в эмиграции. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. В 1917–1929 г. нарком просвещения. В портретах современников выступает как прагматичный представитель старой ленинской гвардии большевиков. Был необходим новой власти именно для связи со старой профессурой и интеллигенцией. "Луначарский откинулся назад, сверкнул пенсне, внимательно осмотрел нас (мне показалось — пересчитал), молча пожевал губами, а потом сказал речь. Он говорил очень гладко, округленно, довольно большими периодами, чрезвычайно приятным голосом. По его писаниям я знал, что он не умен, самовлюблен и склонен к вычурам. Против ожидания, он говорил совсем просто. Любование собой сказалось только в чрезвычайной пространности его речи, а ее плавности мешало непрерывное подрыгивание ног.

...Все, однако, сводилось к тому, что, конечно, стоны писателей дошли до его чуткого слуха; это весьма прискорбно, но, к сожалению, никакой «весны» он, Луначарский, нам возвестить не может, потому что дело идет не к «весне», а совсем напротив. Одним словом, рабоче-крестьянская власть (это выражение заметно ласкало слух оратора, и он его произнес многократно, с победоносным каждый раз взором) — рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую” (Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Цит. по: [http://dugward.ru/library/hodasevich/hodasevich\\_beliy\\_korid.html](http://dugward.ru/library/hodasevich/hodasevich_beliy_korid.html)).

...Луначарский был незаменим в сношениях со старыми университетскими и вообще педагогическими крутами, которые убежденно ждали от «невежественных узурпаторов» полной ликвидации наук и искусств. Луначарский с увлечением и без труда показал этому замкнутому миру, что большевики не только уважают культуру, но и не чужды знакомства с ней. Не одному жрецу кафедры пришлось в те дни, широко разинув рот, глядеть на этого вандала, который читал на полдюжине новых языков и на двух древних и мимоходом, неожиданно обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что ее без труда хватило бы на добрый десяток профессоров” (Троцкий Л. Портреты революционеров / ред.-сост Ю.Г. Фельштинский. М, 1991. С. 193–194.)

С 1929 г. — председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. В 1933 г. назначен полпредом СССР в Испании. Умер от стенокардии. Автор трудов по истории революции, философии, проблемам культуры, литературно-критических работ, пьес.

- 80 “*Ich küsse Ihre Hand, Madame*” (“Целую Вашу руку, мадам”; нем.) — фильм австрийского режиссера Роберта Ланда (1929). Премьера фильма “Целую Вашу руку, мадам” состоялась 17 января 1929 г. в Берлине. Среди исполнителей — Марлен Дитрих. Это один из последних немых фильмов, и в нем уже использовались короткие звуковые дорожки с музыкальной темой фильма: танго “Я целую ваши руки, мадам” (музыка Ральфа Эрвина, текст Фрица Роттера). Пикантно, что фильм посвящен парижской жизни русских эмигрантов.

- 80 ...на балах в английском посольстве... — Посольство Великобритании находилось на Софийской набережной в усадьбе “сахарного

короля" П.И. Харитоненко, где он хранил свою коллекцию живописи. Главный дом усадьбы был построен в 1891–1893 гг. по проекту В.Г. Залесского; интерьеры — Ф.О. Шехтеля. После 1917 г. дом отошел Наркомату иностранных дел.

Вначале в этом доме находился Датский красный крест, затем здесь жили видные иностранные гости (Арманд Хаммер, Герберт Уэллс). С 1929 г. в особняке размещались посольство Великобритании и резиденция посла Великобритании.

Из воспоминаний латвийского посланника Карлиса Озолса о жизни дипломатического корпуса: "Нигде так дружно, как в Москве, не жил дипломатический корпус в период 1923–1929 годов. Это не только мое мнение. Думаю, под этими словами подпишутся и все мои коллеги, а тогда нас было в Москве больше 170 человек, пользовавшихся дипломатической неприкосновенностью. Эта большая семья, особенно в лице ее высших представителей, жила своей особой жизнью, отгороженная от остальной России. Отгороженность и стала нашей общей сплоченностью, а изолированность, наша обособленность вызывалась российскими условиями тех лет.

Все посольства и миссии занимали лучшие особняки изгнанных московских богачей. Большинство этих домов было окружено садами и заборами, и заборы символизировали собой крепкую ограду, за которой спокойно могли жить и работать дипломатические представители. Кроме того, в особняках находили приют и некоторые прежние владельцы. Например, в норвежском посольстве, в его побочных помещениях, проживали оставшиеся в Москве Морозовы. Особняки советское правительство сдавало внаем посольствам, получало деньги и, конечно, ничего не платило прежним владельцам. Иногда посольства, в той или иной форме, хотели отплатить бывшим собственникам, чаще всего продуктами питания. Мы понимали трагическое положение этих несчастных людей и, как могли, шли им навстречу. <...>

Часто устраивались большие вечера, званые обеды, концерты, что тоже помогало нашему сближению. Это было не только развлечением, но и необходимостью. На подобных приемах иностранные представители легче всего могли встречаться с руководителями и чинами НКВД и других советских учреждений. Те охотно откликались на наши приглашения.



подавались лучшие французские вина, шампанское, деликатесы, национальные блюда. Прельщали не только щи с кашей, но и русская черная икра, балыки, осетрина. Как еще недавно жила богатая Москва, так теперь жили в посольствах.

Но в особняке Терещенко, где обитали Литвинов и Карахан, жизнь была безбедной и даже роскошной. Под тяжестью дореволюционных яств ломились столы, на больших приемах медведи изо льда держали в лапах громадные блюда с икрой и, казалось, глядели на нее, облизываясь. Так на этих приемах символизировалась ширь СССР, и медведь Ледовитого океана подавал продукты Каспийского моря, знаменуя таким образом объединение севера с югом" (*Озол К. Мемуары посланника*. Цит. по: <https://e-libra.ru/read/372071-memuary-poslannika.html>).

- 80 ...мадам Луначарская, супруга народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского. — Луначарская-Розенель Наталья Александровна (урожд. Сац; 1900–1962) — сводная сестра Игоря Саца, литературного секретаря А.В. Луначарского; в первом браке — Розенель; с 1922-го — жена Луначарского. Училась в Киевской Театральной академии. Играла на сцене Малого театра (1923–1939), в театре Корша, Театре им. МГСПС, ленинградском театре "Комедия". В 1920-е гг. снималась в немом кино. Во многих театрах ставились переведенные ею пьесы французских и немецких драматургов. Оставила мемуарную книгу о Луначарском и его окружении "Память сердца" (М., 1962).

Любовь Н.А. Розенель к роскоши стала предметом эпиграмм и насмешек. В 1927 г. была поставлена пьеса А.В. Луначарского "Бархат и лохмотья", в которой она играла; Демьян Бедный реагировал эпиграммой (цит. по: *Ефимов В.В. А.В. Луначарский и литературное движение: Хроника*. Душанбе, 1991. С. 244а):

Цена в искусстве рублики,  
Нарком наш видит цель:  
Дарить лохмотья публике,  
А бархат — Розенель.

Об этом же писал в своем дневнике главный редактор "Нового мира" Вяч. Полонский (запись от 31 мая 1931 г.): "<...> Луначар-

ский, постаревший, обрюзгший, побритый — от чего постарел еще больше, — сидел впереди, согнувшийся, усталый, как мешок. Рядом раскрашенная, разряженная, с огромным белым воротником а-ля Мария Стюарт — Розенель. Одета в пух и прах, в какую-то парчу. Плышет надменно, поставит несколько набок голову, с неподвижным взглядом, как царица в изображении горничной. Демьян сказал, глядя на них: «Беда, если старик свяжется с такой вот молодой. Десять-двадцать лет жизни сократит. Я уж знаю это дело, так что держусь своей старухи и не лезу», — и он кивнул в сторону своей жены, пухлой, с покрашенными в черное волосами. Та довольна. Но Демьян врет. Насчет баб тот тоже маху не дает. Но ненависть его к Розенель так и прет. Он написал как-то на нее довольно гнусное четверостишие: смысл сводился к тому, что эту «розанель», т. е. горшочек с цветком, порядочные люди выбрасывают за окно. Луначарский некоторое время на него дулся, даже не здоровался, но на днях приветливо и даже заискивающе с ним беседовал вместе с женой” (*Полонский Вяч. Моя борьба на литературном фронте: Дневник. Май 1920 — январь 1932. Цит. по: <http://lunacharsky.newgod.su/bio/vyacheslav-polonskij-o-lunacharskom/>*).

7 марта 1928 г. “Правда” опубликовала статью влиятельного политика и публициста Е.М. Ярославского “Покрепче на аванпостах”, где, не называя имен, критиковалась публикация фотографии “одного из наших ответственных товарищей... в богатых костюмах, в украшениях”; уже 8 марта Луначарский отправил Ярославскому письмо (копии — Сталину, Бухарину и др.), в котором определил статью как “чрезвычайно несправедливую и вредную”: “Почему идет нечто вроде травли моей жены? За то, что она артистка? Вы в телефонном разговоре с ней даже сказали: «Оставьте сцену...» <...> Ее туалеты? Во-первых, все здесь безобразно преувеличено. Никаких драгоценностей у нас с женой нет и быть не может. В жизни она одевается скромно. <...> Всякий человек, побывавший в современных магазинах, знает, что теперь все, вплоть до хорошо оплачиваемых работниц за границей, носят искусственные жемчуга и другие безделушки” (*Советское руководство: Переписка: 1928–1941 гг. / сост. А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, О.В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 1999. С. 24*).

- 83 ...кавалеристы Пролетарской дивизии... — Московская пролетарская стрелковая дивизия была сформирована 26 декабря 1926 г.; комплектовалась главным образом из московской рабочей молодежи; постоянно участвовала в парадах войск на Красной площади в 1927–1941 гг. Явно была создана на случай обострения борьбы с Л.Д. Троцким: ее возглавил Георгий Дмитриевич Михайловский (1892–1932), который во время Гражданской войны тесно сотрудничал со Сталиным (оборона Царицына и т.д.), совмещив должности командира дивизии и военного комиссара. За боевые заслуги личного состава в Великой Отечественной войне стала гвардейской.
- 84 ...сэр Оуэн Стэнли... — В романе Малапарте по-разному передает имя этого персонажа: *Owen Stanley, Sir Stanley Owen, Edmond Ovey, Esmond Ovey*. (В частности, Стэнли Овен (*Stanley Owen*, виконт Бакмастер; 1861–1934) — английский политик.)  
В романе во всех случаях речь идет об Эсмонде Овее (*Esmond Ovey*; 1879–1963), английском дипломате. В 1925–1929 гг. — посланник Великобритании в Мексике. В 1929–1933 гг. — посол в СССР. На годы его работы в СССР пришелся голод 1932–1933 гг. В сообщении в Форин-офис от 5 марта 1933 г. Эсмонд Овей писал: “Кубань... как мне сообщают... напоминает военный лагерь в пустыне — ни работы, ни зерна, ни скота, ни одной тягловой лошади, только праздные крестьяне и солдаты... схожая ситуация наблюдается на Украине”. После СССР работал послом в Бельгии в 1934–1937 гг., Аргентине, Парагвае.  
Был женат дважды: первая жена Бланш Эмори скончалась в 1924 г.; второй раз он женился только в 1930 г. на француженке Мари Арманд (урожд. Винья), которая перед тем жила в Мексике.
- 87 ...лучше какого-нибудь Ильи Эренбурга... — Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — советский писатель, эффективно выполнял роль посредника в культурных контактах СССР и Западной Европы; сотрудничал с журналом “900. Cahiers d’Italie et d’Europe” (1926–1929), соредактором которого был Малапарте; в 1956 г. Малапарте опубликовал рецензию на знаменитую “Оттепель” и роман В.П. Некрасова “В родном городе”, акцентировав их значение для десталинизации.

- 88 Таиров Александр Яковлевич (Корнблит; 1885–1950) — российский режиссер, создатель и художественный руководитель знаменитого Камерного театра (1914–1949). Незадолго до смерти уволен в рамках борьбы с космополитизмом; по воспоминаниям его жены актрисы А.Г. Коонен, стремился “встречаться” с “некоторыми видными деятелями нашего государства”: М.И. Калинин, К.Е. Ворошиловым, М.М. Литвиновым и др. (Коонен А. Страницы жизни. М., 1975. С. 327–329); в диссертации Карлы Марии Джакоббе (*“Kurt Erich Suckert e la Russia: Nuove prospettive di studi malapartiani”* (2018)) приводится документ, свидетельствующий о причастности Малапарте к итальянским гастролем Камерного театра в Италии (1930).
- 88 Мадам Егорова, жена маршала Егорова... — Цешковская Галина Антоновна (1896–1938) — актриса кино, пианистка, жена А.И. Егорова. Играла в фильмах “Зори Парижа” и “Соловей-соловушка”. Считалась знаменитой московской красавицей. Написала из ревности на Егорова донос в НКВД о готовящемся военном заговоре. Ее арестовали раньше мужа — в январе 1938 г. Г.А. Егорова сообщила в своих показаниях, несомненно, по подсказке следователя: “...Разновременно я рассказывала Лукасевичу (послу Польши в СССР. — Науч. ред.) о существовавших группировках в рядах армии, враждебных настроениях среди отдельных лиц, рассказывала о недовольствах, проявляемых Тухачевским, Уборевичем, Якиром по отношению к Ворошилову, об их стремлении стать на место Ворошилова, на то, как каждый из них считал, он имеет основание: больше опыта, больше знаний. Рассказывала Лукасевичу, что существует вторая группировка Егорова — Буденного, которая стоит в оппозиции к Тухачевскому...” Далее Г.А. Егорова дает характеристику М.Н. Тухачевскому: “Тухачевский — аристократ голубой крови, всегда весел, всегда в кругу дам, он объединял военную группу, шел, не стигаясь, прямо к цели, не скрывая своей неприязни к руководству. Вся эта публика непризнанных талантов тянулась кверху, не разбирая путей и средств, все было пущено в ход — и лесть, и двуличие, и ничем не прикрытое подхалимство, но их честолюбивые замашки кем-то были распознаны, их не пускали, сдерживали, отбрасывали назад, они негодовали, и вот эта-то озлобленность просачивалась

здесь в салонах, в кругу своих. Все это было видно невооруженным глазом...”

В апреле 1938 г. Г.А. Егоров дает мужу характеристику, еще более убийственную, нежели Тухачевскому и его окружению: “...Двуличие, двойственная жизнь, которую вели Егоров и лица, наиболее близкие к нему. Внешне они показывали себя как командиры Красной армии, защитники революции, на деле же они были махровые белогвардейцы. Они шли с Красной армией до поры до времени, но душа их была по ту сторону окопов, в стане врагов. ...Я спрашивала Александра Ильича, почему он при всей его показной близости к Сталину и пребывании в коммунистической партии ведет себя как антисоветский человек. Егоров сказал тогда, что он и его друзья остаются офицерами, значит, людьми, которые с советской властью примириться не могут... Егоров поощрял мои постоянные выезды на банкеты, где присутствовали иностранные послы, он знал о моих дружеских отношениях с Лукашевичем, которому я рассказывала на его вопросы об антисоветских взглядах Егорова, что эти взгляды разделяются также Бубновым и Буденным...”

Будучи арестован, маршал Егоров дал показания против жены. Именно они фигурировали в качестве основного аргумента на заседании Военной коллегии 28 августа 1938 г., приговорившей Г.А. Егорову к расстрелу. Сама же она на суде виновной себя не признала, заявив, что от своих показаний, данных на предварительном следствии, решительно отказывается. А наличие в деле этих показаний объяснила тем, что она, ошеломленная своим арестом и арестом мужа, совсем потеряла голову и на допросах стала клеветать на себя и на других. На вопрос, почему ее муж дал уличающие ее показания, она ответить не смогла, заявив только, что Егоров говорит неправду. Галина Антоновна Егорова в 1956 г. была посмертно реабилитирована по всем пунктам предъявленного ей обвинения (по материалам книги Ларисы Васильевой “Кремлевские жены”).

*Егоров Александр Ильич (1883–1939) — советский военачальник, в 1927–1931 гг. командовал Белорусским военным округом. В 1931 г. станет начальником штаба РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), с 1935 г. эта должность будет называться “на-*

чальник Генерального штаба РККА". В 1935 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1939 г. расстрелян.

- 90 Эрбетт Жан — посол Франции в СССР в 1924–1931 гг. Из воспоминаний Карлиса Озолса: "С большим интересом и нетерпением Москва ждала Жана Эрбетта. За ним шла слава лучшего французского журналиста, он был главным редактором газеты *«Le Temps»*, фотографии Эрбетта и его супруги, снятые по дороге в Москву и в самой Москве, заполняли все советские газеты и журналы. Им, естественно, хотелось выдвинуть «своего» человека, журналиста, тем более в Москве уже распространилось мнение о нем как о друге большевиков. Пролетел даже вздорный слух, будто Эрбетт не особенно почтительно выразился о московском дипломатическом корпусе, о его понимании советской России.

Он внимательно и подробно ознакомился с жизнью Москвы, ему охотно показывали всё. В его личности объединились журналист и посол. Этим он отличался от всех нас, и большевики им восхищались. Но, как говорится в русской басне, «кот Васька слушает да ест», и Эрбетт ко всему присматривался, всё слушал, кивал, любезно соглашался, но думал свое. Через каких-нибудь полгода он уже прекрасно все понимал, отлично разбирался во всех советских вопросах. Большевики, как полагается, к нему охладели. Первая любовь прошла.

Понемногу Эрбетт всё ближе и ближе подбирался к дипломатическому корпусу, и небольшое французское посольство ничем особенно не отличалось от остальных. Больших приемов он с супругой не устраивал, но у них часто бывали обеды и завтраки. Я и моя жена были их постоянными гостями, бывать у них нам было всегда интересно. Эрбетт не играл в карты, считая более полезным проводить время в разговорах о политике в СССР, о международных событиях, обо всем, что его интересовало не только как дипломата, но и как бывшего журналиста. Многие другие тоже не играли, в том числе и я. К карточной игре мы относились отрицательно. Впрочем, если нет тем для серьезных разговоров, лучше играть, чем просто болтать. В Москве, впрочем, вопросов первой важности было более, чем нужно <...>.

Мадам Эрбетт прекрасно одевалась и, как настоящая француженка, отлично понимала кулинарию. Любила танцевать, а на прие-

ме афганского короля Амануллы, который устроило советское правительство, сделала такой реверанс перед королевской четой, что мы все склонились в безмолвном восторге.

Посол Эрбетт обладал исключительной работоспособностью. Быстро изучил русский язык и даже мог на нем изъясняться. Его помощникам и служащим приходилось всегда быть начеку, в высшей степени исполнительными и точными, Эрбетт был требовательным начальником. И сам Эрбетт, и его супруга любили старинные вещи, были знатоками старины, занимались коллекционированием.

Им удалось купить редкие экземпляры исторических манифестов и грамот русских царей, коллекции вещей из уральского малахита и многое другое. Но странно, первый журналист Франции, Эрбетт недолюбливал журналистов и, разумеется, вызывал этим у них большую неприязнь". (Цит. по: <https://e-libra.ru/read/372071-memuary-poslannika.html>.)

90 ...в огромном зале дворца на Спиридоновке... — Дворец на Спиридоновке — бывшая усадьба семьи Морозовых. Построена по проекту Ф.О. Шехтеля и считается шедевром московского модерна. В 1929 г. здание было передано Наркомату иностранных дел и на протяжении девяти лет служило жилым домом для народного комиссара М.М. Литвинова.

90 *Литвинов* Максим Максимович (Валлах Макс; 1876–1951) — советский партийный и государственный деятель, дипломат. В социал-демократическом движении с конца 1890-х гг. С 1900 г. — член Киевского комитета РСДРП. С 1907 г. — в эмиграции; представлял большевиков в Международном социалистическом бюро II Интернационала. В 1918 г. назначен дипломатическим представителем в Великобритании, но был арестован английскими властями (освобожден в обмен на Б. Локхарта). В 1918–1921 гг. — член коллегии Наркоминдела. В 1921 г. советский полпред и торгпред в Эстонии, затем заместитель наркома иностранных дел, член коллегии Наркомата РКИ. В момент визита Малапарте наркомом по иностранным делам СССР формально оставался Георгий Васильевич Чичерин (1872–1936), но осенью 1928 г. он уехал в Германию, ссылаясь на необходимость лечиться. По сведениям

ям немецкого посла Г. фон Дирксена, “согласно достоверным слухам, Чичерин хотел остаться в Германии навсегда, хотя Кремль всё настойчивей требовал его возвращения”; в Германию был отправлен Л.М. Карахан с заданием вернуть наркома, в январе 1930 г. Чичерин был снова в СССР и в июле 1930 г. ушел с поста, опять же по болезни. Чичерина сменил Литвинов, заместитель наркома, у которого с начальником были весьма натянутые отношения. В беседе с иностранными корреспондентами новый нарком подчеркивал, что последние два года фактически руководил наркоматом (“Известия”, 26 июля 1930 г.). (См.: *О’Коннор Т.Э. Георгий Чичерин и советская внешняя политика 1918–1930. Пер. с англ. М., 1991. С. 224–224.*)

В 1930–1939 гг. Литвинов — нарком, одновременно в 1934–1938 гг. представитель СССР в Лиге Наций. В 1934–1940 гг. — член ЦК ВКП(б). Член ЦИК, затем депутат Верховного Совета СССР. С 1941 г. — снова заместитель наркома иностранных дел, одновременно посол в США (1941–1943) и посланник на Кубе (с 1942 г.). В 1946 г. освобожден от работы в НКВД.

Из воспоминаний латышского посланника Карлиса Озолса: “Вслед за Чичериным шел советский дипломат Литвинов. Личность достаточно известная. Удивительно, что при частых поездках за границу он еще не обвинен в связях с иностранными шпионами и не сидит на скамье подсудимых. Литвинов более податливый, умеет лучше и хитрее подходить к вопросам и лицам, предпочитает угождать, чем рисковать или, боже упаси, решиться на собственные желания или планы. Например, еще в декабре 1928 г. свою политическую речь об иностранной политике он закончил словами Интернационала, конечно, в угоду слушателям, но никак не в пользу иностранной советской политики: «Это будет последний и решительный бой».

Литвинов — делец, карьерист, бухгалтер, отсчитывающий на счетах, весовщик, вымеривающий и осторожно ставящий каждую гирию на чашу весов, косящий по сторонам бегающим взглядом. Он более всего похож на коммерсанта, фабриканта и менее всего на дипломата. Любит поесть, как замоскворецкий купец, сытно, плотно, тяжело. Помню комический случай, как во время визита представителя американской АРА мистера Уолтера Брауна в Ригу



прибыл и Литвинов для переговоров с ним. В ресторане «Отто Шварц», где я обычно обедал, лакей потихоньку показал мне и другим на Литвинова и рассказал, как советский комиссар, съев порцию жаркого, потребовал вторую. Правда, тогда это можно было объяснить общим голодом в Москве.

Но, как ни толкуй, выгораживая Литвинова, бесспорно одно: возглавлять громадное учреждение НКВД, где чуть не все высшие должностные лица оказываются шпионами, чести Литвинову не делает. Если знал, что его ведомство переполнено предателями, как же он их терпел? Если не знал, значит, слепец и не имеет права оставаться на столь ответственном посту руководителя иностранной политики. Одно из двух. Средины нет.

Тем не менее Литвинов человек со всеми человеческими слабостями и семьей. У него двое детей, сын и дочь, жена англичанка по рождению, воспитанию и многолетней жизни в Лондоне. Он их любит, но, когда уезжает по служебным делам за границу, семья остается в Москве. Жену никуда не выпускают из СССР.

Все остальные советские дипломаты, которых я знал, уже умерли или расстреляны, остались те, которых можно назвать кандидатами на посты этих людей, а возможно, и на их судьбу". (Цит. по: <https://e-libra.ru/read/372071-memuary-poslannika.html>.)

- 92 *Бородин Михаил Маркович* (Грузенберг; 1884–1951) — советский государственный и военный деятель, агент Коминтерна, в 1923–1927 гг. — политический советник при руководстве Гоминьдана в Китае. После разрыва партии Гоминьдан с китайскими коммунистами отозван. Умер в Лефортовской тюрьме.
- 94 *Троцкий Лев Давидович* (Бронштейн; 1879–1940) — деятель российского и международного революционного движения. Социал-демократ с конца 1890-х гг. На II съезде РСДРП примкнул к меньшевикам; с 1904 г. занимал внефракционную позицию, выступал за объединение партии. Во время революции 1905 г. — один из руководителей Петербургского Совета рабочих депутатов. Разработал теорию “перманентной революции”. После Февральской революции 1917 г., вернувшись из эмиграции в Россию, стал членом ЦК партии большевиков, с сентября — председатель Петросовета. Один из главных организаторов Октябрьской

революции. В первом советском правительстве — нарком по иностранным делам. В 1918–1925 гг. — нарком по военным и морским делам (одновременно в 1920–1921 гг. — нарком путей сообщения), организатор Красной армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член ИККИ. В 1919–1926 гг. — член Политбюро ЦК ВКП(б). С 1925 г. — член Президиума ВСНХ СССР, председатель Главконцесскома. Член ВЦИК и ЦИК СССР. С 1923 г. — лидер левой оппозиции. В 1927 г. снят со всех постов, исключен из партии, отправлен в ссылку; в 1929 г. выслан за границу. Вдохновитель создания (1938) и идеолог IV Интернационала. Убит агентом НКВД Рамоном Меркадером в Мексике.

- 94 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — один из руководителей советского государства и коммунистической партии. В 1924–1929 гг. — член Политбюро, в 1917–1929 гг. (с перерывами) — главный редактор газеты “Правда”. В 1920-х гг. считался авторитетнейшим официальным теоретиком марксизма — по определению Малапарте, “философ Октябрьской революции”. В 1937 г. арестован, расстрелян.

- 97 ...тренер со Спиридоновки, знаменитый Ульянов... — Ульянов Борис Алексеевич (1891–1951) — спортсмен, журналист, юрист, математик. Один из инициаторов создания Московской лаун-теннисной лиги (1913), секретарь комиссии по лаун-теннису Московского клуба льжников (1912–1913), председатель отдела по лаун-теннису московского спортивного клуба “Унион” (1914–1916). В 1920-х гг. — один из сильнейших теннисистов Москвы и страны: финалист чемпионатов Москвы (1923, 1925) в одиночном разряде. В составе команды Москвы победитель Всесоюзной спартакиады — 1928 и командного первенства РСФСР (1927–1928).

Корней Чуковский записывает в дневнике 10 октября 1930 г., фиксируя впечатления от курортной Гаспри: “Играют в карты, юноши с девами уходят на башню, где кровать и тишина и луна, — и есть два гомосексуалиста, — и одна красавица, — и чемпион тенниса — и один спортсмен, и две старухи, и два десятка плюгавых безличностей, — как везде, как во всяком курорте” (Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М., 2006. Т. 12. С. 418; фрагмент изъят при публикации: Чуковский К. Дневник 1901–1969. М., 2003. Т. 2. С. 20).

- 97 Стрэнг Уильям (1893–1978) — британский дипломат. В 1930–1933 гг. советник посольства Великобритании в СССР, с 1933 г. — в Министерстве иностранных дел Великобритании. В 1939–1943 гг. — помощник заместителя министра иностранных дел по Европе.
- 100 Пате́к Станислав Ян (1866–1944) — до революции 1917 г. российский адвокат, выступал в качестве защитника представителей рабочего и революционного движения, членов боевой организации Польской социалистической партии. В независимой Польше — видный политический деятель. В 1919–1920 гг. — министр иностранных дел Польши, в 1926–1932 гг. — посол в СССР, вел переговоры о заключении пакта о ненападении. В 1933–1935 гг. — посол в США. Был вынужден вернуться на родину в связи с ухудшением здоровья. 1936–1939 гг. — член Сената, назначенный президентом Польши. После немецкого вторжения в Польшу был одним из защитников польских евреев. Погиб в конце августа 1944 г. во время бомбардировки города в ходе Варшавского восстания.
- 102 ...мадам Бубнова, директор Торгсина... — Бубнова Ольга Николаевна (1897–1938) происходила “из образованной, хлебосольной московской семьи”. Бубнова О.Н. была научным сотрудником-искусствоведом Государственного исторического музея и организации “Всекохудожник” — Всероссийского кооперативного объединения “Художник” (организовано в 1928 г. как промышленное кооперативное товарищество). “Всекохудожник” объединяло художников различных направлений, а также тех, кто сохранял и развивал народные промыслы. “Экономическая схема, лежащая в основе деятельности «Всекохудожника», отличалась простотой: искусство авторское, «высокое» содержится за счет искусства «широкого потребления». Иначе говоря, нерентабельная работа станковых живописцев оплачивалась из денег, заработанных продажей шалей, керамики или игрушек” (Янковская Г.А. “Всекохудожник” в тисках советской экономики // Культурологические записки. Выпуск 14: Художник между властью и рынком. М., 2013. С. 148). То есть товарищество имело некоторую финансовую самостоятельность, и его продукция, в частности, распространялась через Торгсин. Возможно, с этим связано представление Малапар-

те, что Бубнова возглавляла Торгсин. Бубнова вместе с мужем была арестована 17 октября 1937 г. 8 января 1938 г. приговорена к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Ее имя в одном ряду с именем Г.А. Егоровой фигурирует в деле О.С. Буденной.

- 102 *Торгсин* (торговля с иностранцами) — советская организация (создана в 1931 г.), занимавшаяся обслуживанием иностранцев, а также граждан, имеющих валюту или ее эквивалент (драгоценные металлы, камни, антиквариат и т.п.), которые они могли обменять на пищевые продукты или другие потребительские товары.
- 104 ...*конец Дольфуса, Шушница и аншлюс...* — Малапарте имеет в виду последние годы независимости Австрии перед аншлюсом — присоединением к гитлеровской Германии (1938); *Дольфус* Энгельберт (1892–1934) — австрийский канцлер в 1932–1934 гг., убит во время фашистского путча; *Шушниц* Курт фон (1897–1977) в должности министра юстиции подавил фашистский путч 1934 г., австрийский канцлер в 1934–1938 гг., после аншлюса арестован.
- 105 ...*супруга маршала Буденного.* — Образ, создаваемый Малапарте, напоминает первую жену Буденного, Надежду Ивановну — казачку из соседней станицы, которая служила с ним во время Гражданской войны, но она погибла в 1925 г. в результате неосторожного обращения с оружием.  
Вторая жена — Ольга Стефановна Михайлова-Буденная (1905–1956) — была совсем другой. Она родилась в Днепропетровске в семье железнодорожного служащего. Окончила Рахманиновский музыкальный техникум по классу фортепиано. 19 января 1927 г. зарегистрировала брак с Буденным, который был инспектором кавалерии РККА. В 1928 г. поступила в Московскую консерваторию, в 1934 г. приглашена в Большой театр. Арестована 19 августа 1937 г. В августе 1938 г. было вынесено постановление о прекращении дела и освобождении Михайловой из-под стражи “за отсутствием данных для предания ее суду”. Заключение следователя доложили Л.П. Берии. Решение было принято не в пользу Михайловой: 17 ноября 1939 г. Особым совещанием при НКВД СССР осуждена на 8 лет. Отбывала во Владимирском центральном

В 1945 г. ей как СОЭ добавили еще 3 года. В апреле 1948 г. Михайлова этапирована в Енисейск для отбытия ссылки. Работала уборщицей в школе № 45. Отбыв ссылку, вернулась в Москву.

Писательница Лариса Васильева в книге «Кремлевские жены» (М., Вагриус, 1992) приводит некоторые документы, касающиеся двух женщин — Ольги Стефановны Михайловой-Буденной и Галины Антоновны Егоровой. В заявлении С.М. Буденного в Главную военную прокуратуру (июль 1955 г.) с просьбой о реабилитации его бывшей жены говорилось: «В первые месяцы 1937 г. (точной даты не помню) И.В. Сталин в разговоре со мной сказал, что, как ему известно из информации Ежова, моя жена Буденная-Михайлова Ольга Стефановна неприлично ведет себя и тем самым компрометирует меня, и что нам, подчеркнул он, это ни с какой стороны не выгодно, мы этого никому не позволим. Если информация Ежова является правильной, то, говорил И.В. Сталин, ее затянули или могут затянуть в свои сети иностранцы. Товарищ Сталин порекомендовал мне обстоятельно поговорить по этому поводу с Ежовым. Вскоре я имел встречу с Ежовым, который в беседе сообщил мне, что жена, вместе с Бубновой и Егоровой, ходит в иностранные посольства — итальянское, японское, польское, причем на даче японского посольства они пробыли до 3-х часов ночи...

О том, что жена со своими подругами была в итальянском посольстве, точнее у жены посла, в компании женщин и спела для них, она говорила мне сама до моего разговора с Ежовым, признав, что не предполагала подобных последствий.

На мой вопрос к Ежову, что же конкретного, с точки зрения политической компрометации, имеется на ней, он ответил: больше пока ничего, мы будем продолжать наблюдение за ней...

В июле 1937 г. по просьбе Ежова я еще раз заехал к нему. В этот раз он сказал, что у жены, когда она была в итальянском посольстве, была с собой программа скачек и бегов на ипподроме. На это я ответил, ну и что же из этого, ведь такие программы свободно продаются и никакой ценности из себя не представляют. Я думаю, сказал тогда Ежов, что ее надо арестовать и при допросах выяснить характер ее связей с иностранными посольствами, через нее выяснить все о Егоровой и Бубновой, а если окажется, что она не виновата, можно потом освободить.

Я заявил Ежову, что оснований к аресту жены не вижу, так как доказательств о ее политических преступлениях мне не приведено”.

- 105 Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938) — советский партийный и государственный деятель. Член РСДРП с 1903 г., большевик. После Февральской революции член Московского областного бюро РСДРП(б), Исполкома Моссовета. В октябре 1917 г. входил в Политбюро по руководству вооруженным восстанием, член Петроградского ВРК. В 1918 и 1919 гг. входил в состав Украинского рабоче-крестьянского правительства, руководил подпольной работой большевиков на Украине; член ЦК и Политбюро ЦК КП(б)У. В 1922–1923 гг. — зав. агитпропотделом ЦК РКП(б). В 1923 г. подписал оппозиционное “заявление 46-ти”, однако вскоре перешел на сторону партийного руководства. В 1924–1929 гг. — начальник Политуправления РККА. В 1929–1937 гг. — нарком просвещения РСФСР. Член ЦК партии в 1917–1918 и 1924–1937 гг., член Оргбюро ЦК в 1924–1937 гг., секретарь ЦК в 1925 г. В 1937 г. арестован, расстрелян.
- 106 Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — знаменитый советский полководец, пользовался расположением Сталина, маршалом станет в 1935 г.  
Для Малапарте, в 1920 г. находившегося в Варшаве, Буденный был одним из руководителей польского похода Красной армии; в черновиках к роману он вспоминает, что конницу Буденного описал в “Конармии” И.Э. Бабель. (Цит. по: *Il ballo al Kremlin. Milano, Adelphi*, 2012. Р. 214).
- 107 ...от sous-off до Мюрата... — Иоахим Мюрат (1767–1815) во время войн Французской революции и Наполеона сделал головокружительную карьеру: от суб-лейтенанта в 1792 г. (*sous-off* — буквально суб-офицер) до маршала в 1804 г. Его карьеру революционного полководца Малапарте уподобляет карьере полководца другой революции — С.М. Буденного.
- 109 Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) — советский полководец. Звание маршала присвоено ему в 1935 г. В 1937 г. расстре-

лян по делу “антисоветской троцкистской военной организации”, в 1957 г. реабилитирован.

109 Черрути Витторио (1881–1961) — посол Италии в СССР в 1927–1930 гг.

109 Штейгер Борис Сергеевич фон (1892–1937) — барон, в 1920–1930-х гг. работал уполномоченным Коллегии Наркомпроса РСФСР по внешним сношениям. Прототип барона Майгеля в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”. В дневнике жены писателя Е.С. Булгаковой Штейгер упоминается несколько раз. В частности, 3 мая 1935 г., описывая прием у советника американского посольства Уайли, она отмечает, что присутствовал, “конечно, барон Штейгер — непременная принадлежность таких вечеров, «наше домашнее ГПУ», как зовет его, говорят, жена Бубнова”.

Карлис Озолс в своих мемуарах писал: “Чтобы создать систематическую организацию для ловли иностранцев на женские чары, придумали даже специальную должность посредника между иностранцами и художественным миром Москвы. Эти обязанности выполнял бывший барон Борис Сергеевич Штейгер, теперь уже расстрелянный. Его главной заботой стало сближение иностранцев с актрисами и танцовщицами. В распоряжении Штейгера находились все балерины, он свободно распоряжался ими. Внимательно следил, какая из них нравится тому или иному иностранцу, и, когда было нужно, видя, что иностранец стесняется, шутя и откровенно говорил ему: «Ну что вы, любая из них может быть в вашем распоряжении». Да, все знаменитые и незнаменитые балерины, певицы, молодые актрисы часто становились в руках ГПУ «рабынями веселья».

Дипломатический корпус, конечно, знал о роли Штейгера, но строго его не осуждал, наоборот, жалел, как жертву ГПУ. Он рассказывал моему коллеге трагедию своей жизни. Сын известного в Южной России помещика барона Штейгера, обрусевшего немца, прежде Штейгер служил в гвардии. В дни революции, как антибольшевик, был приговорен к смертной казни. Его уже повели на расстрел, но указали выход и спасение: службу в ГПУ. Молодой Штейгер очутился между двумя безднами. Согласился оказывать

услуги чекистам. Трудно осуждать человека за такой компромисс, когда его безнадежно и безжалостно окружила гробовая жуть! Бывают такие положения, при которых никто не смеет бросить камень даже в кругом виноватого человека. И когда я прочел в газетах, что Штейгер расстрелян ГПУ вместе с Караханом и Енукидзе, мне его как-то особенно стало жаль, жертву, которую ГПУ сначала деморализовало, потом уничтожило, возможно, как лишнего свидетеля.

Штейгера обвинили в сношениях с иностранцами, забыв, что десять лет назад обязали поддерживать эту связь. Он исполнял только навязанные ему обязанности, и, должно быть, хорошо исполнял, потому что его положение постоянно крепло". (Цит. по: <https://e-libra.ru/read/372071-memuargy-poslannika.html>.)

Штейгер был арестован в ночь с 17 на 18 апреля 1937 г. по делу Г.Г. Ягоды. Обвинен в шпионаже "в пользу одного из враждебных империалистических государств". 25 августа 1937 г. приговор был формально утвержден на заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР. Казнен в тот же день. Посмертно реабилитирован не был.

- 109 ...латвийский министр N. — Малапарте не указывает имени, но речь идет о Карлисе Озолсе (1882–1941), чрезвычайном посланнике и полномочном министре Латвии в СССР (1923–1929). После присоединения Латвии к СССР К. Озолс арестован и расстрелян. В этих примечаниях часто цитируются его воспоминания.
- 109 ...Каменев арестован. — С середины 1920-х Л.Б. Каменев находился в оппозиции Сталину, но как раз в 1929 г. его не арестовывали: в 1928 г. он был восстановлен в партии, занимал государственные должности.
- 110 Дирксен Герберт фон (*Dirksen*) (1882–1955) — германский дипломат. Закончил гимназию императора Вильгельма в Берлине, затем изучал право. В 1907 г. совершил кругосветное путешествие, что позднее явилось базой для его дипломатической карьеры. Служил юристом. В 1910 г. посетил германские колонии в Африке. Участник Первой мировой войны, лейтенант, был награжден Железным крестом II степени. После войны поступил на дипломати-



ческую службу. В 1923–1925 гг. был германским консулом в Данциге. В 1928 г. Дирксен возглавил Восточный отдел Министерства иностранных дел Германии. В этом же году был назначен германским послом в Москве (1928–1933). В сентябре 1933 г. Дирксен становится германским послом в Токио, в 1938 г. — послом в Лондоне. После начала Второй мировой войны Дирксен вернулся в Германию и вышел в отставку.

- 111 *Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский; 1883–1936) — советский государственный и партийный деятель, ближайший соратник В.И. Ленина. В 1921–1926 гг. член Политбюро, находился в оппозиции к И.В. Сталину, расстрелян.*
- 117 *...думая об изгнании Троцкого. — В январе 1928 г. Л.Д. Троцкого сослали в Алма-Ату, а в январе 1929 г. было принято решение о его высылке из СССР.*
- 118 *...когда Жак Морнар убил Троцкого. — Жак Морнар — имя, под которым убийца Троцкого Рамон Меркадер (1913–1978) был внедрен в окружение опального советского лидера.*
- 121 *...в спроектированном Щусевым большом деревянном мавзолее... — Имеется в виду второй деревянный мавзолей на Красной площади. Первый был сооружен ко дню похорон Ленина и простоял до марта 1924 г. Второй, более представительный, был открыт для посетителей в августе 1924 г. Можно сказать, что Малапарте описывает последние дни его существования. К октябрю 1930 г. на том же месте был воздвигнут гранитный мавзолей. Все три мавзолея были спроектированы Алексеем Викторовичем Щусевым (1873–1949).*
- 121 *...медленно разлагалась мумия Ленина... — На следующий день после кончины Ленина будущий академик А.И. Абрикосов забальзамировал его тело для стандартной процедуры вскрытия, выяснения причины смерти и прощания. Бальзамирующий состав имел срок действия шесть дней. В конце января 1924 г. после долгих споров было принято решение сохранить тело вождя на длительный срок. Стали обсуждаться различные способы. Основная борьба шла между концепцией глубокой заморозки, предложен-*

ной советским политическим и государственным деятелем, инженером по образованию Леонидом Борисовичем Красиным (1870–1926), и концепцией бальзамирования, идеологом которой выступал Борис Ильич Збарский (1885–1954). Несмотря на то что оборудование для глубокой заморозки было уже закуплено (в Германии), победила концепция Збарского. Для ее осуществления в Москву из Харькова был выписан знаменитый анатом Владимир Петрович Воробьев (1876–1937), приступивший к работе в начале марта 1924 г., когда тело уже начало разлагаться. Упомянутое Малапарте “белое фарфоровое личико” — результат героических усилий Воробьева по выведению темно-бурых трупных пятен, покрывших лицо (а также кисти рук) вождя. (Подробнее см.: Лопухин Ю.М. Болезнь, смерть и бальзамирование В.И. Ленина: Правда и мифы. М.: Республика, 1997.)

Не вполне понятно, о каких специалистах из Берлина идет речь. Возможно, в конце 1920-х специалистов из Берлина приглашал Збарский, ставший директором лаборатории при мавзолее, занимавшейся сохранением тела Ленина. Однако не исключено, что здесь Малапарте путает специалистов по бальзамированию со специалистами по изучению мозга Ленина. Для выполнения этой задачи действительно был приглашен из Берлина директор Нейробиологического института Оскар Фогт (1870–1959), ставший вскоре организатором и директором сначала лаборатории по изучению мозга Ленина, а потом Института мозга.

- 121 “У Ленина череп такой же формы, как у Бальфура”, — написал Г. Уэллс. — Аллюзия на сочинение Уэллса “Россия во мгле”, в котором английский писатель рассказал о своем посещении Советской России и беседах с Лениным (1920 г.): “Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха. Линии его лба напомнили мне кого-то, я никак не мог вспомнить, кого именно, пока на днях не увидел г. Артура Бальфура, сидевшего возле затененной лампы. У него в точности такой же высокий, покатый,

слегка асимметричный лоб" (Уэллс Г. Россия во мгле / пер. И. Виккер, В. Пастоева // Уэллс Г. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15. М., 1964. С. 365).

Артур Бальфур (1848–1930) — английский политик, занимал высокие государственные должности, в 1916–1919 гг. — министр иностранных дел.

- 121 В хрустальном гробу... — Эффектный саркофаг для второго деревянного мавзолея был спроектирован Константином Степановичем Мельниковым (1890–1974). См. об этом: Мельников К.С. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика / сост. А. Стригалева, И. Коккинаки. М.: Искусство, 1985. С. 157–158; а также чертежи саркофага и вариант воспоминаний Мельникова в кн.: Хан-Магомедов С.О. Константин Мельников. М.: Стройиздат, 1990. С. 79–82.

“Необычная тема, еще не имевшая применения в архитектурной практике, и самая суть высокой идеи этой темы заставили мое еще мало искушенное практицизмом профессиональное чувство приблизить его к ощущению, в свою очередь к самой сути природного языка архитектурного искусства. Архитектурная идея моего проекта состояла из четырехгранной удлиненной пирамиды, срезанной двумя противоположно наклонными внутрь плоскостями, образовавшими при пересечении строго горизонтальную диагональ. Таким образом, верхний стеклянный покров саркофага получил естественную прочность от прогиба. Найденная конструктивная идея исключила необходимость обрамлять стыки частей саркофага металлом. Получился кристалл с лучистой игрой внутренней световой среды” (Мельников К.С. Архитектура моей жизни. С. 78). Мельниковский саркофаг был перенесен в гранитный мавзолей; заменен на технологически более современную конструкцию после возвращения тела вождя из эвакуации.

- 121 В те годы Москва еще оставалась древним православным городом тысячи церквей. — Разрушение церквей и монастырей в Москве начинается с конца 1920-х гг., шло полным ходом все 1930-е. В 1928 г. закрыто было 534 церкви, а в 1929 г. — уже 1119 храмов. В 1930 г. упразднение православных общин продолжалось с нарастающим темпом. В Москве из 500 храмов к 1 января 1930 г. оставалось 224, а через два года — только 87 церквей, находившихся в юрис-

дикции Патриархии. (См.: Цыпин Владислав, протоиерей. Глава "Русская Православная Церковь в 1929–1941 гг." // История Русской Православной Церкви.)

- 122 ...поздороваться с бледным призраком Скрябина. — Дом-музей композитора Александра Николаевича Скрябина (1871–1915) был открыт в 1922 г. по указанному Малапарте адресу. Далее в романе описывается посещение могилы Скрябина в Новодевичьем монастыре.
- 122 ...беседовал с печальной тенью Гоголя... — На Пречистенском бульваре в 1909 г. был открыт памятник Н.В. Гоголю, а мемориальным может считаться дом, где писатель умер, расположенный на Никитском бульваре (в 1923 г. там была размещена библиотека Наркомпроса). В 1924 г. Пречистенский бульвар был переименован в Гоголевский.
- 122 ...миламу призраку княгини Гагариной в ее прекрасном особняке на Новинском бульваре, построенном по проекту Бове. — Знаменитый московский архитектор О.И. Бове в 1817 г. построил на Новинском бульваре особняк для четы Николая Сергеевича и Марии Алексеевны Гагариных; М.А. Гагарина (1798–1835) скончалась скоропостижно.
- 125 Духовное завещание патриарха Тихона было опубликовано в газете "Известия" в 1925 г. через неделю после его смерти. В нем патриарх Тихон (Беллавин; 1865–1925; патриаршество — 1917–1925 гг.), долгое время противившийся большевикам, призвал к примирению церкви с советской властью. В частности: "Призывая на архипастырей, пастырей и верных Нам чад благословение Божие, молим вас со спокойной совестью, без боязни погрешить против Святой веры, подчиниться Советской власти не за страх, а за совесть, памятуя слова Апостола: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены»".
- 125 ...так же поступил и митрополит нижегородский Сергей в знаменитом послании к верующим православным христианам. — Митропо-

лит Нижегородский Сергей (Страгородский; 1867–1944) — в 1925–1936 гг. заместитель патриаршего местоблюстителя, с 1943 г. — патриарх. В послании 1927 г. (опубликовано в “Известиях”) Сергей декларировал: “Мы хотим быть православными и в то же время созавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи”. От послания Сергея принято отсчитывать поворот политики русской православной церкви на сотрудничество с советским государством.

- 125 *В основном я проводил свои дни в Институте Ленина...* — 31 марта 1923 г. пленум МК РКП(б) принял решение о создании Института Ленина. 8 июля было опубликовано обращение ЦК РКП(б) с сообщением об учреждении Института Ленина в Москве. Институт постоянно переживал всякого рода реструктуризации. В 1928–1930 гг. директором Института Ленина был М.А. Савельев (1884–1939, он же — главный редактор газеты “Известия”). 3 ноября 1931 г. решением Президиума ЦИК СССР Институт Ленина был объединен с Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса и создан Институт Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ).
- 127 *Как раз в эти дни в Театре Станиславского шла пьеса Булгакова “Дни Турбиных”...* — Премьера спектакля состоялась 5 октября 1926 г. на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ), где и шла с перерывами до 1941 г.
- 127 *Пискатор Эрвин (1893–1966) — немецкий режиссер-авангардист; ставил пьесы русских драматургов А.Н. Толстого и П.Е. Щеголева “Заговор императрицы”, В.Н. Билль-Белоцерковского “Луна слева”, но “Дни Турбиных” не ставил; в 1931–1939 гг. проживал в СССР.*
- 129 *...на старинных иконах Симона Ушакова из церкви Грузинской Божьей Матери...* — Ушаков Симон Федорович (1626–1686) — виднейший иконописец XVII в. В 1657–1659 гг. по заказу купцов Никитниковых принимал участие в украшении церкви Грузинской Богоматери, как по одному из приделов называют церковь Троицы в Никитниках.

- 131 ...голос Демьяна Бедного, главы Союза безбожников и автора Евангелия от Демьяна... — Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945) — советский поэт, член партии большевиков с 1912 г., в конце 1920-х находился на пике популярности и официального признания; Союз безбожников был учрежден на I съезде этого Союза в 1925 г.; Демьян Бедный активно сотрудничал с Союзом безбожников, в июне 1929 г. выступал на II съезде, однако главой организации с момента ее основания был другой коммунистический деятель — Емельян Ярославский; “Евангелие от Демьяна” — это антирелигиозная поэма “Новый завет без изъяна от евангелиста Демьяна” (1925).
- 134 ...блошинный рынок, который располагался на Смоленском бульваре... — В 1875 г. на Смоленской площади в Москве (Садовое кольцо) было построено двухэтажное здание, которое предназначалось для продажи мяса, овощей и других съестных продуктов; торговцы, которым не хватало места, продавали товар с рук; в домах, чьи фасады выходили на площадь, открывались лавки, трактиры, пивные. При советской власти на Смоленском рынке бывшие состоятельные люди обменивали или продавали старые вещи. В 1928 г. там построили пятиэтажный универсальный магазин.
- 136 Это был князь Львов, последний председатель Государственной думы в 1917 г. — Последним председателем Государственной думы был Михаил Владимирович Родзянко (1856–1924). Князь Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) — первый председатель Временного правительства (1917); Львов (как и Родзянко) покинул Советскую Россию и умер в эмиграции. Малапарте, посетивший Россию в 1929 г., встретиться с ним в Москве не мог.
- 137 Марсенго Маурицио (1874–1965) — генерал, военный атташе при итальянском посольстве в Санкт-Петербурге в 1915–1917 гг. Автор книги об итальянской миссии в России “*Eroi senza luce. Una missione militare in Russia durante la guerra mondiale (maggio 1915 — settembre 1917)*” (Torino, 1935) и статьи о битве при Луцке “*Russia 1915–1917. Dal diario di un addetto militare*” (журнал “*Nuova Antologia*”, 1935, fascicoli 1515–1516). Владел русским языком и переводил на итальянский статьи военного содержания. (Примеч. С. Гардзонио.)

- 137 Гостиница “Метрополь” была торжественно открыта в 1905 г. (архитекторы Л.Н. Кекушев и др.). При гостинице функционировал фешенебельный ресторан (Большой и Малый залы); в конце 1920-х гг. — отель, в котором принято было размещать именитых иностранцев, в ресторане играли джаз.
- 146 Вы бывали в Горках? — Усадьба Горки (рядом с городом Видное Московской области) возникла в конце XVIII в. Парк и усадебный дом восходят ко времени Дурасовых (начало XIX в.), хозяйственные сооружения и парковые павильоны — к предреволюционным годам, когда помещьем владели миллионерша З.Г. Морозова и московский градоначальник А.А. Рейнбот, ее муж. В.И. Ленин стал бывать в Горках с осени 1918 г., после совершенного на него покушения. Обычно он приезжал сюда в нерабочие дни; с зимы 1921–1922 гг. стал проводить здесь основную часть времени. С 15 мая 1923 г. тяжело больной председатель Совнаркома СССР жил в Горках постоянно, здесь же он и скончался.
- 151 ...банкет, устроенный Профсоюзом писателей-коммунистов Москвы. — Возможно, под Профсоюзом писателей-коммунистов имеется в виду Федерация объединений советских писателей, созданная в 1926 г., включавшая все влиятельные литературные группы и практически выполнявшая некоторые профсоюзные функции; в ФОСП имелась коммунистическая фракция.
- 154 Иван Коровий. — В оригинале Kąrowi. Личность не установлена. Любопытно, что в первой редакции романа “Мастер и Маргарита”, над которой М.А. Булгаков как раз работал в 1929 г. (См.: Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: Полн. собр. черновиков романа. Основной текст / сост., подгот., публ. Е.Ю. Кольшева. В 2 т. М., 2015. Т. 1. С. 33–100.), спутником главного безбожника Берлиоза выступает юный Иванушка Бездомный.
- 155 Проходя на Никольской перед церковью Николая Чудотворца, покровителя Святой Руси... — Церковь Николая Чудотворца — главный храм Николаевского греческого монастыря, давшего название Никольской улице в Китай-городе; снесен в 1935 г.

- 157 Оtelь "Савой" построен в 1912 г. До 1914 г. назывался "Берлин", после революции 1917 г. в здании располагались различные учреждения; в "Савое" жили именитые иностранцы (в частности А. Дункан).
- 159 ...комедия под названием "Портфель"... — Возможно, речь о знаменитой комедии Алексея Михайловича Файко (1893–1978) "Человек с портфелем", поставленной в театре Революции в 1928 г.
- 159 ...в юмористическом журнале "Крокодил". — Журнал "Крокодил" выходил с 1922 г.
- 160 "Герцеговина Флор" — папиросы, которые начали производиться еще до революции 1917 г.; Сталин курил эти папиросы и набивал их табак в трубку.
- 160 ...его жена, актриса театра Мейерхольда. — Н.А. Розенель-Луначарская играла в Малом театре. См. комментарий к стр. 80.
- 162 ...как ...сказал Маяковский. — Разумеется, описание обстоятельств и места смерти С.А. Есенина (1895–1925) неверны. Возможно, Малапарте в каком-то виде использует строки из стихотворения Маяковского "Сергею Есенину" (1926 г.):

Вы ушли,  
как говорится,  
в мир иной.  
Пустота...  
Летите,  
в звезды врезываясь.

- 166 ...*tabarin* «Скала». — Ночной клуб "Лестница" (итал. *Scala*) — предположим, что речь о ресторане "Прага". Настоящий вид "Прага" приобрела после перестройки 1902 г. (архитектор Л.Н. Кекушев); в 1925 г. открыта общедоступная столовая, подведомственная Моссельпрому, в которой выступал оркестр (ср. знаменитый эпизод гулянки Воробьянинова в романе И.А. Ильфа и Е.П. Петрова



“Двенадцать стульев”, 1928 г.); с 1929 г. ресторан обслуживал иностранцев.

См. в воспоминаниях Юрия Елагина: “В ресторане «Метрополь» на Театральной площади дивные стерляди плавали живьем прямо в бассейне в центре ресторанный зала, и вы могли сами выбрать любую рыбу в прозрачной воде, и ее вылавливали для вас при помощи серебряного трезубца, а через пятнадцать минут эта стерлядь уже красовалась на вашем столе, сваренная на пару”; “В ресторане «Прага» на Арбате приютились последние потомки знаменитых московских цыган. <...> И каждый вечер сидели они на высокой эстраде в своих стареньких ярких шалях, уцелевших еще от лучших времен, и равнодушно смотрели их усталые темные лица на шумную пьяную толпу посетителей советского ресторана. Гитаристом был маленький лысый старик в потертом кафтане из черного бархата. <...> В конце вечера выходила плясать цыганскую венгерку худенькая женщина уже не первой молодости. Это была любимица Москвы времен нэпа — танцовщица Мария Артамонова. Трудно сказать, по каким именно причинам понадобилось советской власти сохранить в неприкосновенности и даже, в некоторых случаях, пытаться заново восстановить ресторанный мир дореволюционной Москвы. В тоталитарных государствах ничто не делается без причины, и притом без причины политического характера. И даже в отношении такой мелочи в масштабе жизни государства, как столичные рестораны, — тоже была какая-то определенная и точная цель. Но какая?” (Елагин Ю. Укрощение искусств. М., 2002. С. 153–154.)

“Прага” была закрыта в 1930-х после оформления правительственной трассы из Кремля в Кунцево. (См. также: Ямской Н.П. Легенды московского застолья. М., 2012.)

- 174 В описываемое время Новодевичий монастырь был закрыт, на его территории с 1922 г. работал музей “Царевна Софья и стрельцы”.
- 174 Хамовники — больничный район... — С XIX в. в районе Хамовники традиционно располагались медицинские учреждения, в том

числе Университетская клиническая больница на улице Большая Пироговская. На этой улице живет хирург Оболенский, о котором Малапарте пишет в конце романа, а в квартире М.А. Булгакова в 1929 г. проживала М.А. Чимишкиан, прототип Марики Ч. (см. статью Н. Громовой "История Марики Ч." в настоящем издании).

- 175 Рядом с Новодевичьим монастырем есть небольшое кладбище... — О Новодевичьем кладбище Малапарте также пишет в публицистическом дневнике "Я в России и Китае" (посмертно опубликован в 1958 г.). Там писатель приводит сведения о могилах Дениса Давыдова (с напоминанием, что тот — прототип толстовского Денисова в "Войне и мире"), родственников В.М. Молотова и второй жены Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой (кстати, порассуждав о достоинствах хулимого при Н.С. Хрущеве покойного вождя).
- 178 ...подняв глаза на серый могильный камень, я прочитал имя: фон Мекк. — Фон Мекк Николай Карлович (1863–1929) — российский предприниматель, из семьи строителей и собственников железных дорог, сын Надежды Филаретовны фон Мекк — корреспондентки П.И. Чайковского. После революции 1917 г. сотрудничал с Наркоматом путей сообщения; неоднократно арестовывался по причине "подозрительного" происхождения; в 1928 г. арестован в рамках поисков специалистов-вредителей, в "Известиях" от 24 мая 1929 г. помещено сообщение о его расстреле. Существуют его портреты кисти Б.М. Кустодиева.
- 184 ...остановилась перед продавщицей сигарет, у которой на шее висела табличка "Моссельпром"... — Моссельпром (Московское губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности) — торгово-промышленная организация, существовавшая в 1922–1937 гг. и объединявшая государственные фабрики и заводы пищевой промышленности. В том числе через систему "Моссельпрома" распространялись папиросы различных марок ("Герцеговина Флор", "Ира" и т.д.); существовала практика и продажи товаров уличными разносчиками. Папиросница от Моссельпрома (в 1924 г. на экраны вышла

черно-белая немая комедия с таким же названием) — атрибут тогдашней Москвы, зафиксированный во многих произведениях искусства.

- 185 *Радиовещание* ведется в Москве с ноября 1924 г.
- 198 *Коммунистический университет имени Свердлова* — элитное образовательное высшее учебное заведение, готовившее кадры для советской и партийной администрации (1918–1937 гг.); *Университет имени Сунь Ятсена* — университет трудящихся Китая, названный именем знаменитого революционера (с 1928 г. — Коммунистический университет трудящихся Китая), существовал при Коминтерне для подготовки китайских революционеров (1925–1930). В “Технике государственного переворота” (М., 1998. С. 107–108) Малапарте пишет: “Среди прочих дисциплин в китайском университете в Москве преподают и тактику «невидимых тренировок», которую так успешно использовал в Шанхае Бородин, опираясь на опыт Троцкого. В Москве, на улице Волхонка, в университете Сунь Ятсена китайские студенты изучают принципы, которые коммунистические организации Германии применяют на практике каждое воскресенье, отрабатывая повстанческую тактику прямо под носом у полиции и благонамеренных бюргеров...”
- 204 ...при помощи канатов и блоков опускали на пьедестал гигантскую статую — статую драматурга Островского... — Памятник А.Н. Островскому был установлен в 1929 г. у Малого театра (скульптор Н.А. Андреев, 1873–1932).
- 211 *Скирмунт* Константы (1866–1949) — польский государственный деятель, представитель старинной аристократической фамилии, в 1919–1921 гг. — посол в Италии, в 1921–1922 гг. — министр иностранных дел; послом в СССР не был.
- 211 *Томмазини* Франческо (1875–1945) — итальянский политик либеральных убеждений, общественный деятель; первый посол Италии в независимой Польше (1919–1923). При Муссолини оставил дипломатическую карьеру и занимался историей дипломатии, печатался в журнале “*Nuova Antologia*”, сотрудничал с “*Enciclopedia*

*Italiana*". В 1912 г. женился на Анне Марии Фонтана. По окончании Второй мировой войны назначен послом в Ватикан, но умер в день назначения. (Примеч. С. Гардзонио.)

- 211 *Граф Потоцкий Мауриций Станислав (1894–1949)* — представитель польской аристократической семьи, общественный деятель, спортсмен, охотник; участник войны с Советской Россией. В "Технике государственного переворота" (М., 1998. С. 42) Малапарте создает колоритный образ Потоцкого, специально приехавшего в Варшаву, чтобы участвовать в ее защите и "вернуться во Францию сразу же, как только фортуна улыбнется Польше", тем самым Потоцкий олицетворяет собой тип польского аристократа, который готов умереть за отечество, "но жить в нем не готов".
- 213 ...вбежала графиня Потоцкая... Сопровождал ее, если я правильно помню, венгр, граф Пальфи. — Потоцкая — она же далее названа Беткой Радзивилл; представители аристократических польских фамилий Потоцких и Радзивиллов часто вступали друг с другом в браки. Пальфи — аристократическая венгерская фамилия. Конкретные личности не установлены; не исключено, что в данном случае имена имеют декоративный характер: в другом варианте текста Потоцкая-Радзивилл выступает как Потоцкая-Пальфи (Цит. по: *Il ballo al Kremlin. Milano, Adelphi, 2012. P. 405*).
- 216 *Affaires Etrangères, M. Grandi (Ваш министр иностранных дел Гранди).* — Гранди Дино (1896–1988) — итальянский политик, министр иностранных дел в 1929–1932 гг.
- 219 *Радек Карл Бернгардович (Собельсон, 1885–1939)* — участник международного социал-демократического движения, потом советский партийный деятель, журналист, близкий соратник В.И. Ленина, член ЦК партии в 1919–1924 гг., один из руководителей Коминтерна. В 1925–1927 гг. — ректор Университета китайских трудящихся имени Сунь Ятсена, с 1927 г. преследовался в качестве сторонника Троцкого, в 1936 г. арестован, погиб в заключении.

- 220 **Томский Михаил Павлович** (1880–1936) — советский государственный и партийный деятель, в 1922–1929 гг. руководитель советских профсоюзов. С 1929 г. преследовался в качестве сторонника Н.И. Бухарина, покончил с собой.
- 220 **Ворошилов Климент Ефремович** (1881–1969) — советский военный и государственный деятель, со времен Гражданской войны последовательный сторонник Сталина. В 1925–1934 гг. — нарком по военным и морским делам, в 1934–1940 гг. — нарком обороны, в 1935 г. — маршал. В 1926–1960 гг. — член Политбюро (затем Президиума) ЦК (рекордный срок пребывания в этом руководящем партийном органе).
- 226 **Гельфанд Лев Борисович** — советский дипломат и разведчик, с 1933 г. — сотрудник советского посольства в Италии, в 1939–1940 гг. — временный поверенный СССР в Италии. В 1940 г. стал перебежчиком; позднее в США, получив фамилию Мур, занимался бизнесом и сотрудничал с американской разведкой.
- 226 **Рубинин Евгений Владимирович** (1894–1981) — советский дипломат. В 1924–1928 гг. — секретарь в различных посольствах, в 1928–1935 гг. — заместитель и потом заведующий III Западным отделом НКВД.
- 227 *...в разговорах... которые вела его жена...* — **Соня Мур** (Софья Евзаровна Шацова; 1902–1995) бежала на Запад вместе с мужем Л.Б. Гельфандом. В США под фамилией Мур сделала успешную карьеру режиссера, ставила спектакли на Бродвее, вводила в американскую театральную практику систему К.С. Станиславского.
- 227 **Абрамова Анастасия Ивановна** (1902–1985) — советская балерина. Приведем вопросы, задаваемые иностранным корреспондентом советскому журналисту, о которых сообщил А.Н. Гарри летом 1930 г. во время следствия: “Правда ли, что Карахан живет с балериной Абрамовой? Правда ли, что Чичерин педераст? Правда ли, что Сталин очень болен и едет в отпуск?” (Киянская О.И., Фельдман Д.М.

Словесность на допросе: Следственные дела советских писателей и журналистов 1920–1930-х гг. М., 2018. С. 281.)

- 227 ...о новой жене шведского посла Юлленшерны. — Юлленшерна Эрик (Gyllenstierna; 1882–1940) — шведский дипломат, в 1930–1937 гг. посол в СССР. К моменту пребывания в Москве был женат в третий раз на Сигне Финеман, которая родилась в 1898 г. и с которой он в 1937 г. развелся; всего был женат пять раз. (Благодарим Магнуса Юнгрена за любезно предоставленную информацию.)
- 227 Дирксен Хильда фон (1885–1942) — жена немецкого посла в СССР Г. фон Дирксена.
- 228 ...дочерей норвежского посла Кюллики и Анналисе Урбю. — Анналисе (Анна Элисавет) Урбю — дочь Андреаса Тострупа Урбю, первого норвежского посла в СССР (1924–1939). Другой дочери у Урбю не было (Кюллики — финское имя). (Благодарим Магнуса Юнгрена за любезно предоставленную информацию.)
- 231 Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) — известный русский поэт-символист, после получения Литвой независимости начинает публиковать стихотворения на литовском языке. В 1920–1939 гг. — посол в Советской России и СССР (с разными именованиями должности); умер в эмиграции.
- 232 Вы видели в Театре Станиславского “Клопа”? — “Клоп” — комедия В.В. Маяковского. С начала 1929 г. Маяковский выступал с чтением комедии в различных аудиториях; в феврале состоялась премьера в театре В.Э. Мейерхольда.
- 233 Вы знаете письмо Маркса Кугельману? — Людвиг Кугельман (1830–1903) — немецкий врач, революционер, член Интернационала, корреспондент Маркса. Письмо К. Маркса Кугельману написано 17 апреля 1871 г. Полностью по-русски это письмо опубликовано в 1928 г. Приведем фрагмент: “...История носила бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в об-

щий ход развития, уравниваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения». (Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 33. М., 1964. С. 175.)

236 Полихрониадис Спиридон — греческий посол в СССР в 1933–1935 гг.

236 Рассказ Лиона Фейхтвангера о Радеке. — Немецкий писатель Лион Фейхтвангер (1884–1958) в книге “Москва 1937” (спешное русское издание — 1937 г.) рассказал о своих впечатлениях о СССР, в частности, об открытом процессе так называемого Параллельного антисоветского троцкистского центра (среди обвиняемых — К.Б. Радек), на котором присутствовал; книга Фейхтвангера имела апологетический характер по отношению к сталинскому режиму. См. о Радеке: “Писателя Карла Радека я тоже вряд ли когда-нибудь забуду. Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывая свое превосходство актера, — надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек по-

сле конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все — судьи, обвиняемые, слушатели — сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать — среди них близкие друзья Радека — были приговорены к смерти; Радек и трое других — только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все — обвиняемые и присутствующие — выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому, предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся" (Фейхтвангер Л. Москва 1937: Отчет о поездке для моих друзей // Два взгляда из-за рубежа. М., 1990. С. 244–245).

- 237 *Два старых открытых "роллс-ройса" медленно ехали по Арбату... В первом, рядом с водителем, сидел Сталин. — Правительственная трасса из Кремля в любимую подмосковную резиденцию Сталина в Кунцево (построена в 1933–1934 гг., архитектор М.И. Мерзжанов) пролегла по Арбату. В частности, с обеспечением ее безопасности связывают закрытие в 1930-х гг. столовой, которая после революции размещалась в ресторане "Прага".*
- 238 *Он <Флоринский> долго молчал, а затем принялся рассказывать мне о Капри. — На острове Капри в 1909 г. усилиями А.В. Луначарского и других большевиков при поддержке А.М. Горького была организована "Первая Высшая социал-демократическая пропагандистско-агитаторская школа для рабочих" (к которой Флоринский отношения не имел); на Капри находилась и знаменитая вилла Малапарте (спроектирована в 1937 г.).*
- 242 *В маленьком театре на Садовой, куда я отправился посмотреть комедию Маяковского "Квадратура круга". — Комедия В.П. Катаева "Квадратура круга" была поставлена в МХТ в 1928 г.*



- 243 ...<Луначарский> полагает, что успех Пушкина среди пролетариев объясняется невероятной чистотой и музыкальностью его стихов. — Пересказ Литвинова близок идеям Луначарского, высказанным в статье “Еще о Пушкине” (1924; вошла во второе издание сборника “Литературные силуэты”, вышедшее в 1925 г.). Нарком утверждал, что на нынешнем этапе развития Пушкин нужнее молодежи, чем даже Маяковский: “...стремясь к ясности, четкости, уверенности и умеренности, к веселости, игривости такой формы, которая бы играючи переходила от пафоса в шутку, наши молодые мастера натываются на Пушкина и восхищаются им” (Луначарский А.В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1963. С. 43).
- 245 ...дворца князей Юсуповых в Архангельском. — Юсуповы были последними хозяевами усадьбы в Архангельском. Княгиня Ирина Александровна (1895–1970) — дочь великого князя Александра Михайловича, жена князя Феликса Феликсовича Юсупова (1887–1967). Феликс Юсупов известен как участник убийства Григория Распутина; автор двух книг воспоминаний — “Конец Распутина” (1927) и “Мемуары” (1953).
- 248 Шеффер Пауль (1883–1963) — немецкий журналист. В 1923–1929 гг. — московский корреспондент газеты «*Berliner Tageblatt*». В 1929 г. ему было отказано в очередном въезде в СССР, имел репутацию специалиста по СССР и критиковал сталинский режим, подозревался в связях с немецкой разведкой; после прихода Гитлера к власти некоторое время возглавлял «*Berliner Tageblatt*» (1934–1936).
- 249 ...я расхваливал тогдашнего министра иностранных дел Польши князя Сепегу... Потом речь зашла о Пилсудском и о маршале сейма Польши Тромпчиньском. — Князь Сепега Евстафий (1881–1963) — польский государственный деятель, представитель аристократической фамилии, в 1919 г. участвовал в заговоре, направленном против Пилсудского; в 1920–1921 гг. — министр иностранных дел. Пилсудский Юзеф (1867–1935) — польский социалист, революционер. После создания независимого польского государства его первый руководитель с уникальным титулом Начальника государства (1918–1922). В 1926 г. в результате военного переворота стал

фактическим диктатором. Тромпчиньский Войцех (1860–1953) — польский государственный деятель, маршал сейма (1919–1922) и Сената (1922–1928).

Во время войны Польши с Советской Россией Малапарте служил в итальянском посольстве в Варшаве. В “Технике государственного переворота” (М., 1998) он анализирует причины, по которым в 1920 г. правительству Пилсудского удалось отразить наступление Красной армии и удержать власть, а в 1926 г. Пилсудский смог совершить удачный переворот. Для Малапарте Пилсудский — заговорщик-буржуа, который “скорее самонадеян, нежели честолюбив; что воли у него больше, чем ума” (С. 19–20); Сапега и Тромпчиньский — лидеры бездеятельной аристократической оппозиции Пилсудскому, которые сибаритски собираются в Варшавском Охотничьем клубе (С. 41).

249 Тарновский Адам (1866–1946) — австро-венгерский дипломат, в 1911–1916 гг. — посол в Болгарии.

255 ...перед входом в Большой, где давали “Красный мак”. — “Красный мак” — балет Р.М. Глиэра (1927 г.). Это была первая постановка Большого театра на современную тему, причем связанную с революционными событиями в Китае. Согласно либретто, советский корабль приходит в китайский порт, местные контрреволюционеры готовят диверсию, однако заговор раскрывает артистка Тая Хоа (Красный мак), разоблаченные жестоко мстят ей, она гибнет, но, умирая, призывает товарищей и единомышленников бороться за революцию. В книге “Волга рождается в Европе” (1943) Малапарте пишет: “Несколько лет назад я <...> смотрел представление знаменитого балета «Красный мак», который тогда привел в восторг рабочие массы русской столицы. Действие балета происходит во время первой коммунистической революции в Китае, той, которой руководили Чан Кайши и советский комиссар Карахан, красный диктатор Китая. Я сидел рядом с писателем Булгаковым, автором пьесы «Дни Турбиных». В определенном месте на сцену устремляется масса одетых в красное танцоров, которые символизируют китайских коммунистов, и большая толпа танцоров в желтой одежде, которая представляет контрреволюционные силы. Битва между армиями цветов, армией красных маков

и армией лотосов, увеличивается до предельной силы, она повинуется хореографической архитектуре, которая богата волпютами, дугами, спиралями и производит чрезвычайное, поразительное воздействие. Утонченное искусство балетной школы прежнего Императорского театра, которое было восстановлено советским правительством, гигантская хореография — в апогее битвы участвовали примерно тысяча двести танцоров — вся эта удивительная, абсурдная и все же по-детски символическая фантазия, молниеносное, легкое скольжение ног, тысяч быстро раскрывающихся и так же быстро закрывающихся рук, внезапные повороты и вращения более тысячи танцоров создавали в гигантском помещении театра, в котором бесчисленная, состоящая преимущественно из рабочих публика сидела в сжатом молчании, неповторимую, насыщенную удрученным ожиданием атмосферу". (*Маллапарте* К. Волга рождается в Европе / пер. с нем. Х. Людвиг. Карлсруэ, Штальберг, 1967. Цит. по: <http://lilitlife.club/br/?b=250892&p=46>.)

- 260 "Я люблю свою жену..." — Эпизод с публичными извинениями Луначарского за поведение его жены отражает не реальные события, а слухи: подобная фраза есть в анекдотах, где Луначарский оправдывается по этому поводу перед Сталиным.
- 262 ...был убит немецкий посол Мирбах. — Мирбах Вильгельм фон (1871–1918) — немецкий дипломат; в 1918 г. — посол императорской Германии в Советской России. Члены партии левых эсеров, которая вместе с большевиками составляла советское правительство, организовали его убийство (в Мирбаха стреляли из револьвера, а потом бросили бомбу), что послужило сигналом к восстанию. В.И. Ленин и большевики подавили восстание, и в итоге правительство стало однопартийным.
- 264 ...Юровского, убийцу царской семьи. — Юровский Яков Михайлович (1888–1938) — революционер, большевик; комендант Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где содержались отрешенный император и его семья, непосредственно руководил их расстрелом. В 1920-е гг. Юровский был председателем торгового отдела валютного управления Наркомата иностранных дел, в 1923 г. — заместитель директора завода "Красный богатырь". С 1928 г. — дирек-

тор Политехнического музея в Москве. Умер в 1938 г. от прободения язвы двенадцатиперстной кишки.

- 266 *Дюранти Уолтер* (1884–1957) — английский журналист, в 1925–1936 гг. — руководитель московского бюро американской газеты “The New York Times”.
- 267 Возможно, он боялся, что мне будет любопытно узнать, на чьей он стороне — женщины или орангутана. — Видимо, имеются в виду опыты биолога И.И. Иванова (1870–1932). См.: “Профессору Иванову удалось захватить тринадцать обезьян и провести над тремя из них опыт искусственного осеменения их человеческой спермой, но условия путешествия из Африки в Сухум обезьяны перенести не смогли и одна за другой все тринадцать погибли. Вскрытие осемененных обезьян показало, что зачатие не произошло. Однако первая неудача не должна расколаживать ученых. Опыты необходимо продолжать...” (“Красная газета” от 20 декабря 1927 г. Цит. по: Шишкин О. Красный Франкенштейн: Секретные эксперименты Кремля. М., 2003. С. 239–240).
- 272 ...товарищу Калининскому. — Очевидно, имеется в виду Михаил Иванович Калинин (1875–1946), советский государственный и партийный деятель. С 1919 г. и до смерти занимал в Советской России и потом в СССР должность формального главы государства. В разные годы эта должность именовалась по-разному. Малапарте называет его президентом СССР.
- 274 Все они были здесь, все сидели рядком перед огромной толпой, заполнившей партер Большого театра. — В финальном эпизоде романа изображается V Всесоюзный съезд Советов (20–28 мая 1929 г.). В “Технике государственного переворота” Малапарте описывает впечатления от заседания, которое происходило в Большом театре, и набрасывает подробный портрет Сталина.
- 276 *Аксель Мунте* (1857–1949) — шведский врач, писатель; автор книги “Легенда о Сан-Микеле”. Малапарте посещал его дом на Капри, после чего тоже решил построить виллу на этом острове; Малапарте написал некролог Мунте (во время работы над романом “Бал в Кремле”).

290 Ламбрехту, Штернбергу, Фрицу Лангу, Мурнау, Лазарю Сегалу и Гроссу. — Ламбрехт — личность не установлена; Штернберг Джозеф фон (1894–1969) — американский кинорежиссер; Ланг Фриц (1890–1976) — немецкий кинорежиссер; Фридрих Мурнау (1888–1931) — немецкий кинорежиссер; Лазарь Сегал (1891–1957) — художник-авангардист, родом из Литвы, работал в Германии, с 1923 г. — в Бразилии; Георг Гросс (1893–1957) — немецкий художник-авангардист.



## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- АБРАМОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 227,  
230, 253, 329  
АБРИКОСОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 317  
АГРАНОВ, ЯКОВ САУЛОВИЧ 296  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (ВЕЛИКИЙ  
КНЯЗЬ) 333  
АЛЕКСИЙ (МИТРОПОЛИТ  
МОСКОВСКИЙ) 130  
АЛЛИЛУЕВА, НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 326  
АЛЬВАРО, КОРРАДО 14  
АМАНУЛЛА-ХАН 307  
АМЕНДОЛА, ДЖОВАННИ 12  
АНДРЕЕВ, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 327  
АНДРОНИКАШВИЛИ, КИРА ГВОРГИЕВНА  
64, 65, 68  
Д'АННУНЦИО, ГАБРИЭЛЕ 8, 93  
АНЬЕЛЛИ, ВИРДЖИНИЯ 14  
АНЬЕЛЛИ, ДЖОВАННИ 14  
АНЬЕЛЛИ, ЭДОАРДО 14  
АПОЛЛИНЕР, ГИЙОМ 190  
АРМАНД, МАРИ 303  
АРТАМОНОВА, МАРИЯ 325  
АССЕЛИН, ЯН 279  
БАБЕЛЬ, ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ 314  
БАЙРОН, ДЖОРДЖ ГОРДОН 47, 91, 99,  
242  
БАККЕЛЛИ, РИККАРДО 17  
БАЛТРУШАЙТИС, ЮРГИС  
КАЗИМИРОВИЧ 231, 232, 236, 262, 330  
БАЛЬБО, ИТАЛО 15, 16  
БАЛЬДИ, ЕВГЕНИЯ 8  
БАЛЬДИ, МАЛЬЦИАДЕ 8, 11  
ДЕ БАЛЬЗАК, ОНОРЕ 146, 160  
БАЛЬФУР, АРТУР 121, 318, 319  
БАРБЮС, АНРИ 9  
БАРЖАВЕЛЬ, РЕНЕ 23  
БАРРАС, ПОЛЬ 33, 74  
БАРРЕС, МОРИС 93  
БЕДНЫЙ, ДЕМЬЯН 131, 132, 152–154,  
167, 185, 237, 301, 302, 322  
БЁКЛИН, АРНОЛЬД 16  
БЕЛОЗЕРСКАЯ, ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА  
59–61, 65, 66, 68–70  
БЕНЕЛЛИ, СЭМ 8  
БЕНЬЯМИН, ВАЛЬТЕР 30  
БЕРГСОН, АНРИ 78

БЕРДЯЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 298  
 БЕРЕНШТАМ (МОНЬЕ), КАРОЛИНА АННА  
 (КАРОЛИНА ИВАНОВНА) 62, 63  
 БЕРЕНШТАМ, ФЕДОР ГУСТАВОВИЧ 62,  
 63, 65, 66  
 БЕРЕНШТАМ, ФРИДРИХ АВГУСТ (ГУСТАВ  
 ВАСИЛЬЕВИЧ) 62  
 БЕРИЯ, ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ 312  
 БЕРНИНИ, ДЖОВАННИ ЛОРЕНЦО 86  
 БЕРТРАН, ЖЮЛЬЕТТА 23  
 БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, ВЛАДИМИР  
 НАУМОВИЧ 321  
 ФОН БИСМАРК, ОТТО 248  
 БЛЕЙК, УИЛЬЯМ 153, 155  
 БЛОК, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 154  
 БОВЕ, ОСИП ИВАНОВИЧ 122, 135, 323, 320  
 ДЕ БОГАРНЕ, ЖОЗЕФИНА 217  
 БОДЛЕР, ШАРЛЬ 87, 100, 170, 172  
 БОЛЬДИНИ, ДЖОВАННИ 206  
 БОНИФАЦИЙ VIII 215  
 БОНТЕМПЕЛЛИ, МАССИМО 13  
 БОРЕЛЛИ, АЛЬДО 14, 17, 26  
 БОРИС ГОДУНОВ 252  
 БОРИСЕНКО, ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 26  
 БОРОДИН, МИХАИЛ МАРКОВИЧ 92, 103,  
 309, 327  
 БОСХ, ИЕРОНИМ 275, 276, 279, 281  
 БРАГАЛЬЯ, АНТОН ДЖУЛИО 12  
 БРАК, ЖОРЖ 130  
 БРАУН, УОЛТЕР 308  
 БРЕЙГЕЛЬ, ПИТЕР 279, 281  
 БУБНОВ, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 105, 225,  
 305, 312, 314, 315  
 БУБНОВА, ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 24, 44,  
 102, 105–108, 110, 141, 225, 230, 311–  
 313, 315  
 БУДЕННАЯ, НАДЕЖДА ИВАНОВНА 312  
 БУДЕННАЯ, ОЛЬГА СТЕФАНОВНА 44, 47,  
 98, 105–108, 110, 141, 224, 230, 312–  
 314

БУДЕННЫЙ, СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 33,  
 47, 98, 105–107, 224, 229, 304, 305,  
 312–314  
 БУЛГАКОВ, МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 27,  
 31, 49, 52–54, 59, 61, 65, 66, 68–70,  
 126–129, 132–134, 136, 142, 145, 149,  
 150, 315, 321, 323, 326, 334  
 БУЛГАКОВА, ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 66, 68,  
 315  
 БУЛГАКОВА, ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА см.  
 Белозерская, Любовь Евгеньевна  
 БУРБОНЫ (ДИНАСТИЯ) 220  
 БУХАРИН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 38, 44,  
 94, 111, 287, 302, 310, 329  
 ВАЛЕРИ, ПОЛЬ 78, 87, 93, 97, 220  
 ВАСИЛЬЕВА, ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 305,  
 313  
 ВАЧНАДЗЕ, НАТО 68  
 ВЕРГИЛИЙ 154  
 ВЕРЛЕН, ПОЛЬ 87  
 ВИВАЛЬДИ, АНТОНИО 85  
 ВИГОРЕЛЛИ, ДЖАНКАРЛО 8  
 ВИКТОРИЯ 255  
 ВИТТОРИНИ, ЭЛИО 14  
 ВИШНЕВСКАЯ, ГАЛИНА ПАВЛОВНА 293  
 ВОРОБЬЕВ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 318  
 ВОРОШИЛОВ, КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ  
 220, 304, 329  
 ВУЛЬФ, ВИРДЖИНИЯ 13  
 ГАГАРИН, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 320  
 ГАГАРИНА, МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 122,  
 323, 320  
 ГАРРИ, АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 329  
 ГЕГЕЛЬ, ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ  
 233  
 ГЕЙ, ДЖОН 231, 232  
 ГЕЛЬФАНД, ЛЕВ БОРИСОВИЧ 226, 227,  
 329  
 ГЕНРИХ IV 257



фон Гёте, Иоганн Вольфганг 217  
 фон Гильдебранд, Адольф 16  
 Гитлер, Адольф 30, 36, 41, 43, 79, 118,  
 333  
 Гладстон, Уильям 95  
 Глиэр, Рейнгольд Морицевич 334  
 Гобетти, Пьеро 12  
 Гоголь, Николай Васильевич 46–49,  
 99, 101, 122, 193, 197, 214, 232, 242,  
 276, 290, 320  
 Гойя, Франсиско 136, 281  
 Голицына, Нина Дмитриевна 245  
 Гомер 132, 152, 154  
 де Гонкур, Жюль 100, 210  
 де Гонкур, Эдмон Луи Антуан 100,  
 210  
 Гончаров, Иван Александрович 49,  
 193, 219  
 Горький, Максим 26, 123, 332  
 Готье, Теофиль 160  
 де Грамон, Аженор 90  
 Грамши, Антонио 12  
 Гранди, Дино 216, 328  
 Грибовдов, Александр Сергеевич 69  
 Гросс, Георг 117, 290, 337  
 Грюневальд, Маттиас 285  
  
 Давыдов, Денис Васильевич 61, 326  
 Давыдова, Вера Александровна 293  
 де Данжо, Филипп де Курсийон 78  
 Данте Алигьери 154, 234  
 Дега, Эдгар 89  
 Декарт, Рене 85, 87  
 Джакоббе, Карла Мария 27, 41, 304  
 Джентиле, Джованни 12, 19  
 Джойс, Джеймс 13, 17  
 Дизраэли, Бенджамин 248, 267  
 фон Дирксен, Герберт 91, 110, 223, 227,  
 228, 308, 316, 317, 330  
 фон Дирксен, Хильда 91, 227–229,  
 330

Дитрих, Марлен 299  
 Долгорукие 122  
 Дольфус, Энгельберт 104, 312  
 Доменикино 82  
 Достоевский, Федор Михайлович  
 46–49, 98, 99, 101, 193, 197, 290  
 Думини, Америго 11  
 Дункан, Айседора 51, 162, 324  
 Дурасовы 323  
 Дюдефлан, Мари 135  
 Дюранти, Уолтер 266, 336  
 Дюрер, Альбрехт 285  
  
 Еврипид 201  
 Егоров, Александр Ильич 88, 105,  
 224, 304, 305  
 Егорова (Цвешковская), Галина  
 Антоновна 88, 105, 106, 108–112,  
 141, 224, 230, 304, 305, 312, 313  
 Ежов, Николай Иванович 313, 314  
 Екатерина II 241  
 Елагин, Юрий Борисович 325  
 Енукидзе, Авель Сафронович 316  
 Ермолинский, Сергей  
 Александрович 66, 68–70  
 Евснин, Сергей Александрович 51,  
 52, 154, 162, 324  
  
 Жакоб, Макс 13  
 Жид, Андре 30, 93  
 Жироду, Жан 85–87, 97  
 Жуков, Георгий Константинович  
 43, 118  
  
 Залесский, Василий Герасимович  
 300  
 Замятин, Евгений Иванович 66  
 Замятина, Людмила Николаевна 66  
 Збарский, Борис Ильич 318  
 Зиновьев, Григорий Евсеевич 44,  
 111, 219, 263, 298, 317

ЗОЛЯ, ЭМИЛЬ 146

ЗУККЕРТ, ЭРВИН 7

ИВАНОВ, ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 336

ИДЕН, ЭНТОНИ 226

ИЗВОЛЬСКИЙ, АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  
253

ИЛЬФ, ИЛЬЯ АРНОЛЬДОВИЧ 54, 324

ЙЕЙТС, УИЛЬЯМ БАТЛЕР 17

КАГАНОВИЧ, ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ  
296

КАЛИНИН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 272,  
274, 275, 283, 289, 304, 336

КАЛЬДАРЕЛЛИ, ДЖОРДЖО 12

де КАЛЬЦАБИДЖИ, РАНЬЕРИ 8

КАМЕНЕВ, АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ 297

КАМЕНЕВ, ЛЕВ БОРИСОВИЧ 38, 44, 45,  
94, 109, 111, 115, 118, 119, 192, 202,  
219, 297, 298, 316

КАМЕНЕВ, ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ 297

КАМЕНЕВА (БРОНШТЕЙН), ОЛЬГА  
ДАВИДОВНА 67, 74, 125, 192–194,  
196, 199–204, 297

КАММИНГ, ГЕНРИ 18

КАМЮ, АЛЬБЕР 19, 23

КАНОВА, АНТОНИО 82

КАРАХАН, ЛЕВ (в романе — АЛЕКСИС)  
МИХАЙЛОВИЧ 38, 46–48, 73, 80, 84,  
90–104, 111, 222, 223, 294, 295, 301,  
308, 316, 329, 334

КАРЛ X 220

КАРМЕНЬЕЛЛО (РЫБАК) 238

КАРТЬЕ, ЛУИ-ФРАНСУА 108

де КАСТЕЛЛАН, БЕНИФАС 221

КАТАЕВ, ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 332

КАТОН, МАРК ПОРЦИЙ 167

КАУАРД, НОЭЛ 80

КВИЛИЧИ, НЕЛЛО 16

КЕКУШЕВ, ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 323, 324

КЕРВЕНСКИЙ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  
244

де КИРИКО, ДЖОРДЖО 12, 17

КЛОДЕЛЬ, ПОЛЬ 93, 97

КОКТО, ЖАН 207

КОЛОННА ДИ ШАРРА, ПРОСПЕРО 215

КООНЕН, АЛИСА ГЕОРГИЕВНА 304

КОРО, ЖАН-БАТИСТ КАМИЛЬ 82

КРАНАХ, ЛУКАС 265, 284

КРАСИН, ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ 318

КРОПОТКИН, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 55, 176

КРОЧЕ, БЕНЕДЕТТО 12

КУТЕЛЬМАН, ЛЮДВИГ 233, 234, 236,  
330

КУРТНА (КУРСОН), АЛЕКСАНДР 27

КУСТОДИЕВ, БОРИС МИХАЙЛОВИЧ  
326

КШЕСИНСКАЯ, МАТИЛЬДА  
ФЕЛИКСОВНА 80, 138, 253

ЛАМБРЕХТ 290, 342

ЛАНГ, ФРИЦ 290, 337

ЛАНД, РОБЕРТ 299

де ЛАРОФШУКО, СОСТЕН 220

ЛЕЖЕ, ФЕРНАН 87

ЛЕЛОНГ, ЛЮСЬЕН 88, 96

ЛЕНИН, ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 11, 15, 24,  
27, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 66, 67,  
92, 109, 111, 121, 123, 125, 138, 145,  
146, 153, 162, 186, 188, 203, 205, 206,  
221, 231, 234, 237, 238, 247, 260, 262,  
264, 287, 289, 291, 317, 318, 321, 323,  
328, 335

ЛЕРМОНТОВ, МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 48,  
187, 243, 244

ЛЖЕДМИТРИЙ I 252

ЛИТВИНОВ, МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 42,  
47, 90, 109, 240–248, 253, 277, 295,  
301, 304, 307–309, 333

ЛИТВИНОВ, МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ  
309

ЛИТВИНОВА (ЛОУ), АЙВИ ВАЛЬТЕРОВНА 309  
 ЛИТВИНОВА, ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА 309  
 ЛИФАРЬ, СЕРЖ 295  
 ЛОКХАРТ, РОБЕРТ ГАМИЛЬТОН БРЮС 294, 307  
 ЛОНГАНЕЗИ, ЛЕО 13  
 ЛОРКА, ФЕДЕРИКО ГАРСИА 17  
 ЛУ СИНЬ 20  
 ЛУБЕ, ЭМИЛЬ 221  
 ЛУИ-ФИЛИПП I 135, 140, 146  
 ЛУКАСЕВИЧ, ЮЗЕФ 304, 305  
 ЛУНАЧАРСКАЯ (РОСТОВЦЕВА), АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА 298  
 ЛУНАЧАРСКАЯ, НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 24, 44, 80–82, 84–88, 106–108, 110, 111, 115, 117, 141, 160, 161, 166, 167, 220, 224, 228, 230, 253, 254, 256–261, 301, 302, 324, 335  
 ЛУНАЧАРСКИЙ, АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 24, 31, 32, 47, 50, 51, 66, 78, 80, 105, 106, 109, 117, 125, 158–169, 184, 185, 220, 224, 225, 238, 243, 254, 256, 257, 259–261, 274, 275, 283, 298, 299, 301, 302, 332, 333, 335  
 ЛУНАЧАРСКИЙ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 298  
 ЛЬВОВ, ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 54, 136–142, 144–146, 148, 149, 322  
 ЛЮДОВИК XV 91, 228, 229, 252  
 ЛЮДОВИК XVI 208  
 ЛЮЛЛИ, ЖАН-БАТИСТ 85  
 МАЙСКИЙ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 294  
 МАККАРИ, МИНО 12  
 МАЛАПАРТЕ, ЭДДА 25  
 МАНЕ, ЭДУАРД 114, 115, 229  
 МАНН, ТОМАС 13  
 МАНЬЯСКО, АЛЕССАНДРО 89, 281  
 МАО ЦЗЭДУН 20, 21

МАРИНА МНИШЕК 252  
 МАРИТЕН, ЖАК 207  
 МАРИЯ ЛЕЩИНСКАЯ 252  
 МАРИЯ МЕДИЧИ 62  
 МАРИЯ СТУАРТ 302  
 МАРИЯ-АНТУАНЕТТА 137, 208, 212  
 МАРКС, КАРЛ 40, 96, 143, 188, 231, 233, 234, 236, 237, 258, 321, 330  
 МАРСЕНГО, МАУРИЦИО 137, 322  
 МАРТОВ, ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ 34  
 МАТТЕОТТИ, ДЖАКОМО 11  
 МАЯКОВСКИЙ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 24, 31, 49–53, 68, 152–159, 161–165, 168–173, 203, 242, 324, 330, 332, 333  
 МЕЙЕРХОЛЬД, ВСЕВОЛОД ЭМИЛЬЕВИЧ 105, 160, 166, 167, 324, 330  
 ФОН МЕКК, НАДЕЖДА ФИЛАРЕТОВНА 56, 326  
 ФОН МЕКК, НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ 55–57, 178–181, 326  
 МЕЛЬНИКОВ, КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 319  
 МЕНЖИНСКИЙ, ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ 40, 41  
 МЕРЖАНОВ, МИРОН ИВАНОВИЧ 332  
 МЕРКАДЕР, РАМОН 43, 118, 310, 327  
 МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ 81  
 ФОН МИРБАХ, ВИЛЬГЕЛЬМ 262, 263, 335  
 МИХАЙЛОВСКИЙ, ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 303  
 МОЛИНО, ЭДВАРД 97  
 МОЛОТОВ, ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 326  
 МОНТАЛЕ, ЭУДЖЕНИО 17  
 ДЕ МОНТЕНЬ, МИШЕЛЬ 74, 78  
 ДЕ МОНТЕСКЬЮ, РОБЕР 206, 209  
 МОНЬЕ, КАРОЛИНА см. Беренштам, Каролина Анна  
 МОРАВИА, АЛЬБЕРТО 14, 17  
 МОРАН, ПОЛЬ 219

МОРНАР, ЖАК см. Меркадер, Рамон  
 МОРОЗОВА, ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА 323  
 МОРОЗОВЫ 300, 307  
 МУНТЕ, АКСЕЛЬ 276, 336  
 МУР, СОНЯ (ШАЦОВА, СОФЬЯ ЕВЗАРОВ-  
 НА) 227, 329  
 МУРНАУ, ФРИДРИХ 290, 337  
 МУССОЛИНИ, БЕНИТО 10, 11, 13–16, 18,  
 19, 21, 26, 28, 30, 36, 43, 79, 93, 119,  
 177, 241, 261, 327  
 МУССОЛИНИ, ЭДДА 16  
 МУЦЦОЛИ, ДОННА 250  
 МЮРАТ, ИОАХИМ 33, 107, 314  
  
 НАПОЛЕОН I БОНАПАРТ 11, 18, 33, 36,  
 41, 60, 83, 93–95, 183, 217, 230, 314  
 НЕКРАСОВ, ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ 20,  
 303  
 НИКИТНИКОВЫ 321  
 НИКОЛАЕВИЧ, МАРА 236  
 НИКОЛАЙ II 80, 91, 186, 208, 252, 335  
 де НОАЙ, АННА 220  
 де НОГАРЕ, ГИЙОМ 215  
  
 ОВЕЙ, ЭСМОНД (В РОМАНЕ ТАКЖЕ —  
 ОУЭН СТВЕНЛИ, СТВЕНЛИ ОУЭН) 84,  
 88–90, 95, 110, 112, 160, 223, 303  
 ОЗОЛС, КАРЛИС 300, 301, 306, 308, 315,  
 316  
 Д'ОРСЕ, АЛЬФРЕД 91  
 ОСТРОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР  
 НИКОЛАЕВИЧ 204, 327  
 ОУЭН, СТВЕНЛИ см. Овей, Эсмонд  
 ОФРОСИМОВА, АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВ-  
 НА 122  
  
 ПАВЛОВА, АННА ПАВЛОВНА 89, 107,  
 253, 295  
 ПАВЛОВА, ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 26  
 ПАКЕН, ЖАННА 86, 96  
 ГРАФ ПАЛЬФИ 213, 214, 328

ПАСКАЛЬ, БЛЕЗ 87  
 ПАСКЕВИЧ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ 98  
 ПАТЕК, СТАНИСЛАВ ЯН 100, 109, 110,  
 208, 248–252, 254–259, 261–263, 265,  
 267, 268, 273, 311  
 ПЕЛЛЕГРИНИ, ЛИНО 17  
 ПЕРЕЛЛИ, ЭЛЬВИРА 8, 16, 19  
 ПЕРЕСТИАНИ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 63  
 ПЕТР I 175, 186  
 ПЕТРАРКА, ФРАНЧЕСКО 154, 234  
 ПЕТРОВ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 54, 324  
 ПЕШКОВ, ЗИНОВИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 26  
 ПИЙ XI (АМБРОДЖИ ДАМИАНО  
 АКИЛЛЕ РАТТИ) 10  
 ПИЙ XII 20  
 ПИКАССО, ПАБЛО 89, 130, 246  
 ПИЛСУДСКИЙ, ЮЗЕФ 10, 36, 249, 333,  
 334  
 ПИЛЬ, РОБЕРТ 95  
 ПИЛЬНЯК, БОРИС АНДРЕЕВИЧ 64, 65,  
 124, 268  
 ПИРАНДЕЛЛО, ЛУИДЖИ 12  
 ПИСКАТОР, ЭРВИН 127, 321  
 ПИТТ, УИЛЬЯМ 95  
 ПИЧЧИН, ТОНИН 27, 59, 70  
 ПО, ЭДГАР АЛЛАН 44  
 ПОЛЕВОЙ, БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 20  
 де ПОЛИНЬЯК (ПОЛАСТРОН), ИОЛАНДА  
 220  
 ПОЛИХРОНИАДИС, МИЛИЦА 236  
 ПОЛИХРОНИАДИС, СПИРИДОН 236,  
 331  
 ПОЛОНСКИЙ, ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ  
 301  
 ПОРТЕР, КОУЛ 80  
 ГРАФИНЯ ПОТОЦКАЯ (РАДЗИВИЛЛ,  
 БЕТКА) 213, 214, 251, 328  
 ПОТОЦКИЙ, МАУРИЦИЙ СТАНИСЛАВ  
 211, 213, 251, 328  
 ПРУСТ, МАРСЕЛЬ 24, 31–33, 74, 75, 77,  
 78, 143, 209, 218–221

- ПУССЕН, НИКОЛА 82
- ПУШКИН, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 45,  
47, 94, 97–99, 101, 123, 170, 172, 187,  
219, 242–244, 246, 264, 333
- ПЯТАКОВ, ГЕОРГИЙ ЛВОНИДОВИЧ 331
- ПЯТНИЦКИЙ, ОСИП АРОНОВИЧ 296
- РАВЕЛЬ, МОРИС 87
- РАДЕК, КАРЛ БЕРНГАРДОВИЧ 219, 220,  
236, 328, 331, 332
- РАДЗИВИЛЛ, БЕТКА см. *графиня*  
*Потоцкая*
- РАЙЗМАН, ЮЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 69
- РАКОВСКИЙ, ХРИСТИАН ГЕОРГИЕВИЧ  
297
- РАМО, ЖАН-ФИЛИПП 85
- РАСИН, ЖАН 85, 93, 154, 251
- РАСПУТИН, ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ 245,  
246, 333
- РАУШНИНГ, GERMAN 41
- РЕЙНБОТ, АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  
323
- РЕНУАР, ПЬЕР ОГЮСТ 254
- РИЛЬКЕ, РАЙНЕР МАРИЯ 17
- РОБЕСПЬЕР, МАКСИМИЛИАН 33
- РОДЗЯНКО, МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ  
54, 322
- РОДОНДИ, РАФФАЭЛ 23
- РОСТОПЧИНА, СОФЬЯ ФЕДОРОВНА см.  
*Сегюр, Софья Федоровна*
- РОТТЕР, ФРИЦ 299
- РУБИНIN, ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
226, 329
- РУФФ, МЭГГИ 96
- САБА, УМБЕРТО 17
- САВЕЛЬЕВ, МАКСИМИЛИАН  
АЛЕКСАНДРОВИЧ 321
- САВИЦКИЙ, ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 297
- САНДРАР, БЛЕЗ 13
- САПЕГА, ЕВСТАФИЙ 249, 250, 333, 334
- САЦ, ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 301
- СЕГАЛ, ЛАЗАРЬ 290, 337
- де СЕГОНЗАК, АНДРЕ 87
- СЕГЮР, СОФЬЯ ФЕДОРОВНА 135, 187
- СЕЛИН, ЛУИ-ФЕРДИНАНД 19
- СЕМЕНОВ, ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
294
- СЕМЕНОВА, МАРИНА ТИМОФЕЕВНА 24,  
73, 80, 81, 84, 87–91, 97, 99, 100,  
102–107, 110, 111, 141, 222–224, 227,  
230, 253, 293–295
- СЕН-СИМОН, АНРИ 74, 78
- СЕРГИЙ (МИТРОПОЛИТ НИЖЕГОРОД-  
СКИЙ, ПОЗДНЕЕ — ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ) 125, 321
- СЕРЖ, ВИКТОР 296
- СИРМАН, ЛЕН 24
- СИТУЭЛЛ, ЭДИТ ЛУИЗА 225
- СКИРМУНТ, КОНСТАНТЫ 211–214, 327
- СКРЯБИН, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 46,  
55, 61, 122, 175, 176, 320
- де СКЮДЕРИ, МАДЛЕН 78
- СКЯПАРЕЛЛИ, ЭЛЬЗА 81, 86, 96, 97,  
167, 220, 230, 258
- СОВОЛЕВСКИЙ, СЕРГЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ 123
- СОЛОВЬЕВ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 55,  
176
- СОЛОГУБ, ФЕДОР КУЗЬМИЧ 47, 99
- СОФОКЛ 172, 201
- СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 175
- СПИРИДОНОВА, МАРИЯ  
АЛЕКСАНДРОВНА 297
- СПРИГТЕ, СЕСИЛ 267
- СТАЛИН, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 15,  
24, 25, 28, 33, 34, 37–40, 42, 43, 70, 73,  
75, 76, 78, 83, 97, 105, 118, 120, 141,  
153, 177, 184, 217, 220, 223, 231, 237,  
247, 255, 257, 261, 275, 283, 287, 293,  
294, 296, 298, 302, 303, 305, 313, 314,  
316, 317, 324, 326, 329, 332, 335, 336

СТАНИСЛАВСКИЙ, КОНСТАНТИН

СЕРГЕЕВИЧ 105, 166, 232, 255, 321, 330

СТЕНДАЛЬ 32, 33, 93, 94, 101

СТЕНЛИ, ОУЭН см. *Овей, Эсмонд*

СТРЭНГ, УИЛЬЯМ 97, 104–106, 110, 167,  
226, 227, 311

СТУЙ, АДОЛЬФ ФРАНЦЕВИЧ 66

ТАИРОВ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 27, 88,  
110, 166, 304

де ТАЛЛЕМАН РЕО, ЖЕДВОН 257

ТАРНОВСКИЙ, АДАМ 249, 334

ТЕМКИН, А.С. 296

ТЕРЕЩЕНКО, НИКОЛА АРТЕМЬЕВИЧ 301

ТИБОДЕ, АЛЬБЕР 75, 78

ТИХОН (ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ) 125,  
320

ТОЗИ, ГИ 23

ТОЛСТОЙ, АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 294,  
321

ТОЛСТОЙ, ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 26, 31, 46,  
48, 49, 100, 122, 123, 193, 276, 290

ТОЛЬЯТТИ, ПАЛЬМИРО 18–20, 26

ТОММАЗИНИ, ФРАНЧЕСКО 211, 250, 251,  
327

ТОМСКИЙ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 220,  
221, 255, 329

ТРЕТЬЯКОВ, СВЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 65

ТРОМПЧИНСКИЙ, ВИТОЛЬД 249, 250,  
333, 334

ТРОЦКИЙ, ЛЕВ ДАВИДОВИЧ 15, 32, 34–  
44, 46, 67, 74, 94, 111, 117–119, 125,  
192, 202, 217–219, 230, 231, 234, 247,  
255, 257, 276, 287, 297, 299, 303, 309,  
317, 327, 328

ТРУВЦКОЙ, ПАОЛО (ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ)  
8, 25

ТУРГЕНЕВ, ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 220, 245

ТУРКУЛ, ОЛЬГА КАЗИМИРОВНА 65

ТУХАЧЕВСКИЙ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ  
10, 109, 219, 230, 304, 305, 314

УАЙЛИ, ДЖ. 315

УАЙЛЬД, ОСКАР 209, 221

УБОРЕВИЧ, ИЕРОНИМ ПЕТРОВИЧ 304

УИННЕР, ПЕРСИ 26

УЛЯНИНСКИЙ, ВЕНИАМИН ЮРЬЕВИЧ  
69

УЛЯНИНСКИЙ, НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 69

УЛЯНОВ, БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 97, 222,  
310

УМАНСКИЙ, КОНСТАНТИН  
АЛЕКСАНДРОВИЧ 26

УОЛПОЛ, ХОРАС 277

УРБЮ, АНДРЕАС ТОСТРУП 228, 330

УРБЮ, АННАЛИСЕ (АННА ЕЛИСАВЕТ)  
228, 330

УСТРЯЛОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 34

УШАКОВ, СИМОН ФЕДОРОВИЧ 129, 321

УЭЛЛС, ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ 121, 300, 318

ФАЙКО, АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 324

ФАЛЛАЧИ, БРУНО 8

ФАЛЛАЧИ, ОРИАНА 8

ФАЛЬБЕР, АРМАН 90, 221

ФАЛЬКВИ, ЭНРИКО 15, 25

ФЕЙХТВАНГЕР, ЛИОН 236, 331, 332

ФИЛИПП IV КРАСИВЫЙ 215

ФИНЕМАН, СИГНА 227, 330

ФЛОРИНСКАЯ, ВЕРА ТИМОФЕЕВНА 297

ФЛОРИНСКИЙ, ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ  
24, 73, 87, 88, 106, 110, 111, 161, 206–  
211, 214–221, 224–228, 231–240, 253,  
254, 295–297, 332

ФЛОРИНСКИЙ, МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ  
296

ФЛОРИНСКИЙ, ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  
295

ФОГТ, ОСКАР 318

ФОКС, УИЛЬЯМ 95

ФОНТАНА, АННА МАРИЯ 328

де ФОСИНЬИ-ЛЮСАНЖ, МАРИ (ЭФРУС-  
СИ, МАРИ ЖЮЛЬЕТТ) 220

- ФУКИДИД 257  
 ФУКС, ЮЛИАН 210, 214, 216  
 ФЮЛЁП-МИЛЛЕР, РЕНЕ 27
- ХАММЕР, АРМАНД 300  
 ХАРИТОНЕНКО, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 300  
 ХАТТОН, БАРБАРА 154, 221  
 ХЕМИНГУЭЙ, ЭРНЕСТ 9  
 ХОДАСЕВИЧ, ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ 299  
 ХРУЩЕВ, НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 326
- ЦВЕЙГ, СТВФАН 294
- ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕТР ИЛЬИЧ 56, 244–246, 326  
 ЧАН КАЙШИ 334  
 ЧАРТОРЫСКИЙ, АДАМ ЕЖИ 141  
 ЧЕРРУТИ, ВИТТОРИО 109, 110, 138, 241, 243, 244, 246–248, 250, 256, 258, 261–263, 265, 267, 315  
 МАДАМ ЧЕРРУТИ 250–252, 255–259, 261, 262  
 ЧЕХОВ, АНТОН ПАВЛОВИЧ 49, 55, 176, 193  
 ЧИАНО, ДЖАН ГАЛЕАЦЦО 16, 227  
 ЧИАНО, ЭДДА см. *Муссолини, Эдда*  
 ЧИМИШКИАН, АРТЕМИЙ ГЕВОРГОВИЧ 61, 62, 64–66  
 ЧИМИШКИАН, МАРИКА АРТЕМЬЕВНА 31, 49, 55, 56, 58–70, 75, 125, 157, 158, 169, 171–177, 179–184, 186–192, 205, 206, 210, 216, 232–234, 239, 298, 326  
 ЧИЧЕРИН, ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 42, 295, 307, 308, 329  
 ЧМШКЯН, ГЕВОРГ АРУТЮНОВИЧ 62  
 ЧМШКЯН, САТЕНИК ОВАНЕСОВНА 62  
 ЧУКОВСКИЙ, КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ 310
- ШАГАЛ, МАРК ЗАХАРОВИЧ 129  
 ШАПОШНИКОВА, НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА 60, 61, 66  
 де ШАТОБРИАН, ФРАНСУА РЕНЕ 93, 143  
 ШЕКСПИР, УИЛЬЯМ 154  
 ШЕНГЕЛАЯ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 64  
 ШЕНЬЕ, АНДРЕ 143  
 ШЕРЕМЕТЕВЫ 242  
 ШЕФФЕР, ПАУЛЬ 248, 254, 255, 259, 261, 265–268, 272, 273, 333  
 ШЕХТЕЛЬ, ФЕДОР ОСИПОВИЧ 300, 307  
 ШИЛОВСКАЯ, ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА см. *Булгакова, Елена Сергеевна*  
 ШОДЕРЛО де ЛАКЛО, ПЬЕР 258  
 ШПИЛЛЕР, НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 293  
 ФОН ШТЕЙГЕР, БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 109, 110, 112, 113, 115, 119, 224, 225, 227, 230, 236, 315, 316  
 ФОН ШТЕРНБЕРГ, ДЖОЗЕФ 290, 337  
 ШТРАУС, ИОГАНН 81, 104  
 ФОН ПУШНИГ, КУРТ 104, 312
- ЩЁГОЛЕВ, ПАВЕЛ ЕЛИСЕЕВИЧ 321  
 ЩУСЕВ, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 121, 317
- ЭДУАРД VII 135, 221  
 ЭЛИОТ, ТОМАС СТЕРНЗ 17  
 ЭЛЬ ГРЕКО 94  
 ЭЛЮАР, ПОЛЬ 17  
 ЭМОРИ, БЛАНШ 303  
 ЭНГЕЛЬС, ФРИДРИХ 321  
 ЭРБЕТТ, ЖАН 90, 96, 110, 228, 306, 307  
 МАДАМ ЭРБЕТТ 306, 307  
 ЭРВИН, РАЛЬФ 299  
 ЭРЕНБУРГ, ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 13, 26, 87, 303
- ЮЛЕНШЕРНА, ЭРИК 227, 330  
 ЮНГРЕН, МАГНУС 330

ЮРОВСКИЙ, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ 264,  
265, 335

ЮСУПОВ, ФЕЛИКС ФЕЛИКСОВИЧ 241,  
245, 246, 333

ЮСУПОВА, ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
245, 246, 333

ЯГОДА, ГЕНРИХ ГРИГОРЬЕВИЧ 316

ЯКИР, ИОНА ЭММАНУИЛОВИЧ 304

ЯРОСЛАВСКИЙ, ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ  
302, 322



Литературно-художественное издание

КУРЦИО МАЛАПАРТЕ

# БАЛ В КРЕМЛЕ

16+

Главный редактор ЕЛЕНА ШУБИНА

Ведущий редактор ДАНА СЕРГЕЕВА

Корректоры ЕЛИЗАВЕТА ПОЛУКЕЕВА, НАДЕЖДА ВЛАСЕНКО

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Компьютерная верстка ЕЛЕНА ИЛЮШИНОЙ



<http://facebook.com/shublinabooks>



<http://vk.com/shublinabooks>

Подписано в печать 10.04.2019. Формат 60х90/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 22.

Тираж 3000 экз. Заказ № 3098/19.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-034-2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации  
Изготовлено в 2019 г.

ООО "Издательство АСТ"

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж

Наш электронный адрес: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

"Баспа Аста" деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортёр в Республику Казахстан ТОО "РДЦ-Алматы".

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы "РДЦ-Алматы" ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан:  
ТОО "РДЦ-Алматы"

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім  
бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі

"РДЦ-Алматы" ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 "а", литер Б, офис 1.

Тел.: +8(727) 2515989, 90, 91, 92, факс: +8(727) 2515812, доб. 107

E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО "ИПК Парето-Принт", 170146, Тверская область,  
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)









